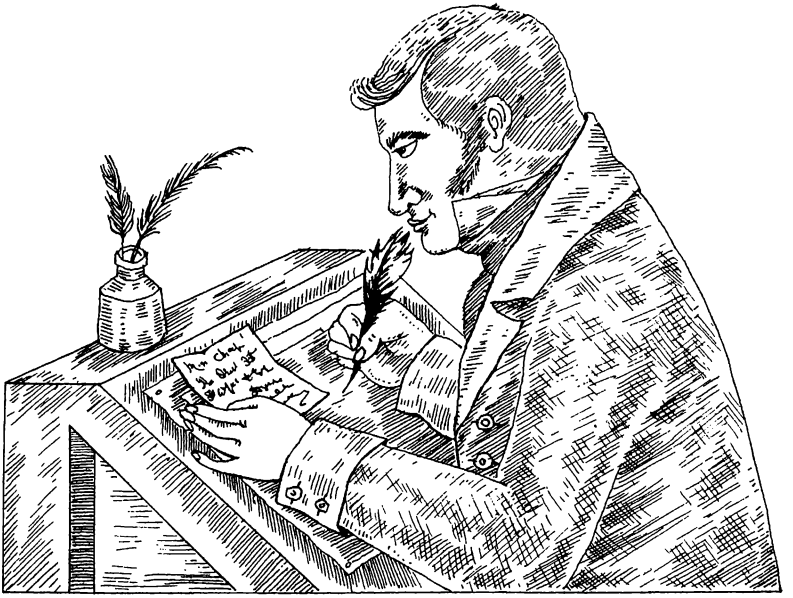
история/география/этнография

Петр Черкасов

Шпионские и иные истории

из архивов России и Франции

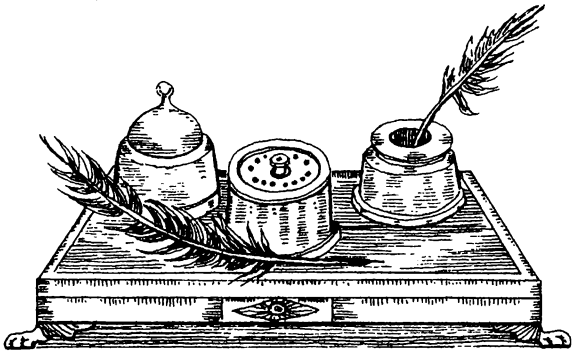
ЛомоносовЪ
издательство



Петр Черкасов

Шпионские и иные истории

из архивов России и Франции



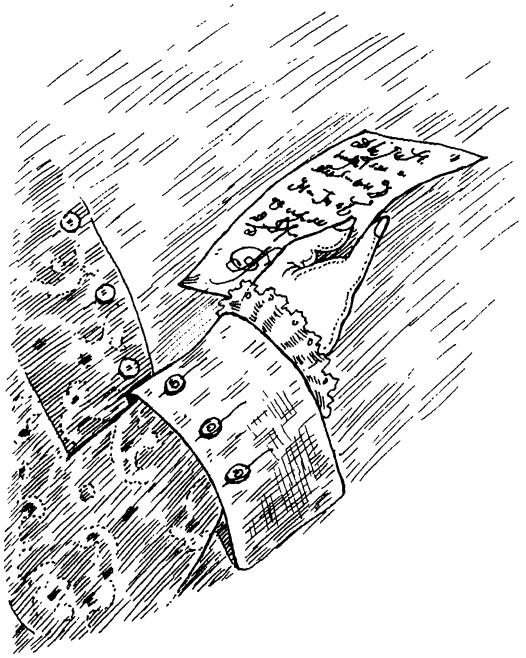
Издательство «Ломоносовъ»
Москва • 2015

УДК 94(47).061-084
ББК 63.3(2)46-52
Ч-48

Составитель серии Владислав Петров

Иллюстрации Ирины Тибиловой

ISBN 978-5-91678-277-6 © ООО «Издательство «Ломоносовъ», 2015



От автора

В один из апрельских дней 1966 года я, тогда студент 3-го курса истфака, явился для прохождения двухнедельной учебной практики в Государственный архив Саратовской области (ГАСО). Цель этой практики — приобретение необходимых для будущего профессионального историка навыков работы с архивными документами.

В качестве задания руководством архива мне было предложено составить описание «Дела № 43» Саратовского охранного отделения (Фонд 57, Опись 1) об убийстве 22 ноября 1905 года в Саратове генерал-адъютанта В. В. Сахарова, прибывшего в этот губернский город с инспекцией и остановившегося в доме тогдашнего губернатора П. А. Столыпина. По каким-то причинам «дело» это оставалось неразобранным и нуждалось в систематизации.

Описание должно было быть кратким, но содержательным — таким, чтобы будущий исследователь мог получить представление

об этом «деле» («единице хранения») уже из предварительной к нему аннотации, которую я и должен был составить.

Изучив десятки содержавшихся в «Деле №43» документов, я подготовил его описание. Привожу текст по сохранившейся у меня копии.

«...В деле содержатся донесения, телеграммы и копии телеграмм Саратовского охранного отделения, а также подобные же документы Министерства внутренних дел, Департамента полиции, губернских жандармских управлений, адресованные Начальнику Саратовского охранного отделения.

Дело начинается донесением от 22 ноября 1905 г. начальника Саратовского охранного отделения ротмистра Федорова начальнику Московского охранного отделения под грифом "Совершенно секретно". В донесении говорится: "22-го сего ноября в час дня убит 4 выстрелами Браунинга командированный по Высочайшему повелению в Саратовскую губернию генерал-адъютант САХАРОВ. Убийца — женщина 30—32 лет..." (Фонд 57. Опись 1. Ед. хр. 43. Л. 1).

Далее идет описание внешности убийцы. Более подробное описание убийства имеется в донесении начальника Саратовского охранного отделения ротмистра Федорова от 22 ноября 1905 г. заведующему политической частью Департамента полиции. Убийство произошло следующим образом:

22 ноября в 12 часов дня к подъезду губернаторского дома подъехала на извозчике прилично одетая дама и, заявив, что ей нужен генерал-адъютант по вопросу ее имения, прошла в приемную гостиную. Во время беседы "...дама эта выхватила из-под пояса, справа, "Браунинг" и произвела, сидя, четыре выстрела в ген. САХАРОВА почти в упор, после чего была схвачена за руки Адъютантом и обезоружена, заявив тому: "Будьте осторожны, там есть еще патроны, можете убить себя" (Там же. Л. 2).

При перевозке убийцы в тюрьму "она заявила, что вскоре будут убиты таким же образом генерал СТРУКОВ и адмирал ДУБАСОВ, которые приговорены к смерти комитетом социалистов-революционеров... дабы отнять из их рук власть, данную незаконно Правительством" (Там же. Л. 3).

Личность убийцы установить не удалось. Она призналась только в том, что прибыла в Саратов по поручению "летучего боевого отряда партии социалистов-революционеров".

Дальнейшие донесения относятся к установлению личности стрелявшей. Соответствующие телеграммы-запросы были направлены начальнику Пензенского губернского жандармского управления (Л. 9), Нижегородского охранного отделения (Л. 13), помощнику начальника Саратовского губернского жандармского управления в Балашовском и Камышинском уездах (Л. 14). В деле находятся ответные донесения и телеграммы означенных адресатов.

В телеграмме, отправленной 11 апреля 1906 г. начальником Саратовского охранного отделения Директору Департамента полиции, сообщается: "Убийца генерала САХАРОВА назвалась Анастасией Алексеевной БИЦЕНКО, 16 марта 1905 г. выпущенной из Петербургской тюрьмы и указанной циркуляром Департамента 10-го марта № 893" (Л. 39).

Таким образом, личность убийцы ген. САХАРОВА удалось установить лишь через четыре месяца после совершения покушения. Сопротивление революционерки было сломлено в результате непрерывных допросов.

С установлением личности покушавшейся и ее подтверждением соответствующими документами дело было закончено и передано в суд[1].

Данное дело может служить одним из примеров деятельности партии социалистов-революционеров в период революции 1905 г.

Описание дела составил студент 3 курса истфака СГУ
П. Черкасов

3 мая 1966 г.»

Получив требуемый «зачет» по результатам практики, я покидал архив с твердым намерением вернуться когда-нибудь к архивным разысканиям, которые меня заинтересовали.

Полтора года спустя, уже в Москве, произошла незабываемая встреча с легендарным Ираклием Луарсабовичем Андрониковым — этим, можно сказать, Шерлоком Холмсом отечественного литературоведения, которому я попытался помочь в поисках одной из редакций лермонтовского «Демона». Поиски оказались безуспешными, но в утешение мне остались книга с автографом Ираклия Луарсабовича и желание вновь окунуться в архивы.

Всерьез же осуществить это намерение удалось лишь через пятнадцать лет, когда я занялся изучением истории российско-французских отношений в XVIII и XIX веках. С середины 1980-х годов на протяжении многих лет мне довелось работать в Архиве внешней политики Российской империи (АВПРИ), а впоследствии и в других отечественных архивах, прежде всего — в Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ) и в Российском государственном военно-историческом архиве (РГВИА).

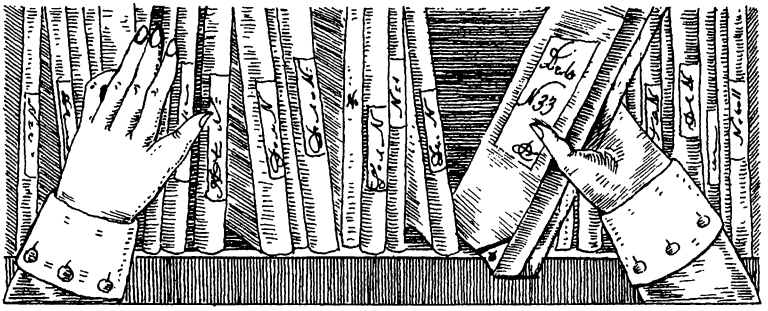
Новые возможности появились после 1991 года, когда открылись прежде закрытые фонды и архивы, в частности Центральный партийный архив, Архив ЦК КПСС, Особый архив и другие. Став в это время «выездным», я начал работать и во французских архивах[2], где нашел много ценных, а главное — неизвестных материалов по истории России.

Тогда же, в середине 90-х, желание добиться реабилитации моего деда, пострадавшего в период коллективизации, вновь привело меня в ГАСО, где тридцатью годами ранее я впервые ощутил ни с чем не сравнимое чувство прямого общения с Историей.

С частью архивных находок и написанных на их основе документальных очерков[3] мне и хотелось бы познакомить любителей отечественной истории XVIII–XX веков.

Материалы к этим очеркам были выявлены в отечественных и французских архивах — в АВПРИ, ГАРФ, РГВИА, ГАСО, Российском государственном военном архиве, Российском государственном архиве социально-политической истории, Российском государственном архиве новейшей истории, в архиве Института мировой экономики и международных отношений РАН, а также в архиве Министерства иностранных дел Франции и в Отделе рукописей Национальной библиотеки в Париже.

Остается лишь добавить, что я сознательно сохранил орфографию и пунктуацию цитируемых документов, чтобы не утратились специфика и аромат языка, на котором писали сто, двести и двести пятьдесят лет назад.



«Повергаю к стопам Вашего Императорского Величества удивление Европы»

В 1994 году я занимался в Архиве внешней политики Российской империи поиском и изучением документов, относящихся к российско-французским отношениям середины XVIII века. Надо сказать, отношения эти с тех пор, как Петр I начал «прорубать окно в Европу», складывались весьма неблагоприятно. Европейская политическая элита с растущим подозрением и страхом наблюдала за наращиванием военной мощи и усилением дипломатической активности Российской империи, усматривая в этом угрозу для безопасности не только соседних с Россией, но и отдаленных от нее европейских государств. Во вхождении России в Европу в столицах Старого Света увидели опасность нарушения сложившегося после Вестфальского мира 1648 года относительного равновесия на континенте.

Наиболее жесткую позицию в отношении европейских амбиций Петра и его преемников на петербургском троне занимала Франция, где с 1715 года царствовал Людовик XV, претендовавший на роль арбитра Европы и мечтавший о том, чтобы не дать России права участвовать на равных в европей-

ской политике, вытеснить ее на задворки континента. В этом смысле Людовик XV имел заслуженную им репутацию убежденного и последовательного русофоба. Устойчивая русофобия короля получила конкретное воплощение в том, что с конца 1748 года Франция не имела дипломатических отношений с Россией, установленных в 1717 году.

Эти отношения были восстановлены лишь с началом Семилетней войны (1756—1763), когда Россия и Франция оказались в одной коалиции (с Австрией и Швецией), воевавшей против Пруссии и Англии. Тем не менее неприязнь к России и ее императрице сохранялась у Людовика XV даже в годы их недолгого военного союза.

К этому можно добавить, что Елизавета, напротив, с юных лет питала нежные чувства к самому красивому мужчине Европы, за которого ее отец Петр I пытался выдать ее замуж, но получил из Версаля высокомерный отказ. Как известно, 15-летнего Людовика XV в сентябре 1715 года женили на 22-летней Марии Лещинской, дочери свергнутого Петром польского короля.

Русофобию короля не разделяли многие его подданные, не склонные отказывать России в ее европейском признании. К ним относились как французские энциклопедисты — Вольтер, Дидро и Даламбер, — так и многие образованные французы, засвидетельствовавшие уважение и даже симпатию к России, становившейся на путь европейского Просвещения.

Одно из свидетельств такой симпатии и даже восхищения деятельностью дочери Петра Великого императрицы Елизаветы Петровны мне попалось среди документов рутинной дипломатической переписки, хранящейся в фонде «Сношения России с Францией» за 1760 год. Этот документ подтверждал неоднократные заверения со стороны российского посольства в Париже о популярности Елизаветы Петровны среди французов. Правда, доверия к таким голословным заверениям у меня прежде было мало, поскольку очевидным было желание наших дипломатов доставить государыне plaisir даже вопреки истине. Недоверие стало рассеиваться, когда я натолкнулся на французское документальное свидетельство.

В данном случае речь идет о стихотворении некоего парижского адвоката Марешаля, посвященном императрице Елиза-

вете. Автор стихотворения передал его в российское посольство в Париже для последующей пересылки императрице.

«Я повергаю к стопам Вашего Императорского Величества удивление Европы, — писал восторженный француз в сопроводительном письме. — Человеческий род по справедливости дает Вам первенство над благоразумными. Если я слабо изобразил Ваше Великодушие, то сие происходит от того, что невозможно найти удобных слов для выражения славных Ваших дел. Если великие Государи имеют пребывать в памяти у смертных, то какой Государь заслужил оное больше Вашего Величества. Вы есть одна в свете монархиня, которая нашла средства к Государствованию без пролития крови. Сие мое приношение не усугубляет нимало высокопочитания к Вам всего света, но только доказывает справедливость оного»[4].

Далее следовало само стихотворение, написанное, разумеется, по-французски[5].

ЕЕ ЦАРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ
ИМПЕРАТРИЦЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ
Стихи о новом духовном правлении в России

Царица! Твой светлейший гений
Отверз врата свободы миру.
Во тьме веков — о! сколько поколений
Страшились не греха, а лишь кумиров.
И страх — отец постыдным предрассудкам
Жрецов властолюбивых и лукавых.
Их месть, разящую и правых, и неправых
Напрасно силились понять рассудком.
Отцы и деды с мыслью о законе
Объединялись путь претить пороку,
Но и монарх на августейшем троне
Подвластен был коварному пророку.
Народ, обманутый храмовником проворным,
Стяжавшим дерзко Божескую славу,
Доколе будешь ты терпеть расправу,
Накликанную пастырем притворным?
Не он ли вдохновлял убийц проклятых,
Отнявши жизнь Особ порфироносных?!
Увы! У глупого и алчного народа
Божественную власть заменит злато.
Отцова дщерь, Елисавет-царица!

Великий Петр не зря явился миру,
За славу цезарей он заплатил сторицей,
Дав россам просвещение и лиру,
Безвестну Русь в Европу ввел умело,
Лелеял доблести Отечества и славу,
Героев росских воинского дела
На зависть Богу воинской забавы.
Верши дела и царствуй на престоле
Назло сегодняшним храмовникам-невеждам,
На благо тех, кто был рожден в неволе,
И кто взирает на тебя с надеждой.
Смени рабов на подданных, Богиня,
Верни добро безнравственному веку
И, из оков исторгнув человека,
Ты будь царицей всей земли отныне.
Явись другим примером совершенства —
Монарший долг — Отчизны процветанье —
И веру в Бога обрати в блаженство.
Монаршья власть иль прав святых попранье!
Хвала тебе изящества царица,
Небесный ангел, кротка голубица!
Фортуну мнишь вернуть, Елизавета,
Душе твоей любезно созиданье,
Так славь поэт с заката до рассвета
Богов соперницу, достойну обожанья.

Когда Марешаль выражал свое восхищение мудростью и благородством Елизаветы, правящей «без пролития крови», он имел в виду тот общеизвестный факт, что Россия времен Елизаветы Петровны была единственным в Европе государством, где не практиковалась смертная казнь. При своем вступлении на престол 25 ноября (с. с.) 1741 года Елизавета поклялась на кресте, что не будет прибегать к смертной казни даже в отношении самых опасных государственных преступников. Надо сказать, слово свое она сдержала, чем и вызвала удивление современников за пределами России.

Воздавая должное великодушию императрицы, Марешаль называет ее продолжательницей дела Петра Великого, который «дал россам просвещение и лиру» и «безвестну Русь в Европу ввел умело».

Парижский адвокат проявил здесь куда больше понимания смысла петровских преобразований, нежели версаль-

ский двор, десятилетиями мечтавший о возвращении России к «азиатскому варварству» и вытеснении ее из Европы. В этом отношении безвестного адвоката можно поставить в один ряд с Вольтером и теми французскими просветителями, которые чуть позже прославят деяния Петра I и Екатерины II.

Марешаль выражает надежду, что дочь царя-реформатора довершит главное, что не успел или не смог сделать ее отец: сменит «рабов на подданных», то есть ликвидирует крепостное право. Это пожелание будет исполнено лишь сто один год спустя императором Александром II Освободителем.

Разумеется, при дворе Людовика XV никогда не разделяли столь восторженного отношения к Елизавете Петровне, правда, с тех пор, как императрица в 1757 году сделалась союзницей христианнейшего короля Франции, высокомерие и неприязнь в Версале к ней и ее стране, по крайней мере внешне, утратили (как вскоре выяснится — временно) прежний откровенный характер. Рецидив русофобии у Людовика XV случится после того, как Петр III, преемник Елизаветы, в одностороннем порядке выйдет из Семилетней войны и пойдет на сближение с Фридрихом II.

«Спаси, Господи, Корсиканца из рук нечестивых французов»

Отношения между Екатериной II и Людовиком XV также были по меньшей мере напряженными, если не сказать — враждебными, что в решающей степени объяснялось настойчивыми попытками короля Франции вытеснить Россию на задворки Европы. «Единственная цель моей политики в отношении России состоит в том, чтобы удалить ее как можно дальше от участия в европейских делах... — писал король 10 сентября в секретной инструкции своему посланнику в Петербурге барону де Бретейлю. — Все, что может погрузить русский народ в хаос и прежнюю тьму, выгодно для моих интересов. Для меня не стоит вопрос о развитии отношений с Россией»[6].

Вплоть до 1772 года Людовик XV отказывался признавать за Екатериной императорский титул, надеясь на ее сверже-

ние с престола. Французская дипломатия вела упорную борьбу против России, постоянно сталкивая ее со своими давними союзниками — Турцией, Швецией и Польшей. Со своей стороны Екатерина II не скрывала неприязни к французскому «брату» за его антирусскую политику и не упускала случая насолить ему, где только можно.

Один из таких случаев представился ей в 1768 году, когда Франция аннексировала Корсику, объявив этот остров своей провинцией.

С 1347 года Корсика принадлежала Генуэзской республике, но с 1755 года она фактически находилась под контролем корсиканских повстанцев во главе с генералом Паскуале (Паскалем) Паоли, боровшихся за полную национальную независимость. Одряхлевшая Генуя, будучи не в силах самостоятельно справиться с нараставшим освободительным движением, стремилась заручиться поддержкой Франции. В 1756 году между двумя государствами был заключен договор, по которому в обмен на французские субсидии Генуэзская республика доверила Франции обеспечение внешней безопасности Корсики вплоть до окончания Семилетней войны. На острове высадились французские войска, которые заняли основные береговые крепости. Одновременно на Корсике высадился 6-тысячный генуэзский отряд, развернувший карательные операции против повстанцев.

Поначалу французы не вмешивались в генуэзско-корсиканский конфликт, но постепенно в Версале утверждались во мнении о необходимости включить Корсику в сферу французского влияния в Средиземноморье. В 1764 году генуэзцы, получив от Парижа новые субсидии, уступили французам в аренду на два года четыре крепости на корсиканском побережье.

К середине 60-х годов повстанцы сумели окончательно вытеснить генуэзцев и взять под контроль практически весь остров. Версальский двор конфиденциально предложил Паоли стать корсиканским королем, но перейти в вассальную зависимость от французской короны, однако вождь повстанцев решительно отверг посягательство на суверенитет Корсики. Он надеялся, что с истечением срока аренды в августе 1768 года французские войска покинут четыре занимавшиеся ими крепости, после чего остров обретет полную независимость.

Паоли не знал, что в это время близилась к завершению окончательная сделка между Францией и Генуей о судьбе Корсики. 15 мая 1768 года в Версале был подписан договор, в секретной части которого речь шла о передаче Генуей Франции всех прав на остров в обмен на 2 млн. ливров, которые должны были выплачиваться равными долями в течение десяти лет.

Сразу же за подписанием Версальского договора на Корсику был направлен дополнительный контингент французских войск под командованием графа де Во; в результате общая численность французских солдат превысила 20 тыс. человек.

Франко-генуэзская сделка вызвала взрыв возмущения на Корсике. По призыву Паоли корсиканцы поднялись против новых оккупантов, хотя и было ясно, что силы неравны.

Первое крупное сражение между французами и корсиканцами произошло на исходе лета 1768 года и закончилось поражением повстанцев. Вот что сообщал об этом из Парижа русский поверенный в делах Николай Константинович Хотинский: «По сведениям французов, корсиканцы потеряли от пятисот до шестисот человек убитыми и ранеными. В полон взято их восемьдесят человек. Французский же урон состоит из трех офицеров и около семидесяти человек рядовых, но о сем точных донесений еще не получено. Думают, что сия битва может быть решающей в покорении корсиканцев в непродолжительном времени, потому что они потеряли трех надежнейших своих полководцев, особливо славного между ними дон Карлоса. Но вряд ли сдадутся они так легко. По крайней мере, приготовления Паоли, который обложил всех поддерживающих его жителей чрезвычайными податями, свидетельствуют, что они готовятся к упорной обороне.

Прибывший курьер при мне рассказывал, что войска с обеих сторон дрались с особой яростью, и будто бы зверство корсиканцев до того дошло, что они, поймав одного французского офицера, привязали его к дереву и разложили перед ним огонь, а другого солдата искололи кинжалами. Сколь сей народ еще ни дик, все же трудно поверить в такое его варварство. Впрочем, из такой их лютости можно заключить, что они в самом деле до последней капли крови вольность свою защищать будут, за что они уже столько лет воюют»[7].

Победа при деревне Барбаджио, одержанная французами над корсиканскими повстанцами, ошибочно была оценена в Версале как окончательное поражение Паоли. 1 сентября 1768 года Людовик XV подписал эдикт, объявлявший Корсику французской провинцией.

Информируя императрицу Екатерину об этом событии, Н. К. Хотинский сообщал, что текст королевского эдикта был послан к Паоли, который, в свою очередь, не замедлил со своеобразным ответом. Во-первых, по словам Хотинского, на созванном Паоли Верховном совете Корсики «королевский эдикт изодран и истоптан был всеми шефами, которые при выходе из Совета кричали изо всех сил народу: Guerra! Guerra!». Во-вторых, Паоли переслал французам вместо ответа собственный манифест, в котором категорически отверг как правомерность франко-генуэзской сделки относительно Корсики, так и французскую аннексию острова. В манифесте предельно четко говорилось о твердом намерении корсиканцев воспрепятствовать любым попыткам ввергнуть их в новое рабство[8].

Хотинский сумел раздобыть копию манифеста Паоли и переслал ее в Петербург. В дальнейшем русский дипломат внимательно следил за развитием событий на мятежном острове, где успехи французов чередовались с серьезными поражениями. Из донесений Хотинского в Петербург видно, что временами ему казалось, что французским генералам не удастся сломить всенародное сопротивление корсиканцев, несмотря на все новые подкрепления, присылаемые из метрополии.

Столь пристальное внимание русского дипломата к корсиканской проблеме объяснялось соответствующими распоряжениями императрицы, приказавшей своему поверенному в делах прислать ей среди прочего подробную карту Корсики. Изучив присланную карту, Екатерина заметила, что, по всей видимости, рельеф местности облегчает корсиканцам успешно сопротивляться «иностранным войскам»[9].

Русская императрица проявляла самый живой интерес к «корсиканскому делу» и не скрывала своей симпатии к вождю повстанцев генералу Паоли. Интерес этот в решающей степени объяснялся желанием Екатерины II отомстить Людовику XV за его энергичные старания натравить Турцию на Россию в то самое время, когда русские были заняты борь-

бой с польскими конфедератами. «Французы так разщекотали известных наших соседей (турок. — *П. Ч.*), что они на нас вздумали наскакать, — писала императрица в октябре 1768 года графу Ивану Григорьевичу Чернышеву и добавляла: — Дай, Боже, здравствовать другу моему Паоли»[10].

В другом письме к Чернышеву Екатерина II писала: «Я нынче всякое утро молюсь: Спаси, Господи, Корсиканца из рук нечестивых французов»[11].

Императрица пожелала приобрести портрет Паоли и поместить его в своем кабинете. «Паолев портрет еще более бы меня веселил, если он сам продолжил проклятым нашим злодеям, мерзким французам, зубы казать. Однако я еще не отчаиваюсь, чтоб он продлил оборону, а если время ему выиграет, то уже много он сделает для надежды к спасению вольности своих сограждан», — писала она графу Чернышеву[12].

Имя Паоли встречается и в письмах Екатерины II к Вольтеру. Говоря о войне с Турцией, навязанной ей стараниями герцога де Шуазеля, тогдашнего главы французской дипломатии, императрица писала 17 декабря 1768 года своему «учителю»: «Сделаю все возможное, чтобы привести турок на то же зрелище, на котором труппа Паоли играет так хорошо. Не знаю, говорит ли последний по-французски, но он умеет защищать свои жилища и свою независимость»[13].

У Екатерины возникает идея установления прямой связи («открытия канала») с Паоли. Она обсуждала такую возможность с графом Никитой Ивановичем Паниным, своим ближайшим внешнеполитическим советником. Наладить этот канал связи поручено было русскому поверенному в делах в Венеции маркизу Маруцци, который отправил соответствующее письмо вождю повстанцев.

В ответном письме Паоли попросил маркиза Маруцци подробнее объяснить связь между русскими и корсиканскими интересами. В беседе с посланным от Маруцци дипломатическим курьером Паоли высказал пожелание получить от России помощь военными кораблями. «С 12 кораблями и с моим сухопутным войском, — говорил он, — я берусь прогнать французов с Корсики»[14].

Перспектива сотрудничества с Паоли, по-видимому, всерьез занимала Екатерину II. Иначе трудно объяснить тот факт, что могущественная императрица всея Руси изволила почтить

корсиканского инсургента посланием, французский текст которого сохранился среди ее бумаг. Вот его русский перевод, сделанный в 1872 году публикаторами этого документа[15].

Храбрым корсиканцам, защитникам их отечества и свободы, и в особенности генералу Паскалю Паоли.

Государь мой. Восставать против угнетения, защищать и спасать отечество от несправедливого захвата, сражаться за свободу — вот что постоянно у вас видит Европа уже много лет. На обязанности человеческого рода лежит помогать и содействовать тем, кто высказывает чувства, столь благородные, высокие и естественные. Одно уважение к вашим неустрашимым действиям было бы пошлым и бесплодным, когда бы оставалось неосуществленным. Счастливы те, кто в состоянии, помогая вам, помогать добродетели истинных граждан, великих душ. Примите плоды вашей твердости, они заключаются в прилагаемом при сем реестре. Располагайте этим, как своим добром. Пусть ваши удачи равняются правоте вашего дела, признанного таковым от одного полюса до другого. Доказательством тому настоящее письмо, которое в то же время заставит почувствовать ваших неприятелей, что у храбрых корсиканцев есть бескорыстные друзья. Они, руководимые только началами человеколюбия, доставляют им облегчения — признаемся, несоответственные их нуждам, но желанию, которое у нас есть быть вам полезным.

Ваши искренние друзья,
обитатели северного полюса

1769 года, июнь.

В бумагах Екатерины II не сохранился упоминаемый в письме к Паоли «реестр», но С. М. Соловьев высказал предположение, что «при письме посылались и деньги» для корсиканских повстанцев[16].

Тем временем Людовик XV заменил французское военное командование на Корсике, которое обвинил в бездеятельности, и потребовал в предельно короткие сроки покончить с восстанием на острове, куда из метрополии были направлены новые подкрепления.

Поставленный во главе французских войск граф де Во перегруппировал силы и сумел навязать Паоли генеральное сражение. Французы и корсиканцы сошлись 9 мая 1769 года на равнине Понто-Ново, у реки Голо, и 25-тысячная армия генерала де Во нанесла поражение повстанческим отрядам. Самому Паоли удалось избежать плена. 13 июня 1769 года вместе с братом и несколькими верными соратниками он поднялся на борт поджидавшего его в Порто-Веккио английского военного корабля, который доставил их в Ливорно.

Паоли был встречен на континенте как герой. Его лично приветствовал император Иосиф II. Фридрих Великий прислал ему в подарок шпагу, на лезвии которой было выгравировано: «PUGNA pro PATRIA» (Битва за Родину). А великий герцог Тосканский Леопольд счел за благо ввести в своем государстве конституцию, специально написанную для него Паоли. Вольтер и Руссо, к вящему неудовольствию версальского двора, сравнивали Паоли с героями Плутарха. Как видим, не одна Екатерина II, явно опоздавшая с официальным признанием Паоли, испытывала чувства восхищения корсиканским героем.

К слову сказать, два месяца спустя после того, как Паоли навсегда покинул берега Корсики, в городе Аяччо появился на свет другой корсиканец, которому была суждена еще более громкая слава, — Наполеон Бонапарт.

Пробыв недолго на континенте, Паоли отправился в Англию, ставшую для него последним земным прибежищем. Здесь он умер в 1807 году и был похоронен на кладбище Вестминстерского аббатства.

Поражение повстанцев при Понто-Ново имело следствием постепенное усмирение мятежного острова новыми его хозяевами — французами, которым, правда, еще долго придется гасить отдельные очаги пожара освободительного движения. «Корсику считают здесь вовсе покоренной, что и весьма вероятно, — сообщал Н. К. Хотинский 9 июня 1769 года Екатерине II, — но сколь ни радует этот успех дюка Шуазеля, не приносит он славы ни войскам, ни полководцам их, ибо ни те не имели случая показать свою храбрость, ни другие — искусства своего. Так все здесь рассуждают... Господин де Во, взявшись предводительствовать в Корсике, просил двадцать тысяч человек войска, двадцать миллионов денег, да двадцать палачей.

По всей видимости, с основанием заключают, что деньги более всего послужили»[17].

Утвердив свой суверенитет над Корсикой, Франция ревниво следила за тем, чтобы никакие иностранные корабли, особенно военные, не входили в корсиканские порты и даже в бухты. На этот запрет пришлось натолкнуться и русской эскадре, направленной летом 1769 года из Кронштадта в Средиземное море в связи с объявлением Турцией войны России. Попытки Хотинского получить согласие короля Франции на возможность захода русских кораблей во французские гавани в случае крайней необходимости (шторм, неотложный ремонт и т.д.) потерпели неудачу. Более того, французский министр иностранных дел в 1766–1770 годах герцог Шуазель, главный ненавистник России при дворе Людовика XV, попытался даже убедить короля принять меры к уничтожению русской эскадры во французских территориальных водах, дабы не допустить ее в морской тыл союзника Франции — Турции. Эта идея была отклонена Королевским советом, который даже рекомендовал Его Христианнейшему Величеству «в самом крайнем случае» позволить отдельным русским кораблям (но не всей эскадре) укрываться от штормов во всех французских гаванях, за исключением корсиканских... Шуазель неохотно, с явным недовольством проинформировал Хотинского о принятом королем решении.

«Когда ж исключил он вход наших кораблей в Корсику, — докладывал Хотинский графу Панину в шифрованном донесении от 15 октября 1769 года о своей встрече с Шуазелем, — спросил я его, неужели он опасается какого-то их предприятия на тот остров, на что он мне сказал, что они там могут быть в тягость, потому что в Корсике мало работников и прочее»[18].

В конечном счете русская эскадра обошлась без захода в гавани Корсики и в июле 1770 года нанесла сокрушительное поражение турецкому флоту в бухте Чесма, уничтожив 15 линейных кораблей, 6 фрегатов и свыше 40 малых судов, что существенно подорвало мощь Блистательной Порты.

Что же касается интереса России к Корсике, то он, после поражения Паоли и бегства его с острова, практически сошел на нет, хотя в переписке петербургской Коллегии иностранных дел с русским посольством в Париже и в 1770-е го-

ды время от времени возникала корсиканская тема. Так было, в частности, в 1774 году, когда на Корсике вспыхнуло антифранцузское восстание, а в Версале ожили прежние страхи относительно иностранного (английского или русского) участия в нем.

О распространении подобных настроений докладывал в Петербург русский посланник при версальском дворе князь Иван Сергеевич Барятинский. В шифрованной депеше от 30 июня 1774 года, адресованной главе Иностранной коллегии графу Н. И. Панину, он писал: «...а некоторые скрытно распускают слух, якобы Россия подослала к Корсике два корабля, нагруженные военными орудиями и снабженные знатной суммой денег. Я стараться буду о сем проведать и, если что узнаю, не премину о том вашему сиятельству донести»[19].

Среди прочего князь Барятинский передал в Петербург информацию о планах правительства Франции депортировать с мятежного острова коренное население Корсики, не желавшее примириться с французским господством. «Здесь говорят теперь, — сообщал он 10 июля 1774 года графу Панину, — что французское министерство обратило свое внимание на усмирение сих мятежей и на изобретение средства для предотвращения впредь подобных беспорядков, и будто намерены они подать королю просьбу о том, чтоб всех природных жителей сего острова перевести по частям в другие разные поселения, а на их место поселить других каких-либо французских подданных. Указывают, что сей народ, будучи особенно склонен к возмущениям, никаким другим способом в порядке и послушании содержан быть не может»[20].

Впрочем, русской императрице и ее министрам в это время было не до корсиканских повстанцев. В самой России пылал пожар пугачевского бунта, потребовавший от Екатерины II мобилизации всех сил для его ликвидации. Кстати говоря, Людовик XV не преминул воспользоваться очередной русской смутой, для того чтобы, в свою очередь, насолить своей русской «кузине». Христианнейший король не только занял весьма двусмысленную позицию в отношении Лжепетра III, но даже направил в армию мятежников группу своих офицеров. Но это уже другая история.

«Французский след» в восстании Пугачева

О восстании Емельяна Пугачева 1773–1775 годов написано много. Историки тщательно исследовали причины и предпосылки пугачевщины, проследили историю и географию восстания на всех его этапах, создали галерею исторических портретов главных действующих лиц тех драматических событий, наконец, подвели неутешительные итоги этой крупнейшей русской смуты. Тем не менее пугачевщина имела один аспект, до сего дня остающийся в тени. Речь идет о его, как бы мы сейчас сказали, международном аспекте.

Пугачевщина получила весьма широкий отзвук за пределами России. В течение почти двух лет Европа внимательно следила за развитием крестьянского восстания, гадая, кто же возьмет верх — Екатерина II, узурпировавшая в 1762 году престол своего незадачливого супруга, или самозваный мужицкий царь, называвший себя Петром III? Шансы на успех Лжепетра III вовсе не представлялись тогдашним европейским наблюдателям безнадежными, как это стало очевидным для последующих историков.

Самый пристальный интерес к событиям, происходившим тогда в России, проявляла Франция. В расчетах версальского двора всегда присутствовало убеждение, что смута в России — лучшая гарантия против возрастания русского влияния в Европе. Считая Екатерину II «заклятым врагом» Франции (именно так аттестовал императрицу герцог де Шуазель), в Версале в течение двенадцати лет со дня ее воцарения лелеяли мечты о свержении «ученицы Вольтера» с петербургского трона. Вначале подобные надежды связывались с несчастным Иоанном Антоновичем, томившимся в Шлиссельбургской крепости, а после его убийства в ночь на 5 июня 1764 года в Версале почему-то уверовали в растущую оппозиционность русского дворянства по отношению к немке на троне московских царей.

В этом смысле появление в сентябре 1773 года в заволжских степях самозванца, объявившего себя Петром III, было встречено в Версале с самым живым интересом, о чем красноречиво свидетельствует секретная переписка французского по-

сланника в Петербурге Дюрана де Дистрофа со своим двором. Эту переписку я обнаружил, работая в Архиве Министерства иностранных дел Франции в Париже[21].

По мере расширения своих масштабов пугачевский бунт со всей очевидностью приобретал широкий международный резонанс. Именно это обстоятельство более всего ранило самолюбие императрицы всея Руси, приказавшей срочно составить и распространить в Европе пропагандистскую книгу, разоблачающую Пугачева. Такая книга под названием «Лжепетр III, или Жизнь и похождения мятежника Емельяна Пугачева» была опубликована на французском языке (в то время международном) в Лондоне в 1775 году[22].

Что крайне беспокоило императрицу на всем протяжении пугачевского бунта, так это зарубежные связи «маркиза Пугачева». Мысль о возможном иностранном участии в русской смуте долгое время не давала ей покоя. Вспомним, что пугачевский бунт разгорелся в крайне неблагоприятной для России обстановке, когда она вела изнурительную войну с Турцией, которую поддерживала Франция.

Между тем подозрительность Екатерины II не была лишена оснований. Изучение фондов Архива внешней политики Российской империи, и, в частности, секретной дипломатической переписки русского посланника в Париже князя Ивана Сергеевича Барятинского и посланника в Вене князя Дмитрия Михайловича Голицына с главой Иностранной коллегии графом Никитой Ивановичем Паниным за 1774 год, показывает, что у императрицы были обоснованные причины для беспокойства. Она еще не забыла, что в Польше конфедераты зачастую сражались с русскими войсками под руководством французских офицеров (22 француза в 1769–1770 годах были взяты русскими в плен и смогли вернуться на родину летом 1773 года лишь благодаря заступничеству Д'Аламбера). Она была осведомлена и об участии французских военных на стороне турок в войне с Россией. А что, если «проклятые французы» вместе с турками оказывают помощь и Емельке Пугачеву?.. Такое предположение вовсе не казалось абсурдным самодержице всероссийской, получавшей тревожную информацию на этот счет. С некоторыми документами, найденными в АВПРИ, которые в свое время причиняли беспо-

койство Екатерине II, мне и хотелось бы ознакомить читателя этих очерков[23].

О наличии каких-то связей между Пугачевым, турками и французскими военными советниками в армии султана сообщал из Вены князь Д. М. Голицын, которому удалось завербовать сотрудника канцелярии французского посла при венском дворе князя Луи де Рогана. Информатор передал русскому дипломату копии нескольких секретных писем, которыми обменялся французский посол в Вене со своими коллегами в Константинополе и Санкт-Петербурге — графом де Сен-При и Дюраном. Из этой переписки недвусмысленно следовало, что французская дипломатия по крайне мере не исключала возможности контактов с Пугачевым и взаимодействия последнего с турецкой армией. Более того, если верить этой переписке, то отдельные французские офицеры, служившие у султана, находились и в рядах мятежников-пугачевцев.

31 марта 1774 года князь Голицын отправил графу Панину ставший ему известным «экстракт» письма графа де Сен-При к князю де Рогану следующего содержания: «Он (Сен-При. — *П. Ч.*) говорит, что французские офицеры шлют ему эстафету за эстафетой из [турецкой] армии, которая должна предпринять диверсию (ограниченную военную операцию. — *П. Ч.*) в России в пользу Петра III (имеется в виду Пугачев. — *П. Ч.*). Эти офицеры не верят в успех их предприятия; они сожалеют, что [в армии] нет ни правил, ни порядка, ни подчинения, ни продовольственных, ни боевых припасов; что если их выступление не будет сопровождаться всеобщим восстанием [в России], то они оставят это предприятие.

Он говорит, что надежды, возлагаемые на существующее в России недовольство, в действительности необоснованны, поскольку достаточно обычного манифеста или угрожающего указа царицы, чтобы напугать всех; что [русские] предпочтут рабство судьбе, которая отвечала бы их надеждам. Он (Сен-При. — *П. Ч.*) просит выделить ему вновь значительную сумму денег, которые он мог бы использовать в этих целях при всяком благоприятном случае...»

Из этого письма можно сделать вывод, что Турция предполагала осуществить военную операцию на территории России (по всей видимости, с Северного Кавказа или через Крым)

с целью поддержки Пугачева и что в этой операции должны были принять участие французские офицеры.

Из другого письма, отправленного 30 марта 1774 года из Вены князем де Роганом в Константинополь графу де Сен-При, также перехваченного русским агентом, следовало, что о поддержке Пугачева в той или иной мере подумывал и сам Людовик XV. Вот что говорилось в этом письме, французскую копию которого князь Голицын поспешил переправить графу Панину в Петербург: «Король направляет к вам подателя сего письма, который по собственной инициативе вызвался оказать помощь Пугачеву. Это офицер Наваррского полка, имеющий множество заслуг. Вы должны как можно скорее отправить его с необходимыми инструкциями для так называемой Армии [Пугачева].

Король вновь выделяет вам 50 тысяч франков для непредвиденных расходов, помимо того, что вы еще должны получить из выделенных вам средств за прошлый месяц. Не жалейте ничего для того, чтобы нанести решающий удар, если к тому представится случай. Нет такой суммы, которую король не предоставил бы ради осуществления наших замыслов.

Не думайте, что с заговорами покончено. Я имею достоверные сведения, что во всех провинциях царицы много недовольных, которые ждут лишь случая, чтобы восстать. Даже русские солдаты говорят гадости о царице и короле Польши (Станиславе Понятовском. — *П. Ч.*). Можно представить себе настроения среди офицеров так называемой армии Пугачева. Вы увидите, что если она добьется хоть каких-нибудь успехов, то русские солдаты целыми соединениями станут под их знамена, и вы с триумфом возвратитесь в Париж, где получите достойное вознаграждение за вашу доблестную службу. Прощайте, будьте бдительны и активны, и рассчитывайте на дружбу князя Луи де Рогана».

Судя по всему, французский посол в Константинополе был лучше осведомлен не только о внутреннем положении Турции (что вполне естественно), стоявшей на грани поражения, но и о ситуации в России, нежели его коллега в Вене. Во всяком случае, попавшая к русским переписка графа де Сен-При говорит о весьма пессимистичной оценке им как шансов Порты продолжать войну против России, так и шансов

Пугачева на успех. В письме от 20 марта 1774 года, адресованном князю де Рогану графом де Сен-При, также ставшем известным русскому посланнику Д. М. Голицыну, прямо говорилось, что Порта «совершенно решилась заключить мир, лишь бы только Россия немного сговорчивее была». «Бедная армия Пугачева, — продолжал граф де Сен-При, — разбита и рассеяна в Сибири, и те из нее, кои были счастливые, спаслись убежищем в турецких границах; итак, можно по всему видеть, что сей проект в ничто обратился. Два французских офицера, которые сыскали способ возвратиться в Константинополь, в столь худом состоянии пришли сюда, что жалко смотреть на них: больные и почти все голые, заедены вшами и изнурены от бедности и от трудов дорожных. Я об них имею попечение и буду стараться отправить их отсюда через Вену, как скоро они немного повыздоровеют и в состоянии будут ехать».

Информация, полученная французским дипломатом, о разгроме армии Пугачева не была достоверной. По всей видимости, ему сообщили о каком-то местном поражении одного из многочисленных пугачевских отрядов. В феврале — марте 1774 года повстанцы сумели даже взять Гурьев городок, Челябинск и Татищеву крепость, а в начале апреля Пугачев начал успешный поход по Башкирии, Уралу и Прикамью.

В письме графа де Сен-При нам интереснее другое — упоминание о двух французских офицерах, которые якобы вернулись в Константинополь из расположения пугачевской армии. Имена их не названы, но сам факт представляет несомненный интерес как косвенное свидетельство участия отдельных французов в восстании Пугачева. Этот факт отчасти подтверждается получившей огласку историей с арестом и ссылкой в Сибирь француза на русской службе полковника Анжели, обвиненного в подстрекательстве в пользу Пугачева.

История эта получила огласку после публикации, появившейся 25 июля 1774 года в 59-м номере «Gazette de France», где сообщалось: «Полковник Анжели, француз на русской службе, был в оковах отправлен в Сибирь. Обнаружили, что он имел связи с мятежниками и тайно подстрекал многие русские полки к восстанию. Утверждают даже, что если бы его не обезвредили, то вся армия перешла бы под знамена мятежников».

Некоторые сведения об этом деле можно найти в двух донесениях из Парижа князя И. С. Барятинского графу Н. И. Панину от 11 августа, где он сообщает министру о своей беседе с прибывшим из Вены французским послом князем Луи де Роганом. «Вчерашний день на ужине у гишпанского посла, — писал Барятинский в первой депеше, — принц Луи (де Роган), от здешнего при цесарском (венском) дворе посол между прочими разговорами сказал мне, что он с сожалением известился о том, что находящийся в российской службе полковник Франсуа Анжели окован и сослан в Сибирь за то, что он, быв сообщником Пугачева, будто бы находящимся в Смоленске французским офицерам давал много денег, дабы и их к тому склонить, уверял меня при том, что такие на него, полковника Анжели, подозрения неосновательны, ибо де имел он случай узнать его персонально в Вене, и могу в том ответствовать, что он всегда сохранял достодолжное почтение к особе Ее Императорского Величества и усердие к наблюдению Ее интересов.

Неоспоримо де то, что давал он деньги помянутым офицерам, но делал он сие по той единственнно причине, что они находились в крайней бедности и из сожаления к своим одноземцам. А поскольку господин Дюран замедлил доставить им нужную для их пропитания сумму, о коей они его просили, то и адресовались они ко мне с сей просьбой об их неоставлении через нарочного, присланного из Смоленска. Потому-то я и послал им от себя несколько тысяч червонцев, донеся о том Его Величеству, покойному королю (речь идет о Людовике XV, умершем 10 мая 1774 года. — *П. Ч.*), который одобрить сие соизволил.

Действительно, не можно Анжели извинить за то, что он, будучи отпущен только в Баден, без дозволения ездил в Вену и в Париж, однако представляется, что сей поступок не заслуживает такого строгого наказания тем паче, что он сделал сие по той единственно причине, что, выехав из Франции из-за несчастного поединка, не мог он обратно приехать во Францию, не получив прежде прощения. А так как он всегда желал по окончании войны возвратиться в свое отечество, то и вздумал он воспользоваться сим случаем и приехал сюда под другим именем и в мундире армии Ее Императорского

Величества, будучи уверен, что в сем состоянии конечно его арестовывать нигде не будут.

По приезде в Париж хотел он изъясниться о своем деле с дюком д'Эгильоном (тогдашним министром иностранных дел. — *П. Ч.*), но не имел удобного к тому времени, ибо видел его один только раз, да и то уже при выходе его со двора, почти в передней. Посему, прожив только три дня в Париже, без всякого решения, возвратился он в Баден, а оттуда отправился в армию, но, не доехав, на границе был арестован.

Я де говорил графу Вержену (новому министру иностранных дел Франции. — *П. Ч.*), нельзя ли употребить старание об его освобождении, но он ответствовал, что если Россия почитает его участником в происшедших смятениях, то здешний двор за него вступаться не может. Так что теперь не остается другого средства к избавлению сего несчастного, как только просить Вас о ходатайстве в его пользу, обнадеживая при том, что он не только ручается за него словесно, но и письменное даст свидетельство о верности и усердии Анжели к службе Ее Величества.

Выслушав сей его разговор, — докладывал канцлеру князь Барятинский, — ответствовал я ему, что никакого о сем деле известия не имею кроме того, что прочитал во Французской Газете, статью из которой прилагаю при сем для усмотрения вашего сиятельства, но что, зная возвышенный образ мыслей и справедливость Ее Величества всемилостивейшей моей Государыни, могу его с моей стороны уверить, что конечно же с Анжели не поступили бы так без точных и достаточных доказательств его вины. Потом сказал я ему, что так как сие дело совсем до меня не касается, то и не могу я принять от него никакой по сему записки, а если он находит сие необходимо нужным, то сообщил бы то князю Дмитрию Михайловичу Голицыну, как министру Ее Величества, пребывающему при одном с ним дворе.

Принц Луи ответил на это, что он теперь в Париже и не знает, когда возвратится к своему посту. По этой причине он желал бы, чтобы сие его свидетельство верно дошло к Ее Императорскому Величеству, изъявляя при том почитание свое к великодушию и человеколюбию Ее Величества. Я повторил ему мое извинение, что не могу принять означенной его за-

писки с убеждением при том, что я столько же уважаю словесное его свидетельство как бы и письменное».

Во второй депеше, составленной вечером того же дня, 11 августа, Барятинский уточняет предыдущую информацию, ссылаясь на свой конфиденциальный разговор с прусским посланником в Париже по поводу публикации «Gazette de France». Прусский дипломат сообщил своему русскому коллеге, что «он имеет известие от своего министерства, что подлинно полковник Анжели был в Вене у принца Louis, и от него под другим именем отправлен был в Париж к дюку д'Эгильону, с которым несколько раз говорил в его кабинете, как о состоянии войск Ее Величества, так и о разглашениях в России о Пугачеве ему сообщил, и что имел он секретные от здешнего министерства инструкции».

К сожалению, ни в московском, ни в парижском дипломатических архивах пока не удалось найти каких-либо дополнительных сведений о полковнике Анжели и других французских офицерах, якобы замешанных в пугачевском бунте. Единственное упоминание об Анжели попалось мне в депеше князя Барятинского вице-канцлеру графу И. А. Остерману от 16 апреля 1775 года, где русский посланник сообщал: «Бывший в Российской службе полковник Анжели живет в Париже у известного Шоази». Из этого можно сделать вывод, что императрица смилостивилась над незадачливым французом и позволила ему вернуться на родину.

Из-за отсутствия документальных данных приходится ограничиться лишь предположениями. Полковник Анжели в равной степени может быть отнесен к числу тайных агентов французской дипломатии, пытавшихся установить неофициальные контакты с Пугачевым, а может считаться и жертвой чрезмерной подозрительности русских властей. Впрочем, поведение дипломатии Людовика XV перед русско-турецкой войной и почти на всем ее протяжении, а также интриги в связи с пугачевской смутой в России давали достаточно пищи для такой подозрительности.

Восстанием Пугачева пытались воспользоваться и отдельные авантюристы во Франции с целью вымогательства денег от русского правительства. Один из примеров такого рода можно найти в донесении из Парижа князя Барятинского от 25 сентября 1774 года. Оно настолько интересно, что есть

смысл привести его почти полностью. «...Находящийся при мне священник сообщил мне следующее с ним приключение, — докладывал Барятинский Панину, — на сих днях прогуливался он в саду, когда подошел к нему незнакомый француз и начал с ним индифферентный разговор, а узнав, что он говорит с русским, стал разговаривать о Пугачеве, объявляя о себе, что он сам долгое время жил в России между колонистами и был старостой в Каминской слободе, а недавно сюда приехал; что Пугачева не токмо видал, но знал его персонально в Саратове, сказывая при том об нем, якобы он уроженец очаковский и был в российской службе поручиком в Прусскую войну; что когда он его видал, то носил уже он казацкое платье. Сей француз называется Ламер.

В продолжение о сем разговора признался он, что ему подлинно известно, что Пугачев имел сие злоумышление прежде еще войны с турками и делал к тому проекты вместе с сылочными польскими конфедератами, и что он хотел к сему умыслу склонить и колонистов, но не мог в том преуспеть.

В 1772 году сделался с ним сообщником в сем злоумышлении и один колонист из французов по имени Кара, которого и отправил он с Мемориалом к дюку д'Эгильону, но что помянутый Кара в том году в Париже не был, а оставался в Голландии для исправления других его, Пугачева, комиссий (поручений. — *П. Ч.*), а означенный Мемориал послал он к дюку д'Эгильону другим каналом. Потом из Голландии поехал он к польским конфедератам, а в нынешнем году приезжал сюда, однако якобы дюк д'Эгильон ни на что в их пользу не согласился, почему и отправился он в Италию в том намерении, чтобы ехать в Константинополь.

Поп спросил его: откуда получает Кара деньги для вояжирования? На что Ламер ему ответствовал, что он имеет деньги по кредитиву Пугачева от польских конфедератов.

Наконец открылся он ему, что помянутый Кара по тесной между ними дружбе сообщил ему копию означенного Мемориала от Пугачева. Священник просил его, не может ли он сообщить ему сию копию для единственного любопытства, однако он в том отказался, а обещал только ему прочесть. На другой день приходил он к попу и читал тот Мемориал, которого содержание, сколько мог он упомнить, было следующее: в начале пишет он, что все в России колонисты весьма недо-

вольны, что очень легко их возмутить, особливо когда Россия с Портой в войне, и что по его плану можно будет составить в тех местах армию до шестидесяти тысяч человек; при том предлагает, что как в тех местах сомневаются еще в кончине Петра Третьего, то и можно к возмущению употребить сей предлог. В заключении просит Францию, дабы она употребила свое старание, чтоб турки прислали к нему через Грузию несколько войска для его подкрепления, а в случае его неудачи дали бы ему у себя убежище.

Я, выслушав от священника сие его мне сообщение, просил, чтобы он постарался свести с помянутым Ламером большее знакомство и достать у него, если можно будет, копию с сего Мемориала», — завершал свое шифрованное донесение, казавшееся ему крайне важным, князь Иван Сергеевич Барятинский.

Но самое удивительное в этом деле — реакция Екатерины II на полученную информацию. На полях последнего листа донесения Барятинского рукой императрицы красным карандашом начертано: «Все сие суть враки сущаго авантюрье, а Мемориалом у кого ни на есть деньги выманить вздумали». Подобная резолюция исключала любые дальнейшие шаги Барятинского по выяснению обстоятельств, связанных с пресловутым «Мемориалом Пугачева».

Трудно со всей определенностью сказать, чем было вызвано столь откровенное недоверие Екатерины к полученной из Парижа информации. Конечно, сама по себе она и могла бы показаться сомнительной, но в сопоставлении с имеющимися в распоряжении императрицы другими фактами «Мемориал Пугачева», быть может, и не выглядел очевидной фальшивкой. В конце концов, даже те сведения, которые сообщил священнику русского посольства в Париже его случайный (?) информатор Ламер, не были лишены некоторой достоверности, Это относилось и к личности Пугачева, и к возможности встречи с ним Ламера в Саратове, захваченном мятежниками в начале августа 1774 года, когда француз находился в этом волжском городе, и к настроениям среди иностранных колонистов в Поволжье.

В связи с последним обстоятельством можно сослаться хотя бы на информацию французского посланника Дюрана, сообщавшего из Петербурга о том, что еще в 1770 году был раскрыт

заговор в пользу великого князя Павла Петровича, которому симпатизировали и немецкие колонисты. В шифрованной депеше от 31 декабря 1773 года Дюран сообщал в Версаль, что «Пугачев легко может рассчитывать на саратовских колонистов, среди которых множество недовольных русскими [порядками] дезертиров из прусской и австрийской армий, которые отличаются храбростью и приверженностью к военной дисциплине».

Странное, казалось бы, пренебрежение Екатерины II к информации Барятинского, по всей видимости, можно объяснить только одним: к моменту ее поступления в Петербурге уже знали, что главные силы мятежников разбиты, а сам Пугачев захвачен и находится в распоряжении следствия. Стоило ли после этого тратить деньги на выкуп «Мемориала», который к тому же мог оказаться заурядной фальшивкой?..

Между тем молодой король Людовик XVI, вступивший на престол в мае 1774 года, и новый глава французской дипломатии граф де Верженн всячески давали понять Петербургу, что они всерьез намерены пересмотреть прежнюю антироссийскую политику своих предшественников. Версальский двор впервые занял более четкую позицию и в отношении пугачевщины. Характерно, что Людовик XV и его дипломатическое ведомство вообще уклонялись от каких-либо оценок возникшей в России смуты, что, наряду с откровенной поддержкой Версалем Оттоманской Порты, делало позицию Франции по меньшей мере двусмысленной.

Официальный Версаль поспешил принести Петербургу свои поздравления в связи с поимкой Пугачева. В инструкции Дюрану от 5 октября 1774 года министр иностранных дел граф де Верженн подчеркивал: «Мы совершенно искренне разделяем ту радость, которую вся Европа должна ощущать от захвата Пугачева. Все правительства заинтересованы в подавлении мятежа, принципы которого противоречат основам всякой власти и способны потрясти любое государственное устройство. Между прочим человечество получило урок кошмарных эксцессов, которым предавались этот мятежник и те, кого он обольстил. Остается верить, что очень скоро он подвергнется заслуженному наказанию и что его приверженцы, освободившись от влияния этого злодея, сами вернутся к исполнению своего долга».

3 ноября 1774 года в реляции Екатерине II князь Барятинский сообщил, что Людовик XVI лично говорил с ним об аресте главаря мятежников, что должно было подчеркнуть внимание христианнейшего короля к заботам его русской «кузины». «Третьего дня, — писал императрице ее представитель при версальском дворе, — был я со всеми чужестранными министрами у короля на поклоне, Его Величество, подойдя ко мне, изволил сказать, что злодей Пугачев пойман, и спрашивал меня при том, имею ли я о сем известие, На что донес я Его Величеству, что того же утра получил я о том письмо от Вашего Императорского Величества и господина вице-канцлера».

Что можно сказать по поводу приведенных выше документальных свидетельств? Прежде всего то, что они не дают прямых и убедительных доказательств французского участия в восстании Пугачева, хотя и наводят на мысль о попытках установления контактов между отдельными подданными христианнейшего короля Франции и Лжепетром III. Вся история русско-французских отношений от воцарения Екатерины II в результате «революции» 1762 года и до самой смерти Людовика XV в мае 1774 года, как свидетельствуют сами французские дипломатические документы, показывает заинтересованность версальского двора в падении императрицы или по крайней мере в максимальном ослаблении ее влияния на европейские дела. Ставка при этом делалась как на разжигание традиционной враждебности к России ее ближайших соседей — Швеции, Польши и Турции, так и на возможность внутренней смуты в России. В этом смысле пугачевский бунт представлял для дипломатии Людовика XV несомненный интерес.

По понятным причинам Версаль не мог открыто поддержать Пугачева, признав его Петром III (такая демонстративная поддержка скомпрометировала бы Людовика XV), но закулисная деятельность дипломатов Его Христианнейшего Величества в этом направлении была вполне возможной. Дело в том, что, наряду с официальной французской дипломатией в годы царствования Людовика XV существовала параллельная, личная дипломатия короля (пресловутый Le Secret du Roi — секрет короля), нередко входившая в противоречие с официальной.

«Поздравляю вас с воздушными колесницами, летающими вокруг ваших голов»

Родиной воздухоплавания (аэронавтики) принято считать Францию, а начало полетов на воздушных шарах (монгольфьерах) датируется 1783 годом, когда братья Жозеф-Мишель и Жак-Этьен (Стефан) Монгольфье на аэростате собственной конструкции совершили несколько показательных полетов в небе Парижа и его окрестностей. В истории навсегда остались имена других французских пионеров воздухоплавания — физика Шарля, аэронавтов Пилатра де Розье (погибшего 15 июня 1785 года), маркиза д'Арманда, Бланшара и его жены, первой женщины-воздухоплавательницы, разбившейся при своем 67-м полете...

В Архиве внешней политики Российской империи хранятся реляции императрице Екатерине II от русского посланника во Франции князя Ивана Сергеевича Барятинского, бывшего в 1783—1784 годах очевидцем первых полетов на воздушных шарах.

ВСЕПРЕСВЕТЛЕЙШАЯ, ДЕРЖАВНЕЙШАЯ ИМПЕРАТРИЦА И САМОДЕРЖИЦА ВСЕРОССИЙСКАЯ!

...ВАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ уже не безызвестно, что здесь изобретено в недавнем времени одним французом, уроженцем Губернии Лангедок, Провинции Виваре, города Анноней по имени Montgolfier поднятие на воздух великой тягости посредством дыма, и что таковую Экспериенцию делает здесь в Париже один Профессор физики по имени Charles, чрез посредство Air inflamable, и оная машина называется: Machine Aéronatique.

Оба сии изобретатели делали здесь разные Экспериенции, из коих две почитались только знаменитыми.

Первая: Charles спустил перед Военной школой на лугу, называемом Champ de Mars, глобус, сделанный из тафты в диаметре с лишком двенадцать футов французской меры, обмазанный de Gomme élastique, которую мазь упомянутый Charles с двумя братьями механиками по имени Robert изыскали спо-

соб составлять особенным образом так, что никакой воздух сквозь оную тафту проходить уже не может. Сей Глобус поднялся на воздух в несколько минут из виду человеческого и чрез три четверти часа упал лопнутый на поле при местечке называемом Гонес, расстоянием от Парижа меж четырьмя и пятью лье.

Вторая: Montgolfier спустил в Версалии в присутствии Его Христианнейшего Величества, Высочайшей фамилии и многочисленного народа шатер, сделанный из Парусного полотна в диаметре 41, а в вышине 57 французских футов. Под оным шатром привязана была плетеная корзина, в которой посажены были баран и две птицы. Оная машина спущена была с большого дворцового двора. Чрез несколько минут поднялась она более двухсот французских саженей и чрез восемь минут спустилась в Версальский зверинец при урочище, называемом Vaucresson, расстоянием от того пункта, с которого поднялась, в 1700 саженях.

10го/21го числа сего месяца помянутый Montgolfier спустил другой шатер, сделанной из парусинового же полотна, в диаметре 46, а в вышине 70 футов французских, и под оным шатром подвязана была деревянная Галерея, на которой утвержден был железный решетчатый таган с огнем; положено было несколько снопов соломы для содержания оного огня, [полетели] один армейский майор по имени le Marquis d'Arlandes, а другой здешнего города мещанин, упражняющийся в науках, именуемый Pilatre de Rozier.

Сия Экспериенция была делана в саду королевского замка La Muette. Каким же образом оная происходила, равномерно что делали воздушные путешественники на пути, для подробного усмотрения ВАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ принимаю смелость поднесть дневные Парижские журналы, в коих все оное напечатано.

Завтрешнего числа по утру вышеупомянутый профессор физики Charles будет делать подобную Экспериенцию в саду Тюльери; пущен будет шар тафтяной в диаметре 26 французских футов, обмазанный de Gomme élastique, приуготовленный сим профессором. Под оным шаром подвязана будет колесница на подобие древних, сделанная из тростей и обшитая картузной бумагой. В сей колеснице полетят упомянытые два брата Roberts.

По окончании оной Эксперienции, каковая будет учинена Академическая записка, копию с оной поднесть ВАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ не премину; равномерно при первом удобном случае доставлю и все изданные по сему предмету описания.

В протчем со всеглубочайшим респектом пребываю
ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
Всепреданнейший раб
Князь Иван Барятинский

В Париже
19/30 ноября 1783го году[24].

К реляции был приложен № 326 «Journal de Paris» за 22 ноября 1783 ода с отчетом о запуске воздушного шара вблизи королевского замка La Muette. В последующих реляциях князь Барятинский неоднократно сообщал императрице о все более частых запусках воздушных шаров в Париже, прилагая к своим реляциям газетные публикации и мнения ученых на эту тему. Для пущей наглядности он направлял государыне рисунки, сделанные во время показательных полетов первых аэронавтов.

Князь Иван Сергеевич проявил понимание значения и перспектив зарождавшегося на его глазах воздухоплавания. Вот что он писал об этом Екатерине II в реляции от 30 ноября (11 декабря) 1783 года: «Эксперienции, учиненные Монгольфье и Шарлем, занимают еще всю здесь публику, а наипаче всех разумных и ученых людей, ибо изобретатели, Великая Государыня, предполагают и имеют надежду в том, что возможно будет дойти до того, что оными машинами могут управлять как судами на воде, хотя не с такою точностию, но что можно будет держать путь, не подчиняясь одним только стремлениям ветров. По сим заключениям делается и рассуждение, что если в подлинную до сего совершенства доведены будут таковые путешествия, то многие вещи в свете возьмут совсем другой оборот, а наипаче политические и коммерческие дела, в рассуждении скоропостижного сношения; равномерно и военные силы и движения не могут быть скрыты от верного исчисления и примечания, и не будет никакой крепости, которой бы не можно было овладеть чрез угрозы с воздушных машин метанием огненных материй, каковых потушить невозможно...»[25]

Екатерина II с живым интересом реагировала на поступавшие из Парижа новости о запусках «Machines Aéronatiques». «Поздравляю вас с воздушными колесницами, летающими вокруг ваших голов. Когда они усовершенствуются, очень приятно будет съездить отсюда в Париж в три дня. На всякий случай, я велю держать наготове для вас топленные комнаты. Говорю: топленные, потому что уже три дня наш градусник колебается между 18 и 27°», — шутливо писала она 19 декабря 1783 года из промерзлого Петербурга своему парижскому корреспонденту Мельхиору Гримму[26]. А спустя несколько дней, накануне Рождества Христова, императрица вновь возвращается к этой теме в другом письме Гримму: «Благодарю вас за посмертные сочинения Монтескье и за превосходные раскрашенные эстампы с изображением Шара-Эростата. О Небо! Даруй им поскорее перья, дабы ни один из делающих опыты не сломал себе шеи, падая с высоты. Как вы ни прибудете, по земле, воде или воздуху, — завершала свое послание Гримму российская самодержица, — всегда будете желанным гостем»[27].

Почти сразу же полеты на воздушных шарах сделались очередной парижской модой, доступной, правда, лишь состоятельным людям. К числу таковых принадлежал и член королевской фамилии Луи-Филипп-Жозеф, герцог Шартрский (с 1785 года — герцог Орлеанский). Совсем скоро, в годы революции, он станет рьяным республиканцем, возьмет себе имя Филипп-Эгалите (Равенство) и будет в числе тех депутатов Конвента, кто вынесет смертный приговор Людовику XVI, что, впрочем, не спасет его самого от гильотины. Герцог всегда стремился идти в ногу со временем и потому не мог остаться безучастным к воздухоплаванию.

О его попытке совершить полет на воздушном шаре свидетельствовал российский посланник в Париже. «Дюк де Шартр, — писал князь Барятинский Екатерине II 15 июля 1784 года, — после первой воздушной Экспериенции Профессора Шарля, приказал Машинистам Робертам сделать таковую же машину на его кошт, и для оного отведено было место в саду замка Сент-Клу. Сия машина сего утра в восемь часов была спущена в присутствии Его Шведского Величества (Густава III, гостившего в то время во Франции. — *П. Ч.*) и множества зрителей.

Путешественники на оной были сам дюк де Шартр, два брата Роберта и четвертый, помощник сих Машинистов. Машина сия поднялась в несколько минут из виду человеческого, и с такою крутостию продолжала свое возвышение, что Путешественники примечали опасность в их жизни от тонкости воздуха. Труба, чрез которую Роберты щитали иметь способ быть властными подниматься и опускаться, повредилась при сооружении так, что оставалась без действия, почему Путешественники нашлись принужденными машину ту для своего спасения проколоть; и чрез несколько минут с стремлением спускались близ Бела-вю (Бельвю. — *П. Ч.*) при береге реки Сены в топкое болото; но к шастию их при том болоте случился быть крестьянский малый, который, увидев падение машины, закричал Путешественникам, что они погибнут, если попадут в то болото.

Путешественники скинули к нему веревку, которою он ту машину притянул на твердую землю. Дюк де Шартр находится в желаемом здравии. Равномерно и все Путешественники ничем невредимы»[28].

В сентябре 1784 года братья Роберы повторили свой полет, но уже без герцога Шартрского, который решил не искушать судьбу вторично...

Во время участившихся в Париже запусков воздушных шаров случались и казусы. Об одном из них можно прочитать в реляции князя Барятинского императрице от 11 июля 1784 года. «Сего дни поутру, — сообщал русский дипломат, — в саду Люксамбург два Аббата Физикусы по имени Миолан и Жанине намерены были спустить воздушную машину методою Монгольфье. Его Шведское Величество изволил туда прибыть; и по обыкновению стечение зрителей было многочисленное. Помянутые Аббаты, люди недостаточные, прежде нежели машину сию делать начали, требовали от публики сускрипции (подписки. — *П. Ч.*), а потом для входу в ограду, откуда должна была подняться та машина, давали билеты за плату.

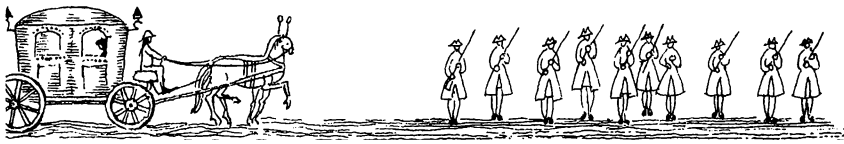
К нещастию сих Аббатов Экспериенция была производима несколько часов без успеху. Наконец совсем не могла иметь действия, и зрители разошлись. Народ был оным недоволен и поступил на дерзость: ворвался в ту ограду и всю ту машину изорвали на мелкие части, и лоскутки сожгли. Помянутые же Аббаты спаслись уходом в свои домы»[29].

Французское техническое изобретение очень скоро стало достоянием всей Европы. В Россию оно пришло с двадцатилетним опозданием, хотя попытки воздухоплавания предпринимались и здесь, причем еще в давние времена. Известно, что в царствование Ивана Грозного «некий смерд Никитка, боярского сына Лупатова холоп» совершил полет при помощи какой-то машины вокруг Александровой слободы, но за это был казнен, а прибор его был сожжен. В 1729 году кузнец Черник-Гроза летал в окрестностях Ряжска на самодельных крыльях. Он «летал так, мало дело ни высоко ни низко, устал и спустился на кровлю церкви, но поп крылья сжег, а его едва не проклял»[30]. В 1731 году в Рязани «при воеводе подъячий Нерехтец Крякутной фурвин сделал, как мяч большой, надул дымом поганым и вонючим, а от него сделал петлю, сел в нее, и нечистая сила подняла его выше березы, и после ударила его о колокольню, но он уцепился за веревку, чем звонят, и остался тако жив. Его выгнали из города, он ушел в Москву, где хотели его закопать живого в землю или сжечь»[31].

Просвещеннейшая государыня императрица Екатерина Алексеевна, хотя и проявила очевидный интерес к первым опытам воздухоплавания, тем не менее отказалась пустить в Россию французского аэронавта Бланшара для проведения показательных полетов. По повелению императрицы французу сообщили «об отложении такового его намерения, ибо здесь отнюдь не занимаются сею или другою подобною аэроманиею, да и всякие опыты оной, яко бесплодные и ненужные, у нас совершенно затруднены»[32].

Первый в России показательный полет на воздушном шаре состоялся уже при императоре Александре I. 20 июня 1803 года французский аэронавт Гарнерен в присутствии всех членов императорской фамилии поднялся в небо Санкт-Петербурга со двора 1-го Кадетского корпуса.

18 июля того же года он повторил полет, на этот раз в компании генерала Львова. А первым самостоятельным русским воздухоплавателем стал штаб-лекарь Кашинский, демонстрировавший полеты в Москве 24 сентября и 1 октября 1805 года.



«Хлестаков» в роли дипкурьера

Работая в тот день в Архиве внешней политики Российской империи с документами по истории русско-французских отношений в XVIII веке, я, признаться, менее всего думал о Николае Васильевиче Гоголе и его литературном «крестнике» — Иване Александровиче Хлестакове. Все мое внимание было сосредоточено на изучении переписки русского посланника во Франции И. М. Симолина с вице-канцлером графом И. А. Остерманом за 1789 год.

Однако неожиданно попавшийся среди прочих бумаг документ под благозвучным названием «канцелярская цидула» на некоторое время отвлек меня от темы исследования, дав лишний раз убедиться в бессмертии Хлестакова как явления русской жизни. Во всяком случае, найденный мною документ неопровержимо свидетельствовал о том, что «Хлестаков» успешно дурачил простодушных провинциальных чиновников еще за сорок семь лет до своего литературного рождения (1836 год) и даже за двадцать лет до рождения самого Николая Васильевича (1809 год). К тому же, если верить документу, в роли простака, снабдившего деньгами авантюриста, выступил не созданный воображением писателя некий дремучий городничий заштатного российского городка, а реально существовавший, весьма просвещенный и многоопытный дипломат, представлявший интересы императрицы Екатерины II в вольном городе Гданьске (Данциге).

Вспомнив о том, кто подсказал Гоголю сюжет «Ревизора», я поймал себя на мысли: а ну как этот документ в свое время попался на глаза коллежскому секретарю (впоследствии титулярному советнику) Александру Сергеевичу Пушкину. Ведь хорошо известно, что по окончании Царскосельского лицея в 1817 году он был причислен к Министерству иностранных дел и посещал некоторое время Московский главный архив МИД Российской империи (нынешний АВПРИ)...

Перед тем как представить читателю сам документ, считаю необходимым сказать несколько слов о русских дипломатических курьерах в XVIII веке, так как именно в таковом качестве выступил безымянный авантюрист, о котором пойдет речь в публикуемой ниже канцелярской цидуле из Колле-

гии иностранных дел, разосланной, кстати, в назидание во все российские посольства в европейских столицах.

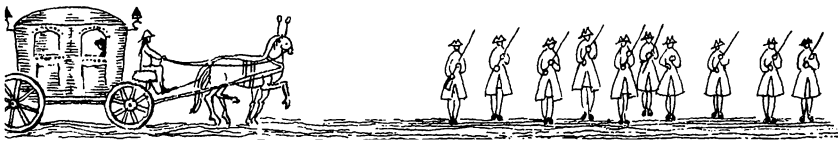
Как правило, доставка дипломатической почты в царствование Елизаветы Петровны и Екатерины II доверялась гвардейским унтер-офицерам из дворянских, в том числе аристократических, семей. По большей части они были лично известны императрице, не говоря уже о вице-канцлере и других руководителях Коллегии иностранных дел. Любопытно отметить, что таковым курьером был в свое время сержант лейб-гвардии Семеновского полка Денис Иванович Фонвизин, будущий знаменитый писатель.

О том, какое значение придавалось службе курьеров, можно судить хотя бы по циркулярному письму вице-канцлера графа И. А. Остермана российскому посланнику во Франции И. М. Симолину от 19 января 1789 года.

«...В предупреждение могущих быть остановок от приключающихся иногда на дороге болезней курьерам, — писал вице-канцлер, — получил я высочайшее повеление предписать Вашему Превосходительству, что если курьер российский, отсюда или от которой либо миссии нашей отправленный, дорогою занеможет и принужден будет остановиться в месте вашего пребывания или поблизости к оному, вы, милостивый государь мой, как скоро о том сведаете, приказали немедленно отобрать порученные ему пакеты, и для доставления их куда следует нарядить от себя нарочного из куриеров или канцелярских служителей при вас находящихся, давая о том мне знать...»

В Коллегии иностранных дел всегда знали, где находится тот или иной курьер и когда его можно ждать обратно с посольскими шифрованными депешами. Все было расписано буквально по дням. Так, например, путь из Санкт-Петербурга до Парижа курьер преодолевал за 10—12 дней, в зависимости от погодных условий. Всем курьерам выдавались точно определенные суммы денег, достаточные для их поездки в оба конца. Казалось бы, существовавший в этом деле строгий порядок сам по себе исключал какие-то недоразумения и тем более злоупотребления. Ан нет!

И вот «Хлестаков» успешно выдал себя за дипломатического курьера...



Обратимся к обнаруженному документу:

Циркулярное
Канцелярская цидула
из Государственной Коллегии иностранных дел
Его Превосходительству Господину Тайному Советнику
Полномочному Министру и Кавалеру
Ивану Матвеевичу Симолину

Посланною из сей Коллегии Циркулярною Канцелярскою Цидулою от 31-го мая 1779 года предписано было всем обретающимся при чужестранных Дворах здешним Министрам и Резидентам, дабы они приезжающих к ним отсюда и из других мест куриерам не делали никаких от себя выдач денег, разве по действительному испытанию востребует того какой-либо непредвиденный чрезвычайный случай, по которому инако в самой службе Ея Императорскаго Величества остановка последовать могла, а чтоб и в сем неожиданном случае Ассигнаций и Векселей на имя Коллегии отнюдь от себя не давали, но по щетам своим ожидали бы отсюда переводу денег, о том предписано было циркулярными цидулами от 16-го февраля 1776-го году, а как ныне получено здесь известие, что некий обманщик подложным письмом Графа Милорадовича, в проезд свой чрез Гданск назвал себя куриером и офицером Российской службы и предъявляя, будто отправлен ко Двору с важнейшими Депешами, но утратил в Дороге пашпорт свой, требовал у находящегося тамо нашего Поверенного в делах на продолжение пути своего денег и нового паспорта, которые и получил, то Коллегия за нужно почитает при уведомлении о сем приключении всех при Иностранных Дворах находящихся Ея Императорскаго Величества поверенных особ вновь подтвердить им вышеозначенные прежние свои предписания, с тем дабы подобным самозванцам, буде бы к ним явились, отнюдь не подавали веры, да и вообще никого из проезжающих под именем куриеров здешних без точных доказательств о истине предъявляемого ими, ни паспортами, ни деньгами не снабдевали.

Секретарь Иван Пряслов

Санкт-Петербург
Октября 28 дня
1789-го года

Такая вот история случилась в мае 1779 года в вольном городе Гданьске.

Русский агент в МИД Франции

Шпионская история времен Французской революции

Шпионство как занятие возникло вместе с государством, став одной из его непременных функций. С развитием и усложнением государственной машины разведка, контрразведка и политический сыск, составляющие суть шпионства, меняли свой облик и организационные формы, но вплоть до последнего времени, когда появились космические, электронные и другие технические средства получения информации, упор в этой деятельности делался на агентуру. Впрочем, не берусь утверждать, что и в век НТР спецслужбы утратили интерес к «человеческому фактору», что убедительно показывают результаты люстрации, проведенной в странах бывшего «социалистического лагеря».

По каким причинам отдельные люди становятся тайными агентами? Следует сразу же оговориться, что речь идет именно о них, а не о профессионалах разведки и сыска. Во все времена, с тех пор как появилось это «хобби», побудительные мотивы были одни и те же — корысть, малодушие, но также и соображения идейного характера, в частности по-своему понятый патриотизм. И все же вряд ли можно усомниться в том, что корысть или малодушие всегда преобладали в действиях лиц, склонных к тайному сотрудничеству с иностранным правительством.

Любопытная закономерность: меркантильный интерес отдельных неустойчивых граждан к чужим правительствам (и их спецслужбам) всегда заметно возрастал в периоды кризисов и потрясений, переживаемых у себя на родине. Можно вспомнить Германию накануне краха нацистского режима или СССР периода распада, когда отдельные чиновники и представители спецслужб (абвера и СД, КГБ и ГРУ) спешили продаться победителям. Об этом же свидетельствует и одна история времен Французской революции 1789 года, следы которой

обнаружились в Архиве внешней политики Российской империи[33].

...Париж, май 1790 года. Бастилия уже пала, но Людовик XVI, изгнанный из уютного Версаля, пока еще на троне. Изобретение доктора Гильотена в ожидании человеческих жертвоприношений втихую проходит испытания на овцах в одном из сараев в квартале Кордельеров, но на уличных фонарях французской столицы уже вешают «врагов народа», в то время как «друзья» того же самого народа витийствуют в Учредительном собрании и в революционных секциях. Впечатление такое, будто с лета 1789 года в Париже никто не работает: идет непрекращающийся митинг с участием всех поголовно горожан. Между тем за год потрясений экономическое и финансовое положение страны резко ухудшилось, что почувствовали на себе даже высокооплачиваемые правительственные чиновники.

Один из них, о котором и пойдет речь в нашем рассказе, решил поправить свои материальные дела, продавая известные ему по службе государственные секреты российскому посольству в Париже.

В погожий майский день 1790 года некий чиновник, служивший в Министерстве иностранных дел Франции, встречается с секретарем посольства Машковым и делает ему предложение. Он готов за умеренную плату регулярно снабжать его конфиденциальной информацией о негласной внешнеполитической деятельности своего правительства, в частности, в Турции и Швеции, с которыми Россия была в то время в состоянии войны.

Особый интерес для дипломатов Екатерины II представляла открывающаяся возможность знакомиться с секретной перепиской французского поверенного в делах в Петербурге Эдмона Шарля Жене с министром иностранных дел Франции графом Арманом-Марком де Монмореном.

Машков поставил в известность о сделанном ему заманчивом предложении тайного советника Ивана Матвеевича Симолина, полномочного министра и посланника императрицы Екатерины II при дворе Людовика XVI. Симолин сразу же в полной мере оценил возможности предложенного сотрудничества и, не дожидаясь высочайшего одобрения, в коем не

сомневался, поручил Машкову наладить постоянный контакт с французским дипломатом.

Уже первые полученные от него сведения оказались столь важными, что Симолин отправил с ними в Петербург самого Машкова, не доверяясь случайностям обычной курьерской почты. При этом он просил вице-канцлера графа И. А. Остермана ходатайствовать перед императрицей о награждении Машкова орденом Св. Владимира за приобретение столь ценного осведомителя в Министерстве иностранных дел Франции. Забегая вперед, можно отметить, что из Петербурга секретарь Машков вернется уже в чине советника посольства.

Итак, обратимся к датированному 4 июня 1790 года донесению, которое Симолин поручил Машкову доставить в Петербург вице-канцлеру Остерману вместе с полученной от французского агента информацией. В донесении достаточно подробно излагается суть дела. Читаем:

«...Неожиданная и крайняя нужда заставила одного чиновника Департамента иностранных дел Франции предложить мне через посредство г. Машкова свои услуги и засвидетельствовать полную преданность нашему Двору. Я счел полезным и даже совершенно необходимым в интересах Императрицы не упустить такой благоприятный для нас случай заручиться надежным источником информации. Вышеуказанный чиновник начал с того, что доставил мне шифр, употребляемый г. Жене при его переписке с графом де Монмореном, и шифр последнего для переписки его с вышеупомянутым поверенным в делах, — эти шифры совершенно различны. Затем он доставил шифр, служивший для общей переписки королевских министров при иностранных дворах, которым они пользовались еще в прошлом году, причем он не уверен, что шифр не был изменен с тех пор; затем копии нескольких депеш из Константинополя и ответа г. де Монморена... оригиналы которых проходили через мои руки. Шифр так сложен, что без особой инструкции невозможно им пользоваться. Г-н Машков постарался его изучить под руководством упомянутого чиновника. Это обстоятельство вместе с другим, которое я не хотел бы доверить бумаге, побудило меня без всяких колебаний предложить г. Машкову отправиться в отпуск в С.-Петербург по се-

мейным обстоятельствам, отвезти как шифр, который, ввиду его сложности, очень объемист, так и настоящую депешу и передать их Вашему Сиятельству, а также лично сообщить Вам о тех обстоятельствах, которые я не хочу и не могу изложить письменно, ввиду того, что судьба человека, решившегося посвятить себя службе нам, зависит от тайны, которая должна остаться сокровенной.

Я, без сомнения, желал бы иметь предварительно распоряжение Вашего Сиятельства относительно требующегося для этой цели расхода, но я вынужден был решиться произвести его, ибо все зависело от момента, и если бы я его упустил, то другой едва ли бы представился. Я надеюсь, что Ее Императорское Величество и Ваше Сиятельство не откажете в одобрении этого решения, которое я принял по собственному почину, предварив ответ своего начальства.

Чиновник, о котором идет речь, потребовал от меня десять тысяч ливров наличными, нужных ему для выхода из затруднительного положения, от чего зависела судьба его семьи.

Мне казалось, что я не должен был колебаться еще и потому, что эта сумма не может идти в сравнение с той важной услугой, которую он оказывает нашему Двору, и той опасностью, которой он себя подвергает, если когда-нибудь будет уличен. Ограничиваясь такой умеренной суммой, он надеется на щедрое вознаграждение в будущем, и притом сообразно важности сообщений, которые он будет мне делать. Я сделал все, что мог, чтобы укрепить в нем эту надежду, уверив его, что нет Государя, который вознаграждал бы с такой щедростью, как Императрица, за оказываемые Ей полезные услуги, и что я, со своей стороны, с готовностью сделаю для этого все зависящее от меня.

Чтобы еще больше обеспечить себя в отношении его, я заставил его выдать мне вексель на предъявителя на авансируемую ему сумму, сроком на три месяца, из которых один месяц уже истек.

Не располагая здесь никакими фондами и не осмеливаясь выписать вексель на имя Вашего Сиятельства, чтобы добыть сумму в десять тысяч ливров, я не имел другого выхода, как только заложить часть моей посуды в ломбарде, где берут 10 процентов. Я выдал более трех тысяч ливров г. Машкову на его путевые издержки...

Я осмеливаюсь настоятельнейше просить Ваше Сиятельство не медлить с пересылкой мне суммы в тринадцать тысяч ливров для покрытия моих расходов...

И еще одной милости прошу я у Вашего Сиятельства: соблаговолите вернуть ко мне г. Машкова возможно скорее, ввиду неотложной необходимости поддерживать сношения с нашим осведомителем, что во время его отсутствия будет очень затруднительно, как за невозможностью иметь другого посредника, так и по причинам, которые будут объяснены лично Вашему Сиятельству...

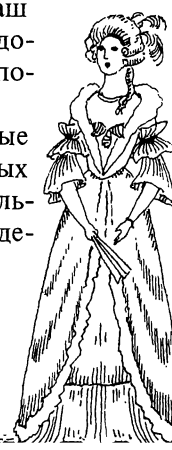
В уверенности, что Ваше Сиятельство соблаговолит получить от Императрицы всемилостивейшее одобрение моего поведения, мне остается лишь просить Ваше Сиятельство сохранить свое благоволение ко мне и быть уверенным, что ничто не может сравниться с той почтительностью и непоколебимой преданностию, с которыми я имею честь быть, Милостивый государь, Вашего Сиятельства нижайшим и покорнейшим слугою

И. Симолин».

В Петербурге одобрили инициативу Симолина по приобретению ценного агента в Министерстве иностранных дел Франции. Императрица соблаговолила утвердить единовременный гонорар шпиону в 10000 ливров и ежемесячный — в размере 1000 ливров. Необходимые суммы немедленно были перечислены на счет российского посланника в Париже, что позволило ему выкупить из ломбарда заложенные там серебро и фарфор.

Так было положено начало тайному сотрудничеству русского посольства с чиновником из французского дипломатического ведомства, имя которого ни разу не названо даже в шифрованной переписке. Симолин слишком ценил услуги своего осведомителя, чтобы доверить его имя бумаге. «Наш канал» или «конфидент» — только так называл он агента в донесениях в Петербург на протяжении двух с лишним лет, пока продолжалось это интенсивное сотрудничество.

Агент регулярно передавал Симолину шифры и секретные документы, относящиеся к переписке министра иностранных дел с французскими послами в Константинополе, Стокгольме, Копенгагене, Варшаве и, конечно же, с поверенным в делах в Петербурге.



Благодаря его содействию Екатерина II и ее министры были в курсе закулисной деятельности французского поверенного в Петербурге Жене, который, будучи озабочен возможностью присоединения России к создаваемой антифранцузской коалиции европейских держав, желал выяснить намерения императрицы в этом направлении, а заодно пытался даже заниматься революционной пропагандой среди гвардейских офицеров столичного гарнизона. «Наш канал информирует меня, — с тревогой писал Симолин 10 октября 1791 года в шифрованном донесении вице-канцлеру Остерману, — что г-н Жене в своем предпоследнем письме сообщал о крайней сложности в распространении идей их святой революции в России, но что ему тем не менее уже удалось обольстить многих офицеров гвардии...»

А в другом донесении из Парижа, датированном 12 декабря 1791 года, русский посланник, ссылаясь все на того же «конфидента», ознакомившегося с последними депешами Жене, предупреждает свое правительство, что французский поверенный «создал в Петербурге партию Друзей Человечества и что он нашел здесь значительное число достаточно твердых людей, способных остановить Императрицу в ее планах» (имеется в виду возможная военная интервенция России против революционной Франции. — *П. Ч.*).

Разумеется, подобная информация не оставалась без внимания Екатерины II, приказавшей изолировать Жене от нежелательных контактов и перлюстрировать всю его корреспонденцию. После неудачного вареннского бегства Людовика XVI за пределы Франции (июнь 1791 года), когда король и его семья стали фактическими заложниками «жакобинов», русская самодержица начала склоняться к мысли о разрыве дипломатических отношений с революционной Францией. Она укрепилась в этом намерении после подписания королем 13 сентября 1791 года навязанной ему конституции. Первым шагом на пути к разрыву стал отзыв из Парижа в начале февраля 1792 года полномочного министра.

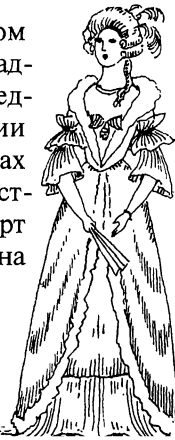
Перед отъездом в Брюссель, где ему высочайше было велено обосноваться до получения дополнительных указаний, И. М. Симолин, сдавая дела советнику посольства М. С. Новикову, передал ему и канал связи со своим тайным агентом в МИД Франции.

«...Имею честь сообщить Вашему Сиятельству, — писал Симолин 30 января 1792 года в донесении Остерману, — что я убедил нашего конфидента войти в сношения с г. Новиковым и что они познакомились третьего дня утром. Однако я условился с ним, что возьму с собой шифр, который он составил для нашей переписки, и что мы непосредственно возобновим ее в случае, если произойдет окончательный разрыв с нашей миссией. Письма мне будут доставляться без адреса, через посредников, следов которых нельзя будет обнаружить, и так же будет поступлено с письмами, которые я при случае буду ему писать, но, пожалуй, без этого можно будет обойтись.

Я предупредил г. Новикова, что назначенное конфиденту вознаграждение по тысяче ливров в месяц ему выдано вперед по 1 сентября текущего года и что 9 тысяч ливров, которые я ему выдал, я заимствовал из сорока тысяч, находившихся у меня на хранении...»

Тем временем агент продолжал поставлять важную информацию, ежемесячно получая причитавшиеся ему 1000 ливров. Так, в середине февраля 1792 года он сообщил Новикову содержание трех последних донесений Жене. «В первом из этих донесений, — поспешил передать в Петербург российский поверенный в делах, — Жене говорит о мерах, которые он принял для подкупа одного лица в Адмиралтействе с целью получить сведения о военных приготовлениях против Франции. Он (Жене. — *П. Ч.*) говорит, что вынужден был заплатить за это несколько тысяч рублей. Во втором донесении, — продолжал Новиков, — Жене приводит сведения о русских вооружениях, которые могли бы быть направлены против Франции. Он советует принять меры к укреплению обороны берегов Нормандии». Из этой информации со всей неопровержимостью следует, что корыстолюбие не было исключительной привилегией одних только французских чиновников...

Новиков переправил в Петербург переданные ему агентом копии инструктивных писем министра иностранных дел, адресованные Жене и другим французским зарубежным представителям. А 6 апреля 1792 года в шифрованном донесении вице-канцлеру Остерману российский поверенный в делах писал: «Я узнал, что г-н Жене сообщил, что ему стало известно, будто комендант Гавра de Grace обещал допустить в порт русский и шведский флоты. Эта информация была доведена



до сведения Дипломатического комитета Национального собрания...»

Объявление Францией войны Австрии и Пруссии в апреле 1792 года дало удобный повод Екатерине II, союзнице австрийского императора Франца, избавиться наконец от ненавистного Жене, которого буквально выпроводили из Петербурга. Одновременно высочайший приказ выехать из Парижа получил и российский поверенный в делах М. С. Новиков.

Сразу же по прибытии в Брюссель он отправил донесение вице-канцлеру с приложением копий шести секретных документов, полученных им от «конфидента» накануне отъезда. Из этого донесения (13 июня 1792 года) мы узнаем и о судьбе оставленного в Париже агента, на которого русская дипломатия все еще продолжала рассчитывать. Читаем:

«Сиятельнейший граф, Милостивый государь,

За несколько дней пред отъездом моим из Парижа видел я известного конфидента, и объявил ему побудительные причины, для коих я оставил Францию, уверяя его о Высочайшей Ее Императорского Величества щедроте, когда он с равным и непрерывным усердием потщится оказывать услуги свои. Он изъявлял благодарность свою в самых наичувствительнейших изражениях.

Он заплачен Иваном Матвеевичем Симолиным за восемь месяцев сего года, да по приказанию его, выдал я ему и за остальные сего же года четыре месяца, то есть четыре тысячи ливров, в коих я с него взял и расписку, хранящуюся в моих руках.

Господин Дюмурье (новый министр иностранных дел, назначенный 17 марта 1792 года. — *П. Ч.*), вступя в министерство, отрешил всех коми (старших чиновников. — *П. Ч.*) Департамента иностранных дел, на места коих посадил он креатур своих. В числе первых отрешен и означенный конфидент, однакож он имеет не только связь с некоторыми из новых коми, но и надеется при перемене министра вступить паки в тот Департамент. Между тем представляет он готовность свою, если бы угодно было употребить его для нужных приготовлений в Нормандии в случае прибытия туда флота Российского. Сказывает, что он уроженец из той земли и знает расположение тамошнего дворянства, кое, по словам его, будет охотно способствовать благонамеренным Ее Императорского Вели-

чества мыслям, что в протчем за счастие себе поставит посвятить жизнь свою в повелениях Ее Императорского Величества, о чем усильно просил он меня донесть.

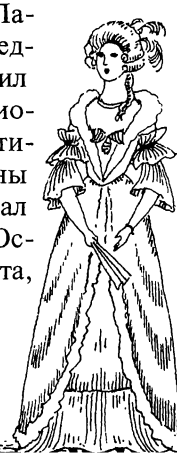
При том намекнул он, что, претерпев в нынешних обстоятельствах большую потерю, ласкается надеждою получить пособие от щедроты Ее Величества. На сие сказал я ему, что он может быть обнадежен.

Всячески старался он уговорить меня выдать ему еще за несколько месяцев на будущий год, но я дал почувствовать, что, выдав сам собою за четыре остальные сего года месяцы, не в состоянии более сделать.

Отказ мой не охладил однакож в нем желания продолжать услуги и передавать время от времени Ивану Матвеевичу (Симолину. — *П. Ч.*) все заслуживающее примечания. Я уверял его, что он не останется без награждения, и может в том быть спокоен.

Должностию поставляю отдать отчет оставленным Иваном Матвеевичем у меня 23 157 ливрам 9 су и 9 денье, из них выдал я по приказанию Ивана Матвеевича реченному конфиденту с сентября месяца по 1-ое число будущего генваря 4000 ливров, да из них же вынул я на дорожные мои издержки 5000 ливров, которые по настоящему не составляют четырехсот червонцев, пожалованных мне, но довольно однакож на мой проезд и из коих еще уделил я переводчику Дубровскому 850 ливров на уплату его долгов...»

Сотрудничество с тайным агентом продолжалось еще в течение трех месяцев со времени отъезда из Парижа М. С. Новикова. За это время информатору, сохранившему связи со своими коллегами в МИД, удалось каким-то образом заполучить (быть может, ему пришлось делиться с кем-то из них частью своего шпионского гонорара) целый ряд секретных документов. Интересны были и его сообщения о положении в Париже, откуда по высочайшему повелению выехали последние русские дипломаты. Так, в июле 1792 года агент сообщил о неудачной попытке бывшего главнокомандующего Национальной гвардии генерала Лафайета спасти короля и конституционную монархию от надвигавшейся угрозы со стороны жирондистов и якобинцев. «Наш секретный канал, — писал Симолин 16 августа 1792 года из Брюсселя вице-канцлеру Остерману, — говорит о появлении в Париже г-на де Ла Файета,



о его встрече с Королем, которому он предложил помощь своей армии в восстановлении новой Конституции, основу которой составляют две палаты, но что Король отклонил этот план. Корреспондент утверждает, что речь идет о новом плане бегства Королевской семьи. По этому плану Король должен был бы отправиться в Руан, и через Остенде прибыть в Брюссель».

Слухи о готовящемся якобы бегстве Людовика XVI распространились по Парижу, став одной из причин нападения толпы 20 июня на королевскую резиденцию Тюильри. А 10 августа 1792 года в результате восстания, организованного Парижской коммуной, монархия во Франции была ликвидирована. 21 сентября того же года Конвент провозгласил в стране республиканскую форму правления. Одновременно по столице прокатилась первая волна революционного террора, жертвами которой стали более 1300 беззащитных политических узников парижских тюрем. Они были убиты прямо в своих камерах.

Все, кто имел основания опасаться за свою судьбу и у кого была такая возможность, поспешили покинуть охваченную безумием родину. Среди них оказался и тайный осведомитель российского посольства. 28 сентября он объявился в Брюсселе и дал о себе знать И. М. Симолину письмом, в котором просил выдать ему 50 луидоров для того, чтобы иметь возможность отправиться в формируемую графом д'Артуа и принцем Конде армию французских роялистов-эмигрантов. Характерно, что это письмо, как и все предыдущие, не подписано автором. По всей видимости, он все еще не чувствовал себя в полной безопасности даже в Брюсселе, а может быть, по понятным причинам желал навсегда сохранить инкогнито.

8 октября 1792 года Симолин направил вице-канцлеру Остерману депешу, в которой среди прочего сообщал: «Секретный канал, который служил нам в Париже, нашел способ избежать кандалов убийц и дал мне знать о себе письмом, которое я беру на себя смелость приложить к моей депеше... Не имея средств для того, чтобы отправиться в армию графа д'Артуа, он просит меня снабдить его на дорогу 50 луидорами. Я уменьшил эту сумму до 25 луидоров, достаточных для его путешествия. Смею надеяться, что Императрица соблаговолит одобрить предоставление ему этой суммы, соответствующей 900 ливрам в ассигнатах, переданной как свидетельство

Ее благорасположения... Канал выразил готовность, как только положение вещей изменится, на что он искренне надеется, продолжить оказывать услуги нашему Двору», — многозначительно заключал свое донесение Симолин.

На этом, собственно, и заканчивается банальная шпионская история времен Французской революции. Какова дальнейшая судьба русского тайного агента — не известно. Известно другое — он не был единственным источником конфиденциальной информации, получаемой из революционной Франции. Эта информация, как свидетельствуют архивные документы, поступала в Петербург и по другим каналам , по крайней мере до 1795 года. Да и в последующие времена в тайных иностранных (в том числе французских) осведомителях у Третьего отделения Собственной Его Величества Канцелярии недостатка никогда не было.

Возбудился принципами

Известие о событиях 14 июля 1789 года в Париже крайне встревожило императрицу Екатерину II, с самого начала усмотревшую в них вызов старому порядку не только во Франции, но и во всей Европе. Давая прощальную аудиенцию милому ее сердцу графу де Сегюру, французскому посланнику в Петербурге, покидавшему Россию 11 октября 1789 года, императрица сказала ему: «Вы едете навстречу грозе, о силе которой и не подозреваете. Я знаю вашу склонность к философии и свободе, и она толкнет вас на сторону народа. Это меня очень огорчает, потому что я останусь аристократкой. Таков мой долг»[34].

Вскоре до императрицы стали доходить слухи, что некоторые из ее подданных, находившиеся в это время во Франции, не только с сочувствием отнеслись к революции, но и будто бы примкнули к тем, кого Екатерина называла «каналиями», «ослами» и «маркизами Пугачевыми», то есть к французским революционерам. Ей рассказывали, что кто-то из русских даже вступил в Национальную гвардию генерала Лафайета. «Я могу с уверенностью заявить, — писал из Парижа 14 мая 1790 года российский посланник Иван Матвеевич Симолин, — что

пребывание во Франции становится очень опасным для молодых людей других национальностей, ум которых возбуждается принципами, способными принести им лишь несчастье при возвращении на родину»[35].

Все это побудило императрицу распорядиться, чтобы был составлен полный список русских подданных, оказавшихся во Франции, с характеристикой поведения каждого их них, чем и занялся И. М. Симолин.

Слухи об участии русских в революционных событиях в Париже оказались сильно преувеличенными. Подтвердился только один факт: 17-летний граф Павел Александрович Строганов, будущий сподвижник императора Александра I, побуждаемый своим воспитателем Жильбером Роммом, вступил в Якобинский клуб под именем гражданина Очера. Все другие сообщения оказались ложными. Тем не менее в июне 1790 года Екатерина II повелела всем своим подданным немедленно вернуться на родину, дабы не подвергаться во Франции опасным искушениям. Высочайшее повеление было исполнено, хотя и впоследствии на территории Франции оказывались (в основном — проездом) отдельные русские люди, не принимавшие, впрочем, участия в революционных событиях.

Так, в феврале 1792 года к поверенному в делах России в Париже М. С. Новикову явились с повинной два беглых солдата — Яков Страхов и Ефим Петров, дезертировавшие из армии во время русско-шведской войны 1788–1790 годов. Поколесив по Европе, они очутились во Франции в то самое время, когда там случилась революция. По их обоюдному признанию, революция им не понравилась, и они запросились домой, уповая на милость матушки-царицы, в чем раскаявшимся беглецам великодушно не было отказано[36].

Но если у русских солдат-дезертиров революция во Франции не вызвала никаких симпатий, то весьма своеобразного поборника она нашла в лице священника посольской церкви в Париже иерея Павла Криницкого, о чем свидетельствуют донесения графа Ивана Матвеевича Симолина вице-канцлеру графу Ивану Андреевичу Остерману. Эти донесения рисуют весьма отталкивающий образ самодура, ум которого, перефразируя Симолина, «возбудился принципами» Декларации прав, где иерей сумел усмотреть оправдание творимым им бесчинствам. Есть смысл привести полностью текст одного тако-

го донесения И. М. Симолина, из которого становится понятным существо «дела» о. Павла Криницкого[37].

В Государственную Коллегию Иностранных дел
Доношение

Находящийся здесь, при Российской посольской церкви Священник Павел Криницкий, со времени своего приезда, ведя себя самым порочным и соблазнительным образом, многократно побуждал как моего предшественнника Князя Ивана Сергеевича Барятинского, так и меня, выговаривать ему то словесно, то письменно, а иногда и стращать донесением его бесчестного поведения в Государственную Коллегию Иностранных дел, что часто хорошее действие производило. Со времени же здешней Революции Право Человека, вступив ему в голову, закружило его до такой степени, что он более ни приходить ко мне на требования по Церковным делам, ни повиноваться не хочет. На возражения же мои отвечает, что он позовет меня к суду в здешний дистрикт.

Такое самовольное поведение почел бы я за глупость, если бы оно касалося одного меня, и имело бы когда-нибудь конец. Но как оно со дня на день сильнее становится и трогает многих, особливо учащающих церковь, из коих Княгине Наталье Петровне Голицыной отказал прийти по долгу Христианскому; переводчику Петру Дубровскому многажды без всякого права и причины запирал ворота; живописца Пискорского остpамил в Церкве самым непристойным образом и в присутствии людей. На другого, так же молодого человека, учащегося в здешнем Университете, напал на улице с палкою, и если б сей последний не поступил с ним великодушным образом, попал бы он, Священник, в здешнюю тюрьму. Церковнику Чернявскому, как можно усмотреть из прилагаемой при сем от него жалобы, не перестает делать самые страмные нападения, говоря, что он, будучи в Покровительстве Преосвященного Митрополита Санкт-Петербургского, не боится никого, и имеет совершенную над ним власть.

Чего для прошу покорнейше Государственную Коллегию Иностранных дел все сии безчинства того Священника в Святейший Правительствующий Синод с требованием, дабы, опасаясь чего горшего от сего Самовола, соблаговолено было его

от сего поста отозвать, а на то место определить для Христианских душ находящихся здесь Нашего исповедания Россиян и Греков, другого Человека скромного и постоянного, который бы во всем поступал сходственно своему сану, прилично важности веры и в честь Отечества; с церковниками же своими не буянил.

В Париже
23го июля/3 августа 1791го года
И. Симолин.

К «доношению» И. М. Симолина была приложена жалоба дьякона посольской церкви Зиновия Чернявского, подвергавшегося особенным издевательствам со стороны самодура-иерея. Дьякон был старожилом русской колонии в Париже. Он исправно служил в храме в течение тридцати трех лет — с 1759 года, пережив нескольких настоятелей, семь посланников и поверенных в делах.

И лишь с приездом в Париж в 1783 году о. Павла Криницкого спокойная жизнь о. Зиновия, да и всей церковной общины, сменилась раздорами и конфликтами, виновником которых, по общему мнению, был новый священник. Еще прежний посланник, князь И. С. Барятинский, пытался урезонить о. Павла, но в 1785 году он был отозван в Петербург, а сменивший Барятинского И. М. Симолин, будучи лютеранином, старался не вмешиваться в дела православного прихода.

Лишь после 14 июля 1789 гогда, когда о. Павел, по-своему интерпретировавший Декларацию прав человека и гражданина, стал в буквальном смысле общественно опасен, тайный советник Симолин обратился в Иностранную коллегию с просьбой убрать из Парижа разбушевавшегося иерея; от его издевательств пострадала даже беременная дьяконица-француженка, у которой случились преждевременные роды. «Смею еще раз разорвать свое молчание, — писал дьякон Симолину по этому поводу, — прося Вас, Милостивейший Государь, сжалиться над моею старостию и слезами жены моей, которую поносил он (о. Павел. — *П. Ч.*) публично самыми безчестными и непристойными словами...»[38]

Последующее развитие событий показало, что в Коллегии иностранных дел (или в Святейшем Синоде?) не посчитали в тот момент нужным заменять священника посольской церк-

ви. Дело в том, что и само посольство, и все его члены, включая священнослужителей, в скором времени должны были покинуть Париж, так как Екатерина II после неудачного бегства Людовика XVI и его семьи в июне 1791 года приняла решение свернуть дипломатические отношения с Францией. В феврале 1792 года она отозвала оттуда своего посланника И. М. Симолина, а в июне 1792 года — и поверенного в делах М. С. Новикова.

После отъезда из Парижа русских дипломатов священнослужители посольской церкви некоторое время оставались там одни, готовясь к возвращению в Россию. Отец иерей окончательно распоясался. Он нередко избивал несчастного дьякона прямо в храме, не допускал его к службе, не выдавал положенных денег на оплату жилья. «Я не боюсь никого, — бахвалился поборник прав человека, — я сам министр в моем доме»[39]. Когда же о. Зиновий обратился к о. Павлу с просьбой выдать ему оставленные посланником средства для проезда на родину, иерей злорадно ответил: «Денег я тебе не дам... ты взял себе покровителем Симолина, а пойди же теперь бегай за ним, или пусть он тебе заплатит с своего карману»[40].

В августе 1792 года, оставив дьякона без средств к существованию, о. Павел Криницкий выехал из Парижа и прибыл в Брюссель, где в это время находился И. М. Симолин, следивший из Бельгии по поручению императрицы за развитием событий во Франции. Там иерей обратился к Симолину с просьбой о выделении ему с семьей дополнительной суммы на проезд в Россию. «Смею приметить Вашему Сиятельству, — просил недавний вольнодумец, — что в рассуждении моих маленьких детей я не мог ехать морем, а должен пуститься в путь сухим путем с Брюсселя. Вашему Сиятельству небезызвестно, что положенные деньги на проезд для сухого пути не могут быть довольны, но я полагаюсь на милость Всемилостивейшей Монархини, которую тем скорее могу одержать, чем скорее Ваше Сиятельство примете на себя труд о сем доложить общей нашей Матери. Сиятельнейший граф! — униженно завершал он свое прошение. — Не оставьте оказать сие человеколюбие тому, который вечно вас благодарить не престанет, за честь оставляя себя Вашего Сиятельства Милостивого Государя всепреданнейшим слугою»[41].

Симолин не стал беспокоить государыню по таким пустякам, ограничившись донесением вице-канцлеру И. А. Остер-

ману, которому он писал относительно просьбы о. Павла: «Мне безразлично, поедет ли он сухим путем, если у него есть средства»[42]. Никаких дополнительных денег Павел Криницкий не получил и вынужден был отправиться в Россию морем. Его дальнейшая судьба неизвестна.

Наверное, следы Криницкого можно было бы отыскать в синодальных архивах. Не исключено, что иерея спас от неприятностей его высокий покровитель, на которого он любил ссылаться. Так или иначе, имя Павла Криницкого не значится в одном ряду с именами Александра Радищева, Николая Новикова, Федора Кречетова и других русских вольнодумцев, «разбуженных» Французской революцией.

Ну а что же «излюбленная» жертва самодура Криницкого?

С большими трудностями Зиновию Чернявскому с семьей осенью 1792 года удалось вырваться из Парижа и добраться до Брюсселя, где его свалила болезнь. Граф Симолин не оставил дьякона своим попечением, снабдил деньгами на дорогу и даже проявил заботу о его будущем. В письме вице-канцлеру Остерману он писал 12 мая 1793 года: «Находившийся при Российской церкви в Париже дьячок Зиновий, который по причине жестокой болезни принужден был препроводить здесь прошедшую осень, едет теперь в Амстердам, дабы отправиться оттуда на первом корабле в Санкт-Петербург; почему я вручил ему сие письмо, приемлю смелость препоручить его с женою, которая родом француженка, под высокое покровительство и благоволение Вашего Сиятельства. Двадцатилетняя его отлучка из России сделала его чужестранным в своем отечестве, где он никого не знает, а сие тем более побудит его прибегать к вашим милостям, коих всепокорно прошу Вас не лишить его. Желания сего дьячка будут исполнены, ежели откроется случай для помещения его при каком ни есть министерском посте (при посольстве. — *П. Ч.*), и если угодно будет Вашему Сиятельству доставить ему Ваше вспоможение, то Вы учините его счастливым»[43].

Предсказанное убийство Павла I

Обстоятельства насильственной смерти императора Павла I в ночь с 11 на 12 марта 1801 года достаточно хорошо известны, как известны организаторы и непосредствен-

ные участники цареубийства. Известно и то, что дворцовый переворот в пользу великого князя Александра Павловича не был большой неожиданностью, во всяком случае, для столичной гвардии и петербургского высшего света, с самого начала невзлюбивших Павла I. Но вот предсказаний столь печальной судьбы нелюбимого сына Екатерины Великой, да еще сделанных почти за десять лет до мартовского убийства 1801 года, мне прежде не встречалось.

А именно такое предвидение я нашел в дипломатическом архиве на Кэ д' Орсэ, в Париже, при изучении переписки посольства Франции в России с французским Министерством иностранных дел за 1789–1792 годы. Среди прочих бумаг мне попался весьма любопытный документ, относящийся к сентябрю 1791 года. В нем буквально предсказана трагическая судьба тогда еще наследника русского престола, великого князя Павла Петровича.

До воцарения Павла оставалось более пяти лет, а до его убийства в марте 1801 года — почти десять. Между тем нашелся человек, уже тогда, в 1791 году, предвидевший незавидную участь будущего императора всея Руси.

Автором такого, как бы мы сейчас сказали, политического прогноза выступил поверенный в делах Франции при дворе Екатерины II месье Эдмон Жене, а первым, если не единственным, человеком, ознакомившимся с этим прогнозом, был Арман-Марк граф де Монморен, министр иностранных дел Людовика XVI.

Несколько слов об Эдмоне Жене. Он заступил на место поверенного в делах после отъезда из Петербурга в октябре 1789 года французского посланника, графа Луи-Филиппа де Сегюра. Насколько императрица Екатерина отличала последнего (она даже предлагала Сегюру остаться в России в качестве ее личного гостя), настолько же она не жаловала первого. В ее глазах именно простолюдины, вроде Жене, были повинны в событиях 14 июля 1789 года в Париже. Незавидное положение Жене в Санкт-Петербурге не спасал даже тот факт, что он приходился родным братом госпоже Кампан, первой камеристке королевы Марии-Антуанетты.

После отъезда милого ее сердцу графа де Сегюра императрица откровенно третировала Жене: она не принимала его и не приглашала на дворцовые празднества; придворные и ми-

нистры следовали примеру своей государыни. В депешах, которые Жене отправлял в Париж, можно встретить его частые сетования на невнимание к нему со стороны официального Петербурга. По мере развития революции во Франции это невнимание сменялось вызывающим отторжением и изоляцией французского дипломата, за которым была установлена слежка. Его корреспонденция перлюстрировалась русскими властями. Жене оставалось уповать лишь на надежность шифра.

В этих условиях можно только удивляться той стойкости, которую проявлял Жене при исполнении своих служебных обязанностей. А ведь от него в Париже ждали полной и достоверной информации о положении в России и настроениях петербургского двора, прежде всего по отношению к Франции. Жене делал все, что мог, и, как мы увидим, обнаруживал не только осведомленность, но и прозорливость. Итак, обратимся к сбывшемуся, как окажется впоследствии, пророчеству французского дипломата относительно судьбы Павла Петровича.

16 сентября 1791 года Жене составил и отдал зашифровать очередную депешу, адресованную министру иностранных дел графу де Монморену[44]. В ней речь шла о формировании в Европе антифранцузской коалиции, поставившей целью подавление революции во Франции («Деспотизм против Свободы», как писал Жене). Поверенный в делах информировал министра и о возможной позиции Екатерины II в связи с созданием этой враждебной Франции коалиции. Отдельно в шифрованной депеше говорилось о великокняжеском («молодом») дворе и о самом наследнике престола Павле Петровиче.

«...До сих пор, — пишет Жене графу Монморену, — я не считал необходимым уведомлять Вас, Месье, о положении при дворе Великого Князя; такого рода детали не имели большого значения, но теперь с каждым днем они становятся все более важными, и я не имею права обходить их молчанием.

Этот Принц (Павел Петрович. — *П. Ч.*) во всех отношениях идет по следам своего несчастного отца, и хотя Великая Княгиня (Мария Федоровна. — *П. Ч.*) соединяет в себе все добродетели, тем не менее однажды он подвергнется той же участи, которая постигла Петра III.

Он открыто живет с одной из ее фрейлин, мадемуазель Нелидовой, самой некрасивой и самой сварливой из всех своих

пассий. Он угрюм, необщителен и подозрителен, он никому не доверяет; придворные ненавидят его; военных, находящихся под его командованием, он отвращает от службы своей мелочной придирчивостью; гвардейцы его не любят, и нет сомнений в том, что с того самого момента, когда он взойдет на трон, бесчисленные потрясения подвергнут этот трон тяжелым испытаниям, из которых с честью вышла Екатерина II».

К приведенной выдержке из донесения Эдмона Жене можно добавить несколько замечаний.

Пробудившийся интерес французского дипломата к личности великого князя Павла Петровича, который прежде не пользовался его особым вниманием, скорее всего, был вызван дошедшими до Жене слухами об ухудшении здоровья императрицы и очередной размолвке между матерью и сыном. Жене знал и о растущей оппозиционности «молодого двора» к политике и окружению Екатерины.

Параллель между Павлом Петровичем и Петром III, которую проводит Жене, прослеживается и в их частной жизни, на что намекает французский дипломат, говоря о добродетелях супруги великого князя. Известно, что Петр откровенно третировал свою жену (будущую императрицу Екатерину II), отдавая предпочтение фрейлине Елизавете Воронцовой, на которой думал даже жениться, удалив в монастырь Екатерину.

Трудно сказать, знал ли Жене о той характеристике, которую в свое время дал фаворитке Петра III тогдашний французский посланник в Санкт-Петербурге барон де Бретейль, но отзывы двух дипломатов о пассиях отца и сына удивительно сходны. «Нужно признать, — с иронией отмечал в донесении своему двору 11 января 1762 года барон де Бретейль, знавший толк в женщинах, — что у императора весьма странный вкус... Она (Елизавета Воронцова. — *П. Ч.*) глупа, а что касается ее внешности, то трудно себе представить что-то худшее. Во всех отношениях она напоминает низкопробную трактирную служанку»[45].

Подчеркивая ангельские достоинства великой княгини Марии Федоровны, Жене, спустя тридцать лет, явно намекает на то, что супруга великого князя могла бы последовать примеру своей свекрови, свергнувшей недостойного мужа с престола в тот самый момент, когда он намеревался развестись с ней и сочетаться узами брака с Елизаветой Воронцовой.

Роман великого князя Павла Петровича с тридцатилетней старой девой — фрейлиной его супруги «мадемуазель Нелидовой», о которой говорит Жене, — начался между 1786 и 1788 годом. Екатерина Ивановна Нелидова пришла на смену графине Бенкендорф, которую впечатлительный Павел оставил ради новой пассии. Ко времени написания Жене цитированной депеши фавор Нелидовой достиг апогея. Екатерина Ивановна приобрела огромное влияние на великого князя. Злые языки утверждали даже, что она нередко запускала туфлей в своего обожателя, если он ее чем-то огорчал. Фавор Е. И. Нелидовой продолжался до середины 1798 года, когда преждевременно состарившаяся сорокалетняя фаворитка уступила место юной красавице Анне Петровне Лопухиной (в замужестве — княгиня Гагарина).

Екатерина Ивановна Нелидова оказалась долгожительницей, пережив всех своих друзей и недругов (в том числе и счастливую соперницу, умершую в 1805 году). Нелидова умерла в 1839 году в возрасте восьмидесяти лет в Смольном монастыре, где провела долгие годы.

Фавор Нелидовой имел своеобразное продолжение в истории петербургского двора: внучатая племянница покойной Екатерины Ивановны — Варвара Аркадьевна Нелидова скрасила последние годы жизни императору Николаю I.

Дальнейшая судьба Павла I не нуждается в комментарии. Месье Жене оказался провидцем. Остается сказать о нем самом.

Он продержался в Петербурге до июля 1792 года, когда Екатерина II решила наконец разорвать дипломатические отношения с революционной Францией и выслала Жене за пределы Российской империи. За три дня до отъезда из Петербурга французский дипломат в предпоследнем своем донесении в Париж от 24 июля 1792 года возвращается к вопросу о том, что ждет Россию после Екатерины II: «...С некоторых пор здоровье Императрицы внушает серьезные опасения; говорят о признаках нарушения функций и водянке. Царствование Великого Князя (Павла Петровича. — *П. Ч.*) обещает быть слабым и беспокойным. Великая Княгиня (Мария Федоровна. — *П. Ч.*) — добросердечная женщина, но она слабохарактерна. Ее старший сын (Александр Павлович. — *П. Ч.*) отличается мягкостью и чистотой чувств, но ему явно не хватает силы духа.

Все это дает основание предположить, что вместе с Екатериной II завершится и блестящий период в истории России»[46].

...До смерти Екатерины Великой оставалось четыре года и три месяца. До падения монархии во Франции и ареста королевской семьи — всего семнадцать дней. А 2 сентября 1792 года в одной из парижских тюрем будет зверски убит бывший министр иностранных дел граф де Монморен, которому Жене адресовал свои депеши из Санкт-Петербурга.

Ушер Жолквер — неизвестный герой 1812 года

1 ноября 1824 года начальник Главного штаба Его Императорского Величества генерал от инфантерии Иван Иванович Дибич среди прочих бумаг составил в Царском Селе два документа — письмо и предписание.

Письмо было адресовано генерал-адъютанту, графу Михаилу Семеновичу Воронцову, генерал-губернатору Новороссии, наместнику Бессарабии. «Покорнейше прошу Ваше Сиятельство, — писал Дибич, — приказать без промедления отправить в Тульчин проживающего Бессарабской области в местечке Атаках Еврея Ушера Вольфа Мошковича Жолквера и сдать там в Главный штаб 2-й Армии для отправления его оттуда с фельдъегерем в С.-Петербург»[47].

Предписание за № 1744 адресовалось дежурному генералу Главного штаба. Оно гласило:

«Отъезжающему сего числа во 2-ю Армию фельдъегерю прикажите, Ваше Превосходительство, чтобы он при возвращении его в С.-Петербург принял из Главного штаба той Армии жителя местечка Атаки Еврея Ушера Вольфа Мошковича Жолквера, и по прибытии сюда оного тотчас ко мне представил.

Начальник Главного штаба
Дибич»[48].

Во исполнение полученного указания дежурный генерал Главного штаба генерал-майор Алексей Николаевич Потапов 3 но-

ября выписал ордер на имя фельдъегеря Шишкова. «Предписываю тебе при обратном возвращении твоем из м. Тульчина в С.-Петербург, — говорилось в документе, — принять из Главного штаба 2-й Армии жителя местечка Атаки Еврея Ушера Вольфа Мошковича Жолквера, и по прибытии сюда представить его тотчас ко Г. Начальнику Главного штаба Его Величества»[49].

Прошло более двух недель. Фельдъегерь Шишков вернулся в Петербург с бумагами из Тульчина, но без означенного еврея Жолквера.

25 ноября Дибич вновь направляет предписание генерал-майору Потапову:

«Отправленный из С.-Петербурга 1-го ноября к Главнокомандующему 2-й Армией фельдъегерь не мог дождаться там присылки от Новороссийского Генерал-Губернатора Еврея Ушера Вольфа Мошковича Жолквера, которого он согласно предписанию моему от 1-го ноября за № 1744 должен был доставить в С.-Петербург; почему Ваше Превосходительство прикажите уже имеющему отправиться во 2-ю Армию будущего декабря фельдъегерю принять из штаба Армии Еврея Жолквера и по прибытии в С.-Петербург тотчас ко мне доставить»[50].

Дежурный генерал выписывает 1 декабря новый ордер за № 1770 на имя фельдъегеря Винокурова с указанием доставить из штаба 2-й армии упомянутого Жолквера.

Но и фельдъегерь Винокуров не смог выполнить предписание высшего начальства. По возвращении в Петербург он предъявил генералу Потапову два документа: «Свидетельство» от городничего г. Овруч и «Рапорт» дежурного генерала штаба 2-й армии генерал-майора Байкова.

Из свидетельства следовало, что «оный Жолквер по болезни ломотою в костях и удушьем следовать далее с ним Винокуровым не может и оставлен в городе Овруч впредь до выздоровления»[51].

В рапорте генерала Байкова подтверждался факт болезненного состояния Жолквера, а заодно сообщалось об издержках, понесенных интендантской службой 2-й армии, на проезд и лечение Жолквера, которому по причине болезни и сильных морозов на казенный счет был куплен тулуп. Все

эти непредвиденные расходы были оценены в 60 рублей 50 копеек[52].

2 января 1825 года генерал Потапов направляет генералу Байкову предписание:

«Прошу Ваше Превосходительство сделать распоряжение, дабы Еврей Жолквер, если он выздоровеет, был сдан отправленному сего числа в Дежурство 2-й Армии фельдъегерю Яковлеву на обратном его пути в С.-Петербург, на какой предмет и снабжен от меня сей фельдъегерь предписанием»[53].

Канцелярская переписка по поводу доставки в Петербург загадочного Жолквера благополучно завершилась 21 января 1825 года рапортом генерал-майора Потапова начальнику Главного штаба генералу от инфантерии Дибичу. «Сего числа, — докладывал дежурный генерал, — возвратился фельдъегерь Яковлев из Главного штаба 2-й Армии — м. Тульчина, посыланный 13-го сего месяца с депешами, и при нем один Еврей, привезенный сюда по приказанию Вашего Превосходительства»[54].

Чем же мог безвестный местечковый еврей привлечь к себе столь пристальное внимание высшего военного начальства в Петербурге?

Ответ на этот вопрос содержится в Российском государственном военно-историческом архиве (РГВИА), в материалах фонда дежурного генерала Главного штаба Его Императорского Величества, где сохранилась подборка документов под названием «Дело по просьбе Еврея Ушера Вольфа Мошковича Жолквера о награждении его за услуги, оказанные им в 1812 году войскам нашим, о снабжении его паспортом на свободное проживание в российских городах и о даче ему аудиенции для открытия некоторых обстоятельств».

На обложке «Дела» записано: «Началось 5 октября 1823». Оказывается, начало этой истории датируется не ноябрем 1824 года, а годом ранее. Но изучение документов показало, что истоки ее ведут к событиям 1811—1812 годов.

Перелистаем содержащиеся в «деле» документы. Они достаточно красноречивы сами по себе и нуждаются лишь в кратких пояснениях.

В первых числах октября 1823 года в походной канцелярии императора Александра I, совершавшего поездку по Западно-

му краю, было получено прошение от жителя г. Дубно Волынской губернии Ушера Вольфа Мошковича Жолквера следующего содержания:

ВСЕАВГУСТЕЙШИЙ МОНАРХ!
ВСЕМИЛОСТИВЕЙШИЙ ГОСУДАРЬ!

В 1811 и 1812 годах был я употребляем в военное время по разным порученностям как во внутри Империи ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, так и за границею, и поручаемые дела исполнял с тем усердием и деятельностью, как только может требоваться от верноподданного.

В 1812 году, находясь за границею для секретных узнаний о движениях неприятеля, был я взят оным в плен, и в таком разе принужден был для прикрытия падшего подозрения, имевшееся у меня от покойного князя Багратиона, Главнокомандовавшего Армиею секретное повеление истребить.

После, освободясь из плену и лишившись всего имущества, составлявшего в вещах и деньгах по крайней мере на десять тысяч рублей ассигнациями, делал я равно мерные Войску ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА услуги.

Быв отвлечен от дома иных занятий (кроме лишения предсказанного в плену имущества) по нещастию на конец к вящему и совершенному разорению сгорел собственный мой дом, в городе Дубне находившийся, из которого я с семейством имел по крайней мере дневное пропитание.

В доказательство вышеизложенного я осмеливаюсь представить при сем в копиях часть документов.

О таковых обстоятельствах я в ту же эпоху и после поднес жалобу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ Великому Князю Константину Павловичу, подавал также просьбы бывшему тогда Волынскому Военному Губернатору Камбурлею, Генерал-Майору Комнину и Князю Волконскому. Об отсылке каковой просьбы моей к сему последнему имеется у меня и росписка Виницкой Почтовой Експедиции, но не ощасливился получить удовлетворение.

ВСЕМИЛОСТИВЕЙШИЙ ГОСУДАРЬ! Не для домогательства возмездия дерзаю припасть к стопам ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, но единственно находясь в беднейшем положении, всеподданнейше прошу воззреть

на своего верноподданного и на продолженные им отечеству услуги, и по благости ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА умилостивиться повелеть: во-первых, вознаградить таковые услуги; во-вторых, дать мне от имени ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА пашпорт или повелеть, дабы выдаваемы были мне таковые во всяком месте и присутствиях на свободное прожитие внутри России, по взносе в оные положенной подати, ибо возобновлением таковых Пашпортов в Дубне, где я состою записанным, встречается мне по бедному положению большое затруднение чрез объявление и взыскание с меня иногда и больше следуемых по состоянию податей.

Всеподданнейше прошу повелеть, дабы резолюция по сему прошению отослана была в Дубно, от коль мог бы я получить ее беспечно. И, в-третьих, Милостивейше благосоизволите дать мне, верноподданному, на краткое время аудиенцию для открытия некоих обстоятельств и желаний моих, коих письменно описать с подробностию не могу.

ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА
Верноподданный
Ушер Вольф Мошкович Жолквер
Волынской губернии Города Дубна житель

Сентября 27 дня
1823 года[55].

Для подкрепления истинности своих слов Жолквер приложил к прошению на высочайшее имя два документа за подписями двух хорошо известных государю лиц — генерала от инфантерии, графа А. Ф. Ланжерона и свитского полковника Турского. Ознакомимся с содержанием этих документов.

АТТЕСТАТ

Дубенскому жителю мещанину Еврею Ушеру Вольфу Жолквер у в том, что он во время нахождения его при мне по казенным немаловажным надобностям вел их честно добропорядочно и препорученные ему от меня доверенности выполнял исправно. В засвидетельствование чего и сей ему за подписа-

нием и скреплением Герба моего печати дан в Городе Дубне апреля 2-го дня 1815-го года.

Его Императорского Величества Всемилостивейшего
Государя моего Генерал от инфантерии,
в свите Его Величества, Командир 6-го Корпуса,
всех российских Орденов, Императорско австрийского
Марии Терезии 3-й степени, Королевско Прусского Черного
и Красного Орла, Королевско Шведского Военного меча
Большого Креста 1-й степени, Королевско французского
Св. Людовика, Американского Сансинатуса
и Св. Иоанна Иерусалимского Кавалер,
имеющий Золотую шпагу с надписью За храбрость
Золотую медаль За штурм Измаила и медаль За 1812-й год
Граф Ланжерон[56].

Это был тот самый Ланжерон, который в 1815 году сменил своего знаменитого соотечественника «дюка» Эммануила Осиповича Ришелье на постах херсонского военного губернатора, генерал-губернатора Новороссии и главноначальствующего над бугскими и черноморскими казаками.

В Отечественную войну 1812 года генерал Ланжерон командовал корпусом в армии адмирала П. В. Чичагова в Белоруссии и, судя по выданному им Аттестату, нередко прибегал к услугам Жолквера, посылая его в качестве своего тайного агента в расположение противника.

Второй документ, приложенный к прошению Жолквера, был составлен полковником Турским.

СВИДЕТЕЛЬСТВО

По силе данной мне от высшего начальства порученности, относящейся в наблюдении политических секретных интересов как внутри ИМПЕРИИ, так и вне оной, дано сие от меня Дубенскому Жителю Ушеру Вольфовичу Жолкверу в том, что он был мною неоднократно, а наипаче в 1811 и 1812 годах употребленным в посылках как за границу, так и внутрь в немаловажных припоручениях, кои исполнял верно и акуратно, подвергая себя часто большим опасностям, а кольми паче будучи пойманным от неприятеля, и что он, Ушер кроме меня был от

других многих Генералов Командующих употребляем по сему предмету. Исполнял все в пользу Отечества, с немалым усердием и рачительностью, почему, будучи отвлекаем от своего хозяйства, понес, как в имении, так и здравии своем немалый убыток, и лишился от пожара собственного дому, а сверх того вовсе ограблен был от неприятеля.

Во уважение чего и дано ему, Жолкверу, за собственным моим подписом и печатию мая 1-го дня 1814-го года в Дубне.

Свиты Его Императорского Величества
По Квартирмейстерской части
Полковник и Кавалер
Турский[57].

О свитском полковнике Турском мы знаем куда меньше, чем о генерале Ланжероне. Тем не менее историкам 1812 года он известен как один из руководителей русской армейской разведки в том виде, как она существовала тогда в системе генерал-квартирмейстерской службы. Еще в 1811 году полковник Турский обосновался в Белостоке, где создал широко разветвленную сеть осведомителей из числа тамошних евреев, с помощью которых получал ценную информацию о составе, численности и передвижениях французских войск на территории герцогства Варшавского, превращенного Наполеоном в аванпост для готовившегося им нападения на Россию.

Со своей стороны и французское военное командование пыталось организовать в приграничном районе сеть осведомителей, но из-за нежелания еврейского населения сотрудничать с французами оно вынуждено было использовать поляков, засылавшихся в расположение русской армии.

Надо сказать, русская (еврейская) агентура действовала куда более эффективно, нежели французская (польская). В значительной мере благодаря ей русское военное командование не было застигнуто врасплох, когда 12 июня (с. с.) 1812 года армия Наполеона вторглась в пределы России. И в ходе приграничных военных действий русские агенты добывали весьма важные сведения о противнике.

Агентура была востребована вновь, когда отступавшие от Москвы французы в ноябре 1812 года вторично оказались на территории Западного края.

В числе этих агентов-евреев весьма успешно, насколько можно судить по отзывам о его работе, действовал и Ушер Жолквер, которого лично знал и которому доверял ответственные поручения сам князь Петр Иванович Багратион, главнокомандующий 2-й Западной армией. Не погибни он от смертельной раны, полученной на Бородине, наверное, и его отзыв был бы приложен Жолквером к прошению на высочайшее имя.

Возникает вполне закономерный вопрос о причинах столь лояльного (если не сказать самоотверженного) отношения белорусских (и литовских) евреев к России и резко враждебного — по отношению к Франции. Казалось бы, эмансипация евреев, предоставление им гражданских прав в ходе Французской революции, в которой они активно участвовали, должны были бы расположить к Франции и евреев, проживавших в других странах Европы. Собственно, так оно и было на территориях, захваченных французской армией в ходе революционных и наполеоновских войн.

Сам император французов, хотя и не был замечен в особых симпатиях к евреям, тем не менее официально признал их гражданские права, полученные в годы революции, и с успехом опирался на их поддержку. В феврале 1807 года Наполеон созвал в Париже синедрион и подтвердил перед этим представительным собранием еврейских депутатов гражданские права и свободы евреев, в том числе и право свободного отправления ими своего религиозного культа. В ответ синедрион от имени всех евреев, проживавших в империи, принес клятву верности Наполеону и дал обещание поддерживать все его начинания, в том числе и завоевательную политику. Надо сказать, французские евреи до конца остались верны Наполеону.

Совсем иным было положение евреев — подданных Российской империи. В отличие от своих французских собратьев, вовлеченных революцией в бурные политические события и ставших неотъемлемой частью общества, российские (литовско-белорусские) евреи в первые десятилетия XIX века все еще жили исключительно по Талмуду, под строгим контролем еврейской общины (кагала) и раввинов.

Как убедительно показал А. И. Солженицын, попытки Александра I и Николая I покончить с замкнутостью и обособленностью еврейской жизни, стремление интегрировать

евреев в общенациональную хозяйственную и иную деятельность наталкивались на решительное противодействие кагала и раввината[58].

Но в период, предшествовавший французскому вторжению, и в ходе Отечественной войны 1812 года именно патриархальность и консерватизм полуторамиллионного российского еврейского сообщества сыграли свою позитивную для России роль. «Отношение такой среды к революционной Франции, поскольку сюда достигали слухи о происходивших там бурных событиях, могло быть только враждебным, — отмечал позднейший еврейский историк С. М. Гинзбург. — Франция в глазах правоверного еврейства являлась очагом вольнодумства и безбожия, Наполеон — исчадием революции, восставшей не только против земной власти, но и небесной. Доносившиеся вести о затеянных в Париже еврейских религиозных реформах, о синедрионе лишь укрепляли этот взгляд на Францию, как на источник, откуда распространяется зараза неверия. Если издалека она вызывала страх и отвращение, то при встрече лицом к лицу эти чувства должны были претворяться в ужас и ненависть. И когда французские войска вторглись в Литву и Белоруссию, это значило: надвигается грозная, страшная сила, несущая с собою отрицание и безбожие, долженствующая ниспровергнуть и смести все те устои, на которых зиждилась вся жизнь правоверного еврейства. Ясно было, что необходимо всячески противодействовать натиску этой губительной силы, чтобы отстоять, спасти то, что является ценнее и выше всего.

Таковы были чувства и мысли, которые нашествие Наполеона вызывало в русском еврействе, столь проникнутом религиозностью»[59].

Идеологом сопротивления со стороны русских евреев французскому нашествию стал духовный вождь белорусских хасидов раввин Шнеер-Залман (Шнеерсон). Как только Великая армия вторглась в пределы России, р. Шнеерсон обратился с воззванием «ко всем евреям в Белоруссии пребывающим». Вот выдержки из этого воззвания:

«По разрушении в прошедшем веке еврейского царства сделались нашим отечеством те земли, в которых предки водворились. Мы, пребывающие под благословенною державою Российского Государя Императора, не только не чувствова-

ли такого угнетения, какие в других царствах, даже и в самой Франции бывали... Но нам в любезном отечестве нашем, России, чего недоставало? Трудолюбие и промыслы деятельных доставляли изрядные способы к содержанию наших семейств. Мы не только охранялись законом наравне с природными русскими, но и допущены были к правам и чинам, пользовались почестьми и свободным отправлением веры нашей и обрядов; даже в самом царствующем граде С.-Петербурге, и там есть евреи и наша школа. В котором же царстве народ еврейский имеет таковые выгоды? Поистине, ни в котором, кроме единой России... Монарху Российскому и нашему Господь да поможет побороть врагов Его и наших, поелику он справедлив и война начата не Россиею, но Наполеоном; доказательством же того есть наглый его сюда с войском приход... Мужайтесь, крепитесь и усердствуйте всеми силами услуживать Российским военным командирам, которые о усердных подвигах ваших не оставят, к возрадованию меня, извещать. Таковые услуги послужат к очищению грехов, содеваемых нами, яко человеками, против приказания Божия...»[60].

Сам Шнеерсон при приближении неприятеля покинул родные места, завещав своим духовным детям оказывать неповиновение французам и помогать русской армии. Могилевский губернатор Толстой взял его с собой и доставил в Вязьму, откуда почтенный раввин, минуя Москву, отправился в Троице-Сергиев посад, а оттуда перебрался в Курск, где и умер в ноябре 1812 года, дождавшись, к радости своей, известия об отступлении французов из Москвы.

Хасиды неукоснительно следовали завету своего вождя. Впрочем, не только хасиды, но и их «идейные противники» — миснагды, явившие в 1812 году достойный пример патриотизма. Неповиновение французским военным властям стало нормой поведения в Западном крае. Лишь под угрозой расстрела французы могли найти проводников из числа евреев.

Зато русское командование не имело недостатка в добровольных помощниках из этой же среды. На этот счет сохранилось множество авторитетных свидетельств. «Мы не могли достаточно нахвалиться усердием и привязанностью, которые выказывали нам евреи», — вспоминал грозный начальник Третьего отделения генерал-адъютант А. Х. Бенкендорф, в начале Отечественной войны 1812 года — полковник, коман-

дир одного из первых армейских партизанских отрядов в Белоруссии[61].

Еще более высокую оценку роли евреев в Отечественной войне 1812 года дал один из ее героев, генерал от инфантерии граф М. А. Милорадович. В бытность его петербургским генерал-губернатором евреи пользовались его покровительством, получив возможность проживать в столице вопреки существовавшему запрету. Когда же чиновники осторожно указывали генерал-губернатору на незаконность этого, он им отвечал: «Эти люди — самые преданные слуги государя, без них мы не победили бы Наполеона и я не был бы украшен этими орденами за войну 1812 года»[62].

«Удивительно, что они (евреи) в 1812 отменно верны нам были и даже помогали, где только могли, с опасностью для жизни» — эту запись сделал в своем дневнике великий князь, будущий император Николай I [63].

Следует упомянуть о том, что многие белорусские евреи, раскрытые французскими оккупационными властями как русские агенты, были расстреляны и повешены, а их дома сожжены.

Нам не известно, был ли Ушер Жолквер хасидом или принадлежал к другому религиозному течению — миснагдов. Но совершенно очевидно, что работал он на русскую армию не из корыстных побуждений, не за вознаграждение, а, как бы мы сейчас сказали, «по идейным соображениям», уточнить которые, к сожалению, не представляется возможным. И лишь крайняя нужда побудила разорившегося дубенского еврея спустя десять с лишним лет после окончания войны напомнить о себе и своих былых заслугах.

По всей видимости, имелась и еще одна причина его обращения к властям, так и оставшаяся невыясненной. Можно лишь предположить, что Жолквер не утратил интереса к делам разведки и решил еще раз послужить царю и Отечеству в качестве секретного агента. Не исключено, что в 1823 году он получил какую-то важную для государственных интересов России информацию, которую и хотел довести до сведения если не самого императора, то кого-либо из особо близких к нему лиц.

Упомянутое прошение Жолквера от 27 сентября 1823 года на высочайшее имя, как уже отмечалось, в самом начале октября было получено в походной канцелярии Александра I,

находившегося в Тульчине, где размещался штаб 2-й армии. Судя по мгновенной реакции, прошение ветерана Отечественной войны произвело там должное впечатление. Во всяком случае, 5 октября того же года генерал-адъютант И. И. Дибич направляет предписание городничему г. Дубно: «По ВЫСОЧАЙШЕЙ воле предлагаю Вам объявить Дубенскому жителю Еврею Ушеру Вольфу Мошковичу Жолкверу, дабы он при проезде ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА чрез Дубно 21-го сего октября явился ко мне»[64].

Казалось, сокровенное желание Жолквера вот-вот исполнится: сам государь император изволит посетить Дубно. Но Жолквер на назначенную ему начальником Главного штаба аудиенцию так и не явился.

Лишь месяц спустя в Канцелярии Главного штаба было получено уведомление следующего содержания: «...Дубенский полицмейстер доносит, что означенный Еврей отлучился из Дубно назад тому два года и находится теперь в городах Могиле на Днестре и Атаках, почему он (полицмейстер Дубно. — *П. Ч.*) при объявлении ему означенного предписания и отнесся в тамошней полиции»[65].

Поиски Жолквера продолжались девять месяцев. Наконец откликнулся сам возмутитель спокойствия, разысканный полицией по его новому месту жительства, в Бессарабии. Остается неясным, почему в своем прошении от сентября 1823 года он не сообщил, что сменил место жительства.

31 июля 1824 года Жолквер направляет письмо «Его Превосходительству, Милостивому Государю Ивану Ивановичу» (Дибичу), в котором объясняет причину, по которой он не мог явиться на аудиенцию «за дальностию расстояния» от Бессарабии до Волыни, а также ссылается на нерадивость полиции г. Дубно, так долго разыскивавшей его. В письме Жолквера содержался интригующий абзац, который, несомненно, и привлек внимание сановного адресата:

«Ежели прописанное мое Всеподданнейшее прошение удостоится ВЫСОКОМОНАРШЕГО благоволения и чтобы оное наиаккуратнейше могло восприять свое действие, дабы каждый шаг злоумышленников мог бы быть преследуем, я должен буду лично открыть сию тайность ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ или же Вашему Превосходительству, ибо открыть кому-либо другому я не буду в состоянии, а потому при-

емлю смелость всепочтеннейше просить Ваше Превосходительство доложить о сем ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, дабы по ВЫСОЧАЙШЕЙ ВОЛЕ повелено было немедленно снабдить меня от казны прогонными деньгами, равно и подорожною на проезд мой из м. Атак Бессарабской Области до того места, где ВСЕАВГУСТЕЙШИЙ МОНАРХ изволит присутствовать»[66].

Письмо завершалось настоятельной просьбой об аудиенции.

Ну а далее, как мы знаем, началась оживленная переписка начальника Главного штаба с новороссийским генерал-губернатором и командованием 2-й армии о неотложной доставке в Петербург «Еврея Ушера Вольфа Мошковича Жолквера».

По прибытии в Петербург Жолквер был принят генералом Дибичем, который удостоил необычного посетителя продолжительной беседой. По всей видимости, начальник Главного штаба не пожалел о времени, потраченном на Жолквера. Более того, генерал посчитал, что встретиться с приезжим евреем было бы весьма полезно и министру финансов Российской империи. Последний был уведомлен Канцелярией Главного штаба Его Величества, что упомянутый Жолквер «намерен был сделать открытия, до министра финансов относящиеся»[67].

Егор Францевич Канкрин, видимо, поначалу был шокирован сделанным ему предложением дать аудиенцию какому-то бессарабскому еврею. Однако ему недвусмысленно дали понять, что таковое желание исходит от самого государя, после чего министр изъявил полную готовность исполнить высочайшую волю.

Из сохранившихся архивных документов можно сделать вывод: Канкрин тайно принял Жолквера и, судя по всему, получил от него информацию настолько ценную, что уже через несколько дней возложил на совершенно неизвестного ему прежде человека секретное поручение особой важности.

2 марта 1826 года Жолквер в сопровождении фельдъегеря покидает сановный Петербург. Его путь лежит в Одессу и далее — в Дубоссары.

О предстоящем проезде загадочного эмиссара были оповещены главнокомандующий 2-й армией генерал от кавалерии граф П. Х. Витгенштейн и новороссийский наместник граф М. С. Воронцов. В день отъезда Жолквера из Петербурга ге-

нерал-майор А. Н. Потапов направил уведомление начальнику штаба 2-й армии генерал-адъютанту П. Д. Киселеву: «Вследствие поручения Г. Начальника Главного Штаба Его Величества покорнейше прошу Ваше Превосходительство препровождаемого при сем Дубенского Еврея Ушера Золквера (так в документе. — *П. Ч.*) и конверт от министра финансов за № 157 вместе с оным же Евреем приказать при первом удобном случае отправить к Полномочному Наместнику Бессарабской области Г. Генерал-Адъютанту графу Воронцову, и о последующем почтить меня вашим уведомлением»[68].

Месячное пребывание Жолквера в столице Российской империи было окружено плотной завесой секретности. Сохранившиеся в фондах РГВИА документы Главного штаба, к сожалению, почти не проясняют дело. Можно лишь предположить, что сделанные Жолквером «открытия, до министра финансов касающиеся» имели отношение к пограничной контрабанде, наносившей значительный ущерб русской казне. На это косвенно указывают документы, завершающие архивное «дело Жолквера».

Первый из них — собственноручная расписка Жолквера. Вот ее текст:

«Я, нижеподписавшийся, Г. Дубно Еврей Ушер Вольф Мошкович Золквер (так в тексте. — *П. Ч.*), сим свидетельствую, что пожалованные мне Г. Министром финансов триста рублей ассигнациями, от Старшего Адъютанта Главного Штаба Его Величества Капитана Борщова, равномерно и секретное повеление от Г. Министра финансов к Г. Начальнику Дубосарского Таможенного округа за № 158 получил 2 Марта 1825 года в С.-Петербурге»[69].

Второй документ — «Записка» старшего адъютанта Главного штаба капитана Борщова от 3 марта 1825 года:

«1-го Марта сего года Начальник Главного Штаба Его Величества препроводил записку к Министру финансов, в коей сказано, что Государю Императору благоугодно было, дабы Его Превосходительство объяснился с Евреем Жолквером о делах, которые он ему представит.

На сию записку Министр финансов после объявления отвечал, что он находит возможным Еврею Жолкверу дать триста рублей, отношение к Полномочному Наместнику Бесса-

рабской области и предписание к Начальнику Дубосарского Таможенного округа о оказании вспомоществования в поручении, кои ему доверяются, и просил по сему предмету мнения Начальника Главного Штаба.

По сему отзыву Министр финансов приказал написать бумаги к Полномочному Наместнику Бессарабской области и к Начальнику Дубосарского Таможенного округа, которые вместе с тремястами рублями были мне вручены.

Деньги сии вместе с секретным предписанием к Начальнику Дубосарского Таможенного округа за № 158 выданы Еврею Жолкверу под расписку, которая при сем представляется; а секретное отношение к Полномочному Наместнику Бессарабской области за № 157 послано к Начальнику Главного Штаба 2-й Армии для доставления по принадлежности.

Еврей Жолквер 2-го Марта отправлен с срочным фельдъегерем в Тульчин»[70].

11 марта 1825 года генерал-адъютант П. В. Киселев отправил из Тульчина в Петербург следующее уведомление:

Дежурному генералу Главного Штаба
Его Императорского Величества
Господину Генерал-Майору и Кавалеру
Потапову

Доставленный при отношении Вашего Превосходительства за № 411 Дубенский Еврей Ушер Жолквер с Конвертом от Министра финансов за № 157, согласно помянутому отзыву Вашему, отправлен в г. Одессу к Полномочному Наместнику Бессарабской области Господину Генерал-Адъютанту Графу Воронцову 10 числа сего месяца. О чем Ваше Превосходительство имею честь уведомить.

Начальник Главного Штаба
2-й Армии Генерал-Адъютант
Киселев[71].

Этим документом обрывается так и не проясненная до конца история русского разведчика Ушера Жолквера, решившего, по всей видимости, возобновить секретную службу в мирное время. Наверное, следы Жолквера можно было бы отыскать

в архивах Одессы и Дубоссар, куда он был командирован с особым поручением...

С достоверностью можно утверждать лишь одно: заслуги скромного ветерана Отечественной войны 1812 года спустя без малого двенадцать лет были признаны властью в той мере, как это было возможно в то время, с учетом социального положения героя нашего повествования. Сам он мечтал лишь о паспорте на свободное проживание по всей территории Российской империи.

Желаемый паспорт Жолквер получил незамедлительно, а в качестве дополнительной награды за усердие министр финансов Е. Ф. Канкрин выдал ему 300 рублей. Чтобы оценить размер полученного Жолквером вознаграждения, можно напомнить, что сумма в 300 рублей составляла тогда годовое жалованье (правда, без так называемых «столовых») старшего адъютанта Главного штаба в звании гвардии капитана (того же Борщова). Насколько можно судить, Жолквер был удовлетворен оказанной ему милостью.

«Мои счастливые дни миновали...»

Французский посол о воцарении Николая I

Известно, что Николай I в 1825 году до последней возможности сопротивлялся принятию императорской короны. Он никогда не готовился к роли императора и, главное, не желал им быть, полагая, как и все в России, что шапка Мономаха по закону принадлежит его старшему брату Константину. Потому-то великий князь Николай Павлович и присягнул 27 ноября 1825 года «Государю Императору Константину Павловичу», как только получил известие о кончине в Таганроге Александра I.

Одновременно он привел к присяге «государеву роту» лейб-гвардии Преображенского полка и ряд сановников (в том числе военного губернатора Санкт-Петербурга графа М. А. Милорадовича), оказавшихся в этот момент в Зимнем дворце. Когда о принятой присяге сообщили вдовствующей императрице Марии Федоровне, она пришла в отчаяние и отчитала сына за поспешность. В числе немногих посвященных императрица

знала, что еще летом 1823 года Константин с согласия Александра I отказался от наследования престола в пользу Николая. Царский манифест по этому поводу в строжайшей тайне был отдан на хранение московскому митрополиту Филарету в запечатанном конверте с собственноручной надписью государя: «Хранить в Успенском соборе с государственными актами до востребования моего, а в случае моей кончины открыть московскому епархиальному архиерею и московскому генерал-губернатору в Успенском соборе прежде всякого другого деяния». Копии манифеста в запечатанных конвертах были отправлены в Государственный совет, Сенат и Синод.

До сих пор историки не пришли к единому мнению, знал ли Николай Павлович об этом манифесте и уготованной ему миссии. Но факт остается фактом: 27 ноября он присягнул Константину и не желал отказываться от данной им присяги даже после того, как его ознакомили с копией манифеста от 16 августа 1823 года, передававшего ему права на русский престол. Великий князь упорствовал вплоть до 12 декабря, когда из Варшавы пришло подтверждение решительного отказа Константина от престола.

Затянувшееся почти на три недели междуцарствие грозило непредсказуемыми последствиями, тем более что из разных источников Николаю сообщали о готовящемся со дня на день восстании в столичном гарнизоне. Между тем Константину присягнул уже не только Петербург, но и Москва. По каким-то причинам митрополит Филарет не рискнул распечатать хранившийся в алтарной части Успенского собора Кремля секретный пакет и огласить его содержание, прежде чем с копией манифеста не ознакомились в Петербурге.

На исходе дня 12 декабря 1825 года великий князь наконец преодолел мучившие его сомнения и принял окончательное решение. Срочно был составлен соответствующий манифест, опубликованный 13 декабря одновременно с манифестом Александра I от 16 августа 1823 года и документами, подтверждающими формальный отказ Константина Павловича от прав на корону.

С раннего утра 14 декабря в северной столице должна была начаться вторичная присяга — на этот раз императору Николаю I. Что происходило в течение этого дня и чем он завер-

шился — достаточно хорошо известно, как известно и то, как вел себя Николай, лично руководивший подавлением бунта.

Гораздо меньше мы знаем о том, что происходило тогда в душе молодого императора, демонстрировавшего своему окружению хладнокровие и непреклонную волю восстановить порядок ценой минимальных жертв.

Имеющиеся немногие свидетельства близких к Николаю людей единодушно говорят о пережитом им 14 декабря глубоком потрясении, повлиявшем на его характер, да и на все последующее тридцатилетнее царствование, добавим мы от себя. «Я увидела в нем как бы совсем нового человека», — записала 15 декабря в свой дневник императрица Александра Федоровна, супруга Николая Павловича. «...Я не могла не оплакивать того, что наша прежняя частная жизнь в нашем собственном милом доме кончилась! — читаем мы в ее дневнике запись от 19 (31) декабря. — Теперь я вижу Николая так редко. Началась новая жизнь. И как сурово она началась! Когда я обняла Николая 14 декабря... я чувствовала, что он вернулся ко мне совсем другим человеком. Когда он ушел на другое утро, я так восхищалась им, он представлялся мне таким возвышенным; и все же я плачу о том, что он уже не прежний Николай»[72].

«Эта ужасная катастрофа придала его лицу совсем другое выражение», — отметила вечером 14 декабря в своем дневнике вдовствующая императрица Мария Федоровна, мать Николая Павловича[73].

Среди немногих облеченных доверием молодого государя лиц, перед которыми он не скрывал своих истинных чувств, пережитых 14 декабря 1825 года, мы находим одного иностранца — графа Огюста де Ла Ферроне, посла короля Франции Карла X в России. Его подробные отчеты министру иностранных дел барону де Дама о событиях тех дней сохранились в Архиве Министерства иностранных дел Франции в Париже, где я с ними и познакомился. В данном случае нас интересуют прежде всего те фрагменты из донесений Ла Ферроне, которые проливают свет на личность Николая I и его настроение в первые дни царствования, отмеченные несмываемой печатью трагических событий в Петербурге.

Но прежде следует сказать несколько слов об авторе этих свидетельств.

Граф Огюст-Пьер-Мари Феррон де Ла Ферроне (1777—1842) принадлежал к числу убежденных приверженцев Бурбонов, изгнанных из Франции в годы революции. В юности он сражался в рядах эмигрантской армии принца Конде, где встретился и подружился с герцогом Беррийским, сыном младшего брата казненного Людовика XVI графа д'Артуа (с 1824 года — короля Карла X). В качестве адъютанта герцога Беррийского Ла Ферроне выполнял отдельные дипломатические поручения эмигрантского двора Людовика XVIII. Так, в 1812 году он побывал в России, где вел переговоры с Александром I и познакомился с тремя его братьями — Константином, Николаем и Михаилом.

В годы Реставрации Бурбонов граф де Ла Ферроне стал полевым маршалом и пэром Франции, был послом в Дании, а в 1819 году получил назначение на пост чрезвычайного и полномочного посла в России. В Петербурге он возобновил прежние знакомства и очень скоро стал своим человеком в тамошнем великосветском обществе. Наиболее близкие, доверительные отношения у графа де Ла Ферроне сложились с великим князем Николаем Павловичем, с которым они запросто встречались и свободно беседовали на самые разные темы. «Я часто бывал у него и проводил с ним многие часы в совершенно откровенных разговорах», — писал Ла Ферроне в одном из донесений в Париж[74]. Их дружбе не помешала даже почти двадцатилетняя разница в возрасте. Все это делает свидетельства Ла Ферроне важным источником для понимания образа мыслей и действий Николая в декабре 1825 года.

События 14 (26) декабря 1825 года стали для Ла Ферроне, как и для других иностранных дипломатов в Петербурге, полной неожиданностью. Еще за четыре дня до восстания посол сообщал министру иностранных дел из российской столицы: «В городе царит абсолютное спокойствие; скопления людей наблюдаются только в храмах, куда люди ежедневно приходят с возрастающим усердием. Невозможно представить себе более искреннего выражения скорби... (речь идет о заупокойных службах по случаю кончины императора Александра I. — *П. Ч.*), чему мы здесь являемся свидетелями»[75].

Его первое сообщение в Париж о восстании, отправленное в 22 часа 14 декабря, содержало лишь краткую сводку собы-

тий истекшего дня. Более полное представление о пресеченной попытке государственного переворота французскому послу удалось составить лишь к утру следующего дня, когда он подготовил «Отчет о беспорядках, имевших место в С.-Петербурге 26 декабря 1825 года».

Ла Ферроне вполне уверенно сообщал министру, что потерпевший неудачу заговор имел сугубо «аристократический» характер и ставил своей целью замену самодержавного строя властью аристократической олигархии. «Русские заговорщики в подавляющем большинстве принадлежали к привилегированному классу, — писал Ла Ферроне. — Тенденция к ограничению привилегий аристократии, характерная для последнего царствования, судя по всему, была главным побудительным мотивом для подготовки мятежа, — продолжал французский посол. — Революция, которую они (аристократы. — *П. Ч.*) намеревались возглавить, замысливалась ими в интересах привилегированных классов, и именно это обстоятельство отличало русских заговорщиков от аналогичных демагогов из других стран Европы. Недостаточная зрелость их планов, трусливое малодушие, проявленное заговорщиками, поспешившими немедленно раскаяться ради спасения своих жизней, наглядно показывает, что эта революция не была серьезной, и в этом ее отличие от революций, происходивших в других странах»[76].

Здесь граф де Ла Ферроне имел в виду Французскую революцию, а также недавние революции в Испании, Италии (1820 год) и Португалии (1822 год).

В своих донесениях в Париж французский посол неоднократно возвращался к мысли об аристократическом характере выступления декабристов. «...Вчерашнее восстание, — писал он министру вечером 15 (27) декабря, — предполагалось [его авторами] как подготовительный эпизод к тому, чтобы изменить существующую здесь форму правления, дав русской нации аристократическую конституцию. В этом отношении опасения покойного императора не были столь уж безосновательными. Я склонен полагать, однако, что в бредовых мечтаниях татарских новаторов присутствовало более безумия, нежели реальной угрозы. К счастью, их вчерашнее поведение показывает, что они еще слишком неопытны в искусстве осуществления мятежа, но они могли бы достигнуть в этом бы-

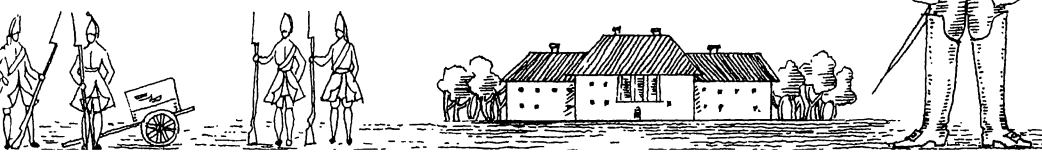
строго прогресса. Именно это обстоятельство исключало всякие проявления снисходительности и побуждало действовать со всей возможной жесткостью по отношению к инициаторам и руководителям этой первой попытки.

Еще ничего не известно о том, в какой степени заговор распространился в глубь Империи, — осторожно заметил Ла Ферроне. — Здесь с беспокойством ожидают новостей из Москвы, где должно состояться принятие присяги»[77].

Значительное место в депешах французского посла занимает оценка поведения молодого императора перед лицом мятежа, вспыхнувшего буквально у стен его резиденции. «...Думаю, нет необходимости объяснять, в какой степени это прискорбное событие потрясло Императора, — писал Ла Ферроне в своем первом донесении поздним вечером 14 декабря. — Но для тех, кто был свидетелем достойного поведения этого монарха, было очевидно его великодушие, его величественное спокойствие, его невозмутимое хладнокровие, которые восхищали с одинаковым энтузиазмом и войска, и старых генералов». По глубокому убеждению графа де Ла Ферроне, именно мужественное и твердое поведение Николая и не дало осуществиться замыслам заговорщиков, «навлекавших на Империю все беды анархии»[78].

Французский посол, как следует из его донесений, вполне реалистично оценивал обстановку после подавления восстания. «Нет смысла скрывать, — отмечал Ла Ферроне, — что положение нового Императора критическое и очень трудное. Подавление этого первого мятежа не уничтожило умонастроений, царящих в среде молодых офицеров, и эти умонастроения вызывают серьезные опасения...

Многочисленные пороки во внутреннем управлении, всеобщая коррупция, наконец, двусмысленность и неустойчивость политической ситуации — все это чревато войной, к которой расположено национальное общественное мнение. Необходимость такой войны оправдывается интересами страны, ее считают необходимой и для поддержания достоинства государя, но, разумеется, против такой войны будет протестовать Европа. Таковы, господин барон, наиболее важные проблемы, перед которыми оказался молодой государь, тщетно ищущий вокруг себя людей, способных дать ему направляющие советы и оказать поддержку»[79].



Говоря о возможной войне, способной отвлечь русское общество от пережитого в декабре 1825 года шока, граф де Ла Ферроне имел в виду двух восточных соседей России — Персию и Турцию. Забегая вперед, можно заметить, что французский дипломат не ошибся в своем прогнозе. Уже в середине 1826 года началась русско-персидская война, продолжавшаяся до февраля 1828 года, а уже в апреле того же года разгорелась война с Турцией, завершившаяся лишь в сентябре 1829 года.

В депеше, отправленной в Париж 31 декабря (н. с.) 1825 года Ла Ферроне констатировал: «Со времени прискорбных событий, случившихся 26/14 декабря, каждый истекший день, к сожалению, приносит нам все новые ужасающие подробности этого преступного замысла, и мы должны благодарить небо за быстрое и решительное пресечение мятежа. В этих трудных обстоятельствах императорское правительство проявило столько же мудрости, сколько и твердости. Благодаря принятым на месте событий мерам быстро был наведен порядок, и ничто более не нарушает спокойствия в столице.

Помимо многочисленных арестов, проведенных в ночь с 26/14 на 27/15 декабря, большинство главных участников мятежа сами отдали себя на милость государя. В ожидании, пока Следственная комиссия отделит виновных от тех, кто был задержан по ошибке, всех арестованных заключили в крепость»[80].

1 января 1826 года Ла Ферроне вручил управляющему МИД России графу К. В. Нессельроде ноту, в которой выражалась полная поддержка действий русского правительства по подавлению мятежа.

В этот же день Николай I принял в Зимнем дворце глав иностранных дипломатических миссий и дал им развернутую официальную оценку последних событий в столице. По окончании общей аудиенции император попрощался с послами, попросив остаться графа де Ла Ферроне. О содержании состоявшегося между ними разговора тет-а-тет, который продолжался более часа, мы можем узнать из подробной депеши французского посла, отправленной им в Париж 5 января 1826 года[81].

«Едва я закрыл за собой двери императорского кабинета, как Его Величество, взяв меня за плечи, с глазами полными слез, произнес: “Как я счастлив быть с вами и иметь возмож-

ность свободно излить душу другу, который сумеет понять меня! Представьте себе, какие эмоции и чувства обуревают меня на протяжении последнего месяца. Вы видите, мой друг, при каких обстоятельствах я вступаю на трон — молодой, неопытный, никогда не желавший и не мечтавший о верховной власти, — и вы должны понять, что происходит в моей душе. Скажу вам со всей откровенностью и искренностью: хотя теперь наши позиции по отношению друг к другу и приобрели иную форму, то уважение и та дружба, которые я к вам питаю, никогда не изменятся. Я ничего пока не знаю о характере отношений, которые политика может установить между императором России и послом короля Франции, но даю вам слово чести, что Николай навсегда останется для графа де Ла Ферроне тем же, кем он был для него до сих пор, и я очень надеюсь, что и вы останетесь тем же по отношению ко мне.

Вы только что стали свидетелем происшедших событий, когда я был вынужден еще до истечения первого дня моего царствования пролить кровь. Никто, быть может, за исключением вас и моей жены, не в состоянии понять ту нестерпимую боль, которую я испытал и которую обречен испытывать всю мою жизнь от воспоминаний об этом ужасном дне. Мои счастливые дни миновали, мой дорогой Ла Ферроне. Я всегда знал, сколь тягостен груз короны, и Бог свидетель, что я отказывался от нее до тех пор, пока невиданные обстоятельства не вынудили меня принять ее. Однако несчастные, которые подготовили этот гнусный заговор, поставили меня перед необходимостью действовать таким образом, как если бы я намеревался отобрать ее у того, кому она принадлежала"».

Далее Николай объяснил Ла Ферроне что побудило его, вопреки собственной воле, принять российскую корону, от которой категорически отказался законный наследник, его старший брат Константин. Конечно же, он, Николай, хорошо понимает настроения солдат, которых их командиры обманом вывели на Сенатскую площадь: солдаты уже присягнули на верность Константину и не могли взять в толк, почему они должны переприсягать другому императору. Этим солдатским неведением и воспользовались офицеры-мятежники.

«"Обстоятельства поставили меня перед необходимостью ради спасения столицы, а возможно, и Империи от ужасной катастрофы пролить кровь несчастных, которые в большин-

стве своем доказали самим своим мятежом, на что может их подвигнуть верность данной присяге и преданность командирам". Император произносил эти слова с глазами полными слез, а рыдания мешали ему говорить, — отметил в своем донесении Ла Ферроне. — После минутного молчания он (император. — *П. Ч.*) продолжал: "Извините, мой дорогой граф, я знаю, что могу излить душу перед другом, открыть ему все мои страдания, не опасаясь, что он обвинит меня в слабости. Я уже это говорил и повторяю вновь: именно с вами я испытал первое мгновение облегчения. Я поверил в вашу дружбу в таких обстоятельствах, которых мы не могли и предположить — ни вы, ни я, — и в которых мы все еще находимся сегодня"»[82].

Когда французский дипломат попытался перевести разговор на международные дела, молодой император сказал: «Сегодня я не буду говорить с вами о политике, поскольку эта сфера для меня совершенно новая»[83].

В своих последующих донесениях в Париж граф де Ла Ферроне сообщал о полном восстановлении спокойствия и порядка в российской столице.

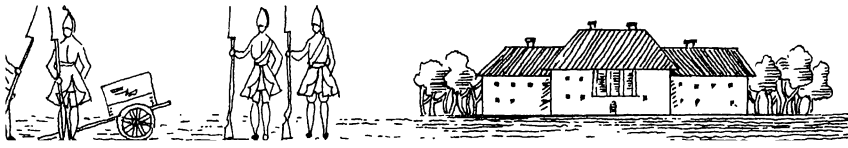
На фоне этих успокоительных заверений некоторым диссонансом прозвучала депеша, датированная 21 февраля (9 марта н. с.) 1826 года, в которой посол сообщил о распространившихся в Петербурге слухах о возможном новом восстании, приуроченном якобы к доставке в северную столицу из Таганрога тела покойного императора Александра I. Согласно этим слухам, готовился взрыв Казанского собора, в подземельях которого будто бы обнаружили большие запасы пороха. «Император ежедневно получает анонимные письма с угрозами его жизни, если инициаторы заговора 26 декабря будут приговорены к смерти, — с тревогой сообщал Ла Ферроне. — Полиция пока еще не сумела раскрыть авторов этих преступных сочинений, одно из которых совсем недавно было ему передано лично в тот момент, когда император садился на лошадь. Его Величество не обнаруживает никакого страха и продолжает, как ни в чем не бывало, показываться на публике и совершать свои обычные прогулки. Здесь повторяют слова государя, делающие ему честь: "Они хотят сделать из меня тирана или труса, но они не преуспеют ни в том, ни в другом"»[84].

Как уверял свое правительство посол Франции, казнь пяти главных участников восстания не вызвала сочувственных по отношению к ним откликов в обществе, больше обсуждавшем подготовку к коронации молодого императора, которая должна была состояться в Москве 3 сентября. «Общественное мнение здесь, как и в Петербурге, поддерживает решительные действия правительства, — сообщал 5 августа 1826 года из первопрестольной граф де Ла Ферроне. — Сохраняется полное спокойствие, и всеобщее внимание приковано к предстоящим праздничным церемониям»[85].

2 сентября, накануне коронации в Успенском соборе Кремля, французский посол в очередном донесении в Париж предсказывал, что главным принципом правления Николая I станет укрепление незыблемости самодержавного строя в России. «Он намерен царствовать со справедливостью, но как абсолютный властитель, так как убежден, что русская нация еще далеко не готова к тому испытанию, которому ее хотели бы подвергнуть новаторы»[86].

Политический прогноз Ла Ферроне оправдался в полной мере. Тридцатилетнее царствование Николая I стало апогеем в истории русского самодержавия. Из событий 14 декабря молодой император извлек два основных урока. Важнейшей своей обязанностью он счел укрепление пошатнувшихся устоев самодержавного строя. Но достижение этой цели Николай Павлович видел не только в принятии дополнительных мер полицейского характера, но и в разрешении давно назревших вопросов, оставшихся ему в наследство от его предшественников. Многие из принятых им впоследствии решений в области внутренней политики, включая попытки найти ответ на злополучный крестьянский вопрос, родились в его голове в ходе следствия над декабристами. Можно даже сказать, что какие-то из этих решений были подсказаны царю его оппонентами во время допросов. Известно, что он лично допрашивал многих из них и самым внимательным образом изучал материалы следствия, пытаясь выяснить для себя мотивы, побудившие их выступить против верховной власти с оружием в руках.

Что же касается графа де Ла Ферроне, то он останется на своем посту в России до конца 1827 года, когда будет отозван



в Париж, чтобы возглавить Министерство иностранных дел Франции. В начале 1830 года Карл X назначит Ла Ферроне своим послом в Рим, где его и застанет Июльская революция, окончательно свергнувшая Бурбонов. Убежденный легитимист, граф де Ла Ферроне откажется присягнуть «королю-гражданину» Луи-Филиппу и выйдет в отставку. Он умрет в добровольном изгнании в Риме 17 января 1842 года. Николай I переживет своего французского друга на тринадцать лет.

«Павлоны» 14 декабря 1825 года

12(24) декабря 1850 года император Николай I отмечал 25-летие своего вступления на престол. Это памятное событие навсегда связалось в его жизни с тяжелыми воспоминаниями о 14 декабря — попытке государственного переворота, предпринятой группой офицеров, сумевших вывести на Сенатскую площадь в Петербурге отдельные подразделения лейб-гвардии Московского, Финляндского и Гренадерского полков, а также Гвардейского экипажа, выказавших неповиновение молодому императору. Сам государь бóльшую часть дня находился на месте событий во главе 1-го батальона Преображенского полка, занимавшего позиции на углу Вознесенского и Адмиралтейского проспектов. Преображенский полк стал его первой и самой надежной опорой в противостоянии мятежникам. Именно преображенцам доверил он в тот день и защиту своего семилетнего сына, будущего императора Александра II.

Спустя годы, в 1849 году во время открытия памятной доски Преображенского полка в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца Николай Павлович, обращаясь к находившейся там группе солдат-преображенцев, сказал, явно намекая на события 14 декабря: «Вы — мой первый полк, и надеюсь, что и останетесь им навсегда, передайте же товарищам, как я вас награждаю за вашу верность».

Кто знает, быть может, именно тогда императору и пришла в голову идея собрать к 25-летию своего царствования свидетельства непосредственных участников подавления мятежа 14 декабря. Дежурному генералу Главного штаба генерал-адъю-

танту графу Павлу Николаевичу Игнатьеву было дано указание получить от оставшихся в живых бывших командиров гвардейских полков, принимавших участие в подавлении мятежа, письменные отчеты об их действиях в тот судьбоносный для императора Николая день.

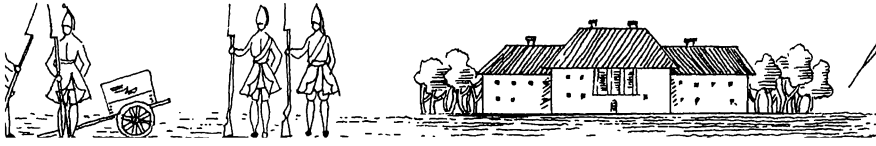
Кстати, сам Игнатьев 14 декабря 1825 года, командуя в чине капитана «государевой ротой» Преображенского полка, первым явился на помощь одинокому тогда императору и до позднего вечера неотлучно находился при нем. За проявленные в критический момент верность и храбрость он был произведен во флигель-адъютанты.

15 февраля 1850 года генерал-адъютант П. Н. Игнатьев разослал соответствующие запросы с предложением безотлагательно предоставить ему отчеты о событиях 14 декабря 1825 года. Один из таких отчетов я обнаружил в фонде лейб-гвардии Павловского полка в Российском государственном военно-историческом архиве (РГВИА). Он составлен бывшим командиром Павловского полка полковником Алексеем Федоровичем Арбузовым.

Павловский пехотный полк числился среди «молодых» в императорской гвардии. Он был сформирован в марте 1799 года по инициативе императора Павла I. Тем не менее в его короткой на момент описываемых событий 26-летней истории уже было много славных страниц. «Павлоны», как их позднее назовут, принимали самое активное участие в кампаниях 1805, 1806 и 1807 годов, в Отечественной войне 1812 года и в заграничных походах 1813–1814 годов.

В сентябре 1814 года полк вернулся из Парижа в Петербург, к месту постоянной дислокации, а в июне 1815-го получил приказ выступить в поход «по случаю вновь открывшейся войны с французами»[87]. Правда, в очередной раз повоевать с французами Павловскому полку не довелось. Известие о поражении Наполеона при Ватерлоо застало полк на марше в Курляндии, где он и получил приказ возвращаться в столицу. С тех пор жизнь полка протекала без особых событий, в череде военных учений и смотров.

Рутина полковой жизни неожиданно была нарушена событиями 14 декабря 1825 года. В тот день Павловский полк проявил полную лояльность по отношению к императору Ни-



колаю Павловичу и принял активное участие в подавлении восстания.

Какова была его роль в тех драматических событиях, можно узнать из публикуемого ниже отчета А. Ф. Арбузова, отправленного им 27 февраля 1850 года на имя генерал-адъютанта П. Н. Игнатьева[88]:

«На запрос Вашего Превосходительства от 15-го сего Февраля за № 1474, имею честь сообщить следующее.

14-го декабря 1825 года из числа рот л.-гв. Павловского полка, которым я тогда командовал, участвовали в усмирении мятежников в столице 1-я, 2-я и 3-я фузелерные при своих ротных командирах: 1-я — капитан Макшеев, 2-я — капитан Аврамов и 3-я — штабс-капитан Ярц, под командою командира 1-го батальона полковника Берхмана 4-го и под личным моим начальством. Остальная часть 1-го батальона и весь 2-й батальон полка находились в тот день в городовых караулах. Тотчас по прибытии моем с тремя названными ротами на Дворцовую площадь, Государь Император по удостоении их благосклонного приветствия, Высочайше повелеть изволил: провести их мимо новой Голландии в тыл мятежникам, в Галерную улицу и на Английскую набережную, что и было мною исполнено занятием ротами означенных улицы и набережной до Замятина переулка. В то же время Государь Император благоволил повелеть мне: приказания от Его Величества получать чрез адъютанта Его Величества полковника Кавелина, а мои донесения делать чрез полкового адъютанта л.-гв. Павловского полка поручика Стахиева.

Что касается до замечательных обстоятельств того дня, то я могу указать два из них, как заслуживающие наибольшего внимания, а именно: 1-е) Когда были сделаны выстрелы из орудий по мятежникам на Петровской площади и картечи достигли поставленных в тылу их рот л.-гв. Павловского полка и ранили в них 1-го унтер-офицера, 1-го флейщика и 5-ти рядовых, из которых один вскоре помер, то невзирая на это, чины рот, помня святой долг службы и присяги, стояли твердо на своем месте, так что когда вслед за тем густая масса мятежников устремилась по Галерной улице, то 1-й полувзвод 1-й фузелерной роты, будучи выдвинут вперед, батальным огнем остановил и удержал бегущих; и 2-е) Все чины л.-гв. Павловского полка, находившиеся в тот день в карауле, равномерно

исполнили строго и свято свою обязанность: в особенности же отличились караул, стоявший в казармах л.-гв. Павловского полка, который, несмотря на бывшие в сих казармах беспорядки, остался твердым и не допустил к себе мятежников. Вообще все чины л.-гв. Павловского полка ознаменовали себя в сей день примерным соблюдением порядка и строжайшим исполнением распоряжений и воли Начальства, за что Государь Император удостоил Всемилостивейше пожаловать особое и щедрое денежное награждение: раненому унтер-офицеру Григорию Шанину 300 р., прочим раненым чинам от 50 до 300 р., стоявшему в карауле л.-гв. Московского полка унтер-офицеру Ивану Тюринову 300 р., а прочим нижним чинам награда, в числе 20-ти рядовых, 1000 р. ассигнациями.

С особенным удовольствием передавая Вашему Превосходительству сии сведения, прошу покорнейше принять уверения в искреннем почтении и совершенной преданности».

Что нам известно о составителе этого отчета?

Алексей Федорович Арбузов (1792—1861) — участник Отечественной войны и заграничных походов 1813—1814 годов, лейб-гвардии Павловским полком командовал более десяти лет — с начала 1825-го до конца 1835 года.

Его активное участие в подавлении восстания было отмечено императором уже 15 декабря, когда гвардии полковник Арбузов был пожалован во флигель-адъютанты, а год спустя произведен в генерал-майоры. В 1828 году Арбузов со своим полком участвовал в турецкой кампании, а в 1831-м принимал участие в подавлении восстания в Польше. Впоследствии он станет генералом от инфантерии и генерал-адъютантом.

Любопытно, что в тот самый день, когда полковник Алексей Арбузов принимал деятельное участие в усмирении мятежа, его родственник, лейтенант Гвардейского экипажа Антон Арбузов, привел матросов на помощь восставшим, за что был осужден на вечную каторгу и умер в 1843 году на поселении в Енисейской губернии. Надо сказать, это не было исключительным случаем. 14 декабря 1825 года разделило многие семейные кланы.

Штрихи к портрету «Карла Ивановича»

Николай I глазами французских дипломатов в Санкт-Петербурге

На протяжении без малого трех десятилетий своего царствования император Николай I считался самой значительной фигурой в европейской политике. Вплоть до злополучной для России Крымской войны его международный авторитет был незыблемым как для партнеров по Священному союзу, так и для тех, кто не разделял консервативно-охранительных устремлений николаевской империи в Европе. Первые — Австрия и Пруссия — охотно ориентировались на русского царя, полагая его главным гарантом стабильности на континенте против попыток ревизии Парижского мира 1814–1815 годов и новых революционных потрясений. Вторые — в их числе Франция — вынуждены были считаться с «арбитром Европы», каковым в глазах многих выглядел Николай I, хотя и не могли одобрять его политику.

Со времен Июльской революции 1830 года, посягнувшей на реставрационные устои в Европе, отношения между самодержавной Россией и либеральной Францией характеризовались холодной сдержанностью, источником которой во многом была личная неприязнь Николая I к «королю-гражданину» Луи-Филиппу, незаконно узурпировавшему, по мнению царя, французский престол.

Февральская революция 1848 года и последовавшая в декабре 1852-го реставрация во Франции бонапартистской империи, намеревавшейся добиться отмены дискриминационных статей Парижского мира, еще более усилили напряженность в российско-французских отношениях.

Все это делает оценки французских дипломатов, работавших в Санкт-Петербурге, личности и политики императора Николая Павловича наиболее интересными, так как в этих оценках, по понятным причинам, не могло быть ни стремления идеализировать самого царя, ни желания оправдывать его действия. В качестве примера такого рода оценок можно привести свидетельства двух дипломатов, возглавлявших посольство Франции в Санкт-Петербурге в период, предшество-

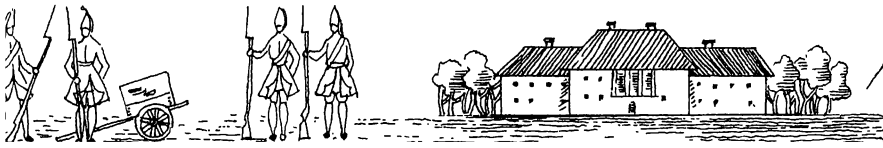
вавший Крымской войне. Но сначала несколько слов об этих дипломатах.

Первый из них — дивизионный генерал Жак Доминик Бартелеми Арман маркиз де Кастельбажак[89] (1787—1864), французский посланник в России в 1850—1854 годах. Кастельбажак принадлежал к древнему аристократическому роду. Он родился за два года до революции, участвовал в наполеоновских войнах, отличился в составе Великой армии в военных действиях в Испании, Германии и России. Был трижды ранен, а в сражении при Бородине, будучи капитаном, получил контузию.

В годы Реставрации Кастельбажак входил в окружение дофина, как и два его приятеля-сослуживца — генералы д'Опуль и виконт де Лаитт. «В последние годы Реставрации, — сообщал из Парижа российский поверенный в делах Н. Д. Киселев о новом французском посланнике, — Кастельбажак командовал полком драгун королевской гвардии. Июльская революция вынудила его оставить действительную службу, и лишь незадолго до падения Луи-Филиппа он был возвращен в армию, согласившись принять под командование дивизию, дислоцированную в Бордо. На этом посту его застала Февральская революция. Кастельбажак вновь был отправлен в отставку, наряду с другими генералами, не вызывавшими доверия у Временного правительства. Позднее ему удалось вернуться на службу благодаря старым друзьям — нынешнему министру иностранных дел [Лаитту] и военному министру [д'Опулю], — которые способствовали его возвращению на политическую сцену в качестве посланника при нашем дворе»[90].

Завершая краткое представление нового посланника Франции в России, Киселев отметил: «Господин де Кастельбажак первым браком был женат на мадемуазель де Мак-Магон, которая принесла ему, как уверяют, значительное состояние. Его нынешняя супруга — урожденная де Ларошфуко, дочь герцога де Ларошфуко Лианкура и сестра графа Ипполита де Ларошфуко, который одно время входил в состав посольства Франции в С.-Петербурге, а в эпоху Февральской революции был полномочным министром во Флоренции»[91].

Высокое происхождение и боевая биография ветерана наполеоновских войн не могли не расположить императора Николая Павловича к новому французскому посланни-



ку. С самого начала между ними установились доверительные отношения, несмотря на очевидные расхождения в политике двух стран. Близкое знакомство с царем позволило Кастельбажаку достаточно хорошо изучить характер Николая Павловича, его ближайшее окружение и проводимый им политический курс.

Когда посланник отбывал в отпуск во Францию, во главе дипломатической миссии, его замещал граф Гюстав Арман Анри де Рейзе (1821—1905). Он принадлежал к нетитулованному дворянскому роду из Лотарингии. Его предки с начала XVI века находились на службе у герцогов Бургундских, а к концу столетия перешли на королевскую службу. Свой графский титул начинающий дипломат Гюстав де Рейзе получил не по наследству, а из рук короля Луи-Филиппа в 1842 году.

Со времени приезда в Россию элегантный и обаятельный Рейзе наладил тесные контакты в избранном петербургском обществе, где его принимали как своего, что позволяло наблюдательному французу быть в курсе всех тамошних политических новостей и светских сплетен. Граф де Рейзе неоднократно встречался и с самим императором Николаем Павловичем. По этим причинам его наблюдения и заключения имеют не меньшую ценность, чем свидетельства маркиза де Кастельбажака.

Их свидетельства содержатся в двух документах, обнаруженных мною в Архиве МИД Франции. Первый представляет собой депешу французского посланника от 27 апреля 1850 года, адресованную министру иностранных дел генералу Ж. Э. Дюко де Лаитту.

Автор второго документа, датированного 2 июля 1853 года, — граф Г. де Рейзе, советник посольства Франции в Петербурге. Это пространная записка на имя министра иностранных дел Э. Друэн де Люиса, где дается оценка личности императора Николая I и его ближайшего окружения.

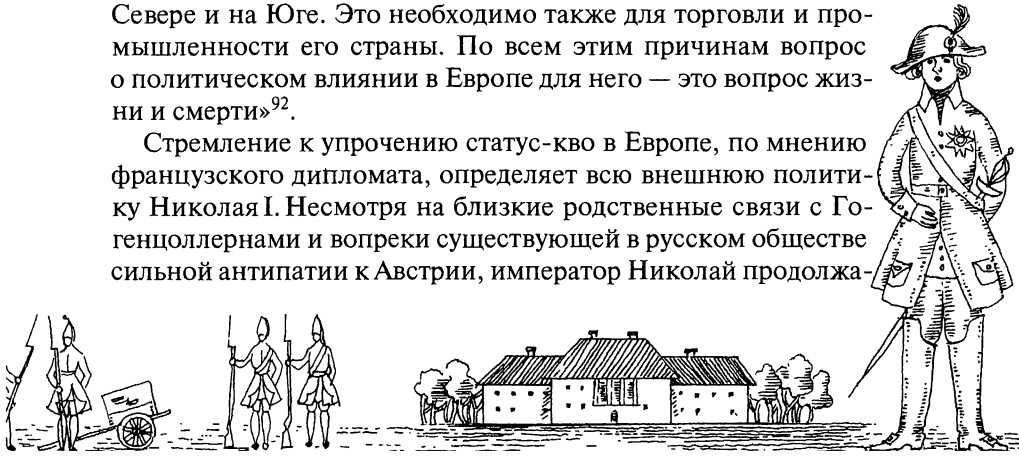
Генерал де Кастельбажак прибыл в Россию в феврале 1850 года, то есть почти за два года до провозглашения Франции империей, что, как уже говорилось, обострило российско-французские отношения, хотя о предстоящей в недалеком будущем Восточной войне никто еще не помышлял. В своих донесениях в Париж французский посланник неоднократно подчерки-

вал, что Россия стремится к одному — поддержанию спокойствия в Европе после революционных потрясений 1848 года. Таково, по убеждению Кастельбажака, было искреннее желание царя, только что спасшего от казавшегося неминуемым распада Габсбургскую империю. Восстание в Венгрии — последний очаг революционного пламени, охватившего Европу, — с помощью русских штыков в 1849 году было подавлено, и теперь русский самодержец мечтал о воцарении тишины и покоя на всем европейском пространстве.

«Император Николай, — писал французский посланник, — обладает возвышенным и здравым умом; у него благородное сердце — твердое и великодушное. Он всегда на стороне здравого смысла и примирения; он способен совладать с обидой и ответить лояльно и откровенно, если встречает такую же лояльность и искренность. При этих условиях он всегда будет выступать за мир и примирение в силу своего характера, религиозных чувств, любви народа и в особенности — солдат, побуждаемый уроками событий 1848 года, опасением революционной войны, которая могла бы докатиться до его империи через Польшу...

Кроме того, его устремленность к миру объясняется желанием сократить огромные военные расходы, которые непомерным грузом висят на финансах страны, что пагубно отражается на положении сельского населения, стремлении императора приступить к намеченным внутренним улучшениям на всем пространстве его обширной империи. Все эти намерения побуждают его желать всеобщего спокойствия в Европе. Ради этого он готов будет умерить многие наследственные амбиции, правда, за двумя исключениями: ключи от дверей Босфора и Балтики не должны оказаться в руках, способных безнаказанно закрывать их для выхода его флота на Севере и на Юге. Это необходимо также для торговли и промышленности его страны. По всем этим причинам вопрос о политическом влиянии в Европе для него — это вопрос жизни и смерти»[92].

Стремление к упрочению статус-кво в Европе, по мнению французского дипломата, определяет всю внешнюю политику Николая I. Несмотря на близкие родственные связи с Гогенцоллернами и вопреки существующей в русском обществе сильной антипатии к Австрии, император Николай продолжа-



ет поддерживать Габсбургов, которых считает главной консервативной силой в Германии. Консервативная направленность его внешней политики, как полагал Кастельбажак, объясняет и его благожелательное в целом отношение к Франции после установления там президентского режима, положившего конец революционным потрясениям 1848 года[93].

В своем донесении в Париж Кастельбажак уделил внимание и ближайшему окружению царя. «Безусловно, — отмечал французский дипломат, — в России, как и во всех странах, независимо от формы правления, существуют влиятельные группы, которые здесь наиболее активно проявляют себя во внутреннем управлении, где процветает взяточничество. Но во всех наиболее важных делах, особенно относящихся к политике, все инициативы и право принятия окончательного решения принадлежат исключительно императору Николаю»[94].

В связи с этим, продолжал Кастельбажак, влияние канцлера графа К. В. Нессельроде не столь уж и значительно, как принято считать. «Несмотря на свой богатый опыт и то заслуженное доверие, которым наделил его император, канцлер не имеет решающего влияния в вопросах большой политики, как это можно было бы предположить. Тем не менее его влияние проявляется в том, что он способен смягчать слишком поспешные или слишком резкие шаги во внешней политике. Таким образом, его влияние ограничивается порученной ему дипломатической сферой. Этот государственный деятель, — резюмировал французский посланник, — наделен здравым и тонким умом, покладистым и благодушным характером. Эти качества в сочетании с его столь же продолжительным, сколь и утомительным опытом делают канцлера поборником мирных решений, побуждая его к осторожности и противодействию всяким крайним тенденциям»[95].

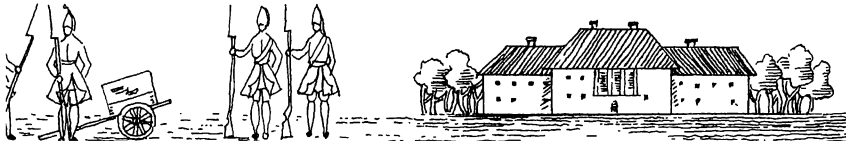
Из «ближнего круга» царя Кастальбажак выделил трех наиболее влиятельных сановников. «После самого императора, — сообщал он в Париж, — единственный человек, имеющий реальное влияние в вопросах большой политики, это генерал [А. Ф.] Орлов, ближайший друг императора, возглавляющий высшую полицию (Третье отделение Собственной Е. И. В. Канцелярии. — *П. Ч.*). Второй человек — это друг детства Его Величества, граф [В. Ф.] Адлерберг, главный управляющий Почтового департамента, и, наконец, гене-

рал князь [А. И.] Чернышев, военный министр. Все трое придерживаются той же примирительной линии, которую стремится проводить канцлер. При всем значении упомянутых лиц, — подчеркивал Кастельбажак, — только императору принадлежит вся полнота ответственности за принятие и осуществление всех важнейших политических решений. На его пылкий, деятельный и в то же время честный и прямой ум можно пытаться оказать влияние только разумными доводами, преданностью и искренностью»[96].

Важнейшая особенность существующей в России политической системы, по убеждению французского посланника, состоит в ничтожно малом влиянии общества на принятие политических решений. Существующие в Санкт-Петербурге светские и литературные салоны не играют никакой политической роли, как это имеет место, например, в Париже; «они совершенно бесполезны для политики». Все здесь определяется только личной близостью ко двору, живущему замкнутой, не имеющей связи с обществом жизнью.

В последние годы, отмечал Кастельбажак, император и его семья ведут подчеркнуто уединенный образ жизни, отказавшись от былых дворцовых празднеств и балов. Даже иностранным послам стало трудно встретиться с императором. Исключение составляют те из них, кто носит военный мундир, включая военных атташе, позволяющий присутствовать на часто проводимых парадах и учениях, столь любимых императором. Только там и представляется возможность свободно поговорить с царем. «Все это, вместе взятое, — заключал генерал Кастельбажак, — делает здешнюю ситуацию столь отличной от той, что существует в других европейских государствах, особенно с конституционным устройством»[97].

Характерно, что оценка Кастельбажаком личных качеств Николая I и его роли в европейской политике не изменилась даже в период резкого обострения франко-российских отношений в разгар Восточного кризиса, предшествовавшего развязыванию Крымской войны. В одной из депеш на имя министра иностранных дел французский посланник писал: «Личность императора Николая не в меньшей степени, чем мощь его империи, обеспечивают ему большое моральное и политическое влияние в Европе в пользу консервативных



принципов; его постоянство и бескорыстие обеспечивают ему уважение и доверие всех правительств»[98].

Примерно к тому же периоду — лету 1853 года — относится Записка советника французского посольства в России графа де Рейзе, посвященная Николаю I[99]. Повышенный интерес к нему со стороны посольства Наполеона III в Петербурге объяснялся осознанием возможности предстоящего военного столкновения двух стран из-за нараставших противоречий по восточному вопросу. Императору французов важно было в полной мере понять характер царя, направленность и мотивы его действий, степень влияния на него ближайшего окружения. Именно эти вопросы и ставил перед собой составитель Записки, граф Гюстав де Рейзе.

Говоря о человеческих качествах императора Николая, Рейзе обращает внимание на наличие в них «поразительных контрастов». Обычно предельно вежливый и обходительный, император неожиданно может стать жестким и даже грубым, когда испытывает чувство гнева. «Нужно, однако, признать, — добавляет французский дипломат, — что подобные преходящие приступы гнева часто вызваны вполне понятной причиной — желанием положить конец злоупотреблениям, которые могут быть прекращены только его твердостью...

В интимном же кругу, среди тех, кого он считает своими, император отличается редким добродушием... Бесспорно, в этом государе много благородства, но при этом в его манере поведения есть что-то театральное...

Императору, нужно это признать, — продолжает Рейзе, — присущи прямолинейность, страстное и неумеренное желание преуспеть во всех делах».

Говоря о религиозных убеждениях царя, Рейзе отмечает: «Как и у всех русских, вера у императора представляет собой смесь искреннего религиозного чувства с легкомысленным вздором. К этому добавляется сильнейшая неприязнь к католицизму. Вместе с тем было бы несправедливым возлагать на него всю ответственность за положение католиков в России в его царствование. В то же время нельзя не признать, что имеющих место притеснений можно было бы избежать, если бы он следовал примеру своего брата Александра, который никогда не был враждебен к католикам и оставлял за католи-

ческой церковью полную свободу на всем протяжении своего царствования».

Завсегдатай петербургских светских салонов, граф де Рейзе не удержался от передачи в Париж ведущихся там разговоров и распространяемых сплетен. «Немецкое происхождение императора Николая и проявляемые им симпатии к австрийцам, — пишет французский дипломат, — стали причиной того, что в избранном обществе его вполголоса называют Карлом Ивановичем или бароном Готторпом. Имя Карл дано ему по той простой причине, что его нет в русском [православном] календаре, зато оно есть в германском. А за вторым прозвищем кроется прямой намек на принадлежность императора к семейству принцев Гольштейн-Готторпских и, следовательно, на то, что в его венах нет крови Романовых...

Императора называют здесь также «человеком в ботфортах», имея в виду одну его слабость — стремление демонстрировать красоту своего сложения. Все эти прозвища, — заметил граф де Рейзе, — произносятся вполголоса, но я не думаю, что они составляют тайну для самого императора».

Возвращаясь к более серьезным вещам, Рейзе отмечает личную храбрость царя, которую он неоднократно проявлял в самых разных обстоятельствах. Один из таких случаев имел место во время холерной эпидемии в Петербурге, когда работа городских властей и врачей по борьбе с эпидемией была поставлена под угрозу мятежными действиями невежественной толпы, растерзавшей нескольких человек на рынке.

«Император, сопровождаемый графом Орловым, — сообщает Рейзе, — направился к разъяренной толпе и громовым голосом воскликнул: “Шапки долой! На колени!”. Затем, осенив себя крестным знамением, приказал толпе молиться вместе с ним и просить Господа о прощении за грехи и преступления, повлекшие за собой Божью кару в виде эпидемии. Когда толпа успокоилась, император доходчиво объяснил ей ее заблуждения и несправедливость в отношении докторов, которых надлежит слушаться и исполнять все их предписания. Непосредственное вмешательство царя позволило погасить очаг начинавшегося в столице холерного бунта, восстановить порядок и в конечном счете справиться с эпидемией».

Другой пример храбрости Николая I французский дипломат относит к одному из его путешествий, когда, будучи

в Польше и получив от губернатора Познани сообщение о готовящемся на царя покушении, император вопреки предостережению воздержаться от посещения этого города все же побывал там. Во время следования по городским улицам императорский кортеж подвергся обстрелу, в результате чего был ранен один из секретарей императора. Сам он не пострадал, сохранив в критический момент полное самообладание и поистине царское достоинство.

Николай I, свидетельствует французский дипломат, обладает поразительно прочной памятью. Он помнит всё и вся. «Недавно, — пишет Рейзе, — я присутствовал на полночной Пасхальной службе в дворцовой часовне и наблюдал любопытную сцену. Следуя пасхальному обычаю, император христосовался со всеми офицерами гвардейских полков, размещенных в Петербурге. Из восьмисот офицеров, с которыми расцеловался император, нашлось лишь три человека, которых он попросил напомнить их имена. Наследник, великий князь [Александр], обладает столь же крепкой памятью, как и его отец».

«Другая отличительная черта характера императора — стремление лично охватить все сферы управления империей, — свидетельствует Рейзе. — Даже когда он совершает пешие прогулки по городу, то всегда совмещает их со своеобразной инспекцией того, что видит вокруг. И если на своем пути он встречает какие-то непорядки, требующие вмешательства полиции, то не преминет указать ей на допущенные упущения. Совсем недавно он лично доставил к некоему полковнику солдата, без разрешения покинувшего ночью казарму. В другой раз, встретив на улице безмятежно курящего иностранца, император вежливо заметил ему: “Месье, мне кажется, вы не знаете, что нарушаете законы этой страны. Позвольте вас предупредить, что если служащий полиции увидит, что вы курите на улице, у вас будут неприятности. Я бы вам посоветовал немедленно бросить вашу сигару, если вы хотите избежать долгих объяснений с обер-полицмейстером”. Добавлю, — пишет граф де Рейзе, — что упомянутый иностранец был потрясен, когда чуть позже узнал, что встреченный им на улице любезный офицер оказался самим императором...

Эта мания все видеть, все знать и во все вникать объясняется не только особенностями характера императора. Ее можно

считать и необходимым следствием социального устройства страны, которой он управляет. В России император решает все. Он и законодатель, он же и глава исполнительной власти. Без его личного вмешательства законы остаются обычным клочком бумаги. Народ здесь еще недостаточно цивилизован, чтобы уважать эти законы и видеть в них справедливые правила, которыми он должен руководствоваться, а судебно-исполнительные власти слишком продажны, чтобы им можно было доверять. Поэтому император считает себя обязанным часто вмешиваться в дела администрации всех уровней, включая низшую, чтобы заставить ее нормально функционировать...

Одним словом, — резюмирует французский дипломат, — в России не верят в закон, но верят императору, который и есть живое воплощение закона».

Несколько слов в своей записке граф де Рейзе уделил состоянию здоровья императора, усмотрев в этом непосредственную связь с его отношением к окружающим и к обычным человеческим чувствам. «Император, — пишет Рейзе, — наделен от природы очень крепким сложением и отменным здоровьем. Лишь однажды на протяжении своей жизни он перенес болезнь. В течение тех двух недель, что продолжалось недомогание, он с трудом согласился на то, чтобы на время оторваться от дел, уединившись на просторном диване, причем в мундире, укрытый шинелью. Так как он никогда серьезно не болел, — подчеркивает французский дипломат, — император не в состоянии понять страданий других людей. Он держит свой двор в постоянном рабочем напряжении, что зачастую приводит в уныние его окружение.

Таковы основные определяющие физические и нравственные качества императора Николая, — резюмирует французский дипломат. — Их соединению в личности царя Россия во многом обязана значительной частью своих достижений, позволивших ей приобрести столь выдающееся значение в мире и столь счастливо преодолеть и голод, и холеру, и революции [1825, 1830, 1848 годов], которые омрачали правление этого монарха».

Пройдет совсем немного времени с момента написания цитируемой Записки — менее пяти месяцев, — как разразится война, которую впоследствии назовут Крымской. Сокрушительный разгром вице-адмиралом П. С. Нахимовым основных

сил турецкого флота в Синопском морском сражении 30 ноября 1853 г. крайне встревожил европейских союзников султана Абдул-Меджида — императора Наполеона III и королеву Викторию. Казалось, еще немного, и Порта станет легкой добычей Николая I, который осуществит давнюю мечту своих предшественников — взять под контроль Проливы и восстановить православный крест над Святой Софией в Константинополе. Настолько сильным было впечатление о возможностях царя и беспредельной мощи николаевской России — впечатление, создававшееся, в частности, докладами дипломатов многих европейских дворов, в частности представителями Наполеона III в Санкт-Петербурге.

Тем более неожиданным и сильным для европейцев станет потрясение, вызванное серией неожиданных поражений русской армии в Крыму после вмешательства Франции, Англии и Сардинского королевства в войну на стороне погибавшей Турции. Именно тогда на смену прежнему стереотипу представлений о России как о «европейском арбитре» или «жандарме Европы» придет другой — о «колоссе на глиняных ногах».

«Дипломатическая болезнь» маршала Мэзона

Известно, что император Александр I, считающийся победителем Наполеона, по каким-то, ему одному ведомым причинам, в сущности, не оставил после себя памятников, посвященных Отечественной войне 1812 года и заграничным походам русской армии, увенчавшимся вступлением в Париж в марте 1814 года.

Это трудно объяснимое равнодушие к столь значимым событиям отечественной истории, к счастью для нашей национальной культуры, не унаследовал его преемник, император Николай I. По возрасту ему, тогда еще 17-летнему офицеру, довелось увидеть лишь финал наполеоновских войн, при занятии Парижа, но Николай Павлович всегда свято чтил память о 1812 годе.

Свидетельством этого уважительного отношения императора к Отечественной войне стали воздвигнутые в его царство-

вание многочисленные памятники и обелиски, посвященные победе над Наполеоном. Самым известным из них, безусловно, стала Александровская колонна, украшающая ансамбль Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

Творение архитектора Огюста Рикара (Августа Августовича) де Монферрана, подарившего северной столице России Исаакиевский собор и ряд других архитектурных шедевров, было торжественно открыто в день памяти святого благоверного князя Александра Невского 30 августа (11 сентября н. с.) 1834 года. Император Николай придавал этому событию первостепенное значение, желая подчеркнуть его общенациональный характер.

На открытии памятника, прославлявшего царствование Александра Благословенного, главным деянием которого была победа над величайшим из полководцев, присутствовал весь иностранный дипломатический корпус за одним только исключением. Отсутствовал посол Франции маршал Никола Жозеф Мэзон, представлявший при петербургском дворе короля французов Луи-Филиппа. Этот факт, разумеется, не остался незамеченным, породив множество противоречивых слухов и домыслов.

Одни утверждали, что маршал несколько дней назад внезапно выехал из Петербурга на родину, причем без положенной в таких случаях отпускной аудиенции. Другие говорили, что французский посол по какой-то причине отправился в Германию. Третьи искренне верили, что он серьезно занемог, но пребывает в своей петербургской резиденции. Правда, нашлись и такие, кто с загадочным видом давали понять, что почтенного маршала сразила «дипломатическая болезнь»: мол, старый вояка, ветеран наполеоновских войн не пожелал участвовать в унизительном для своей страны праздновании поражения в войне с Россией.

Как это нередко случается, ближе всех к истине оказались скептики. Это подтверждается документами из Архива Министерства иностранных дел Франции, выявленными мною в Париже. Речь идет о депешах самого маршала Мэзона, адресованных министру иностранных дел адмиралу Анри де Риньи.

Но прежде чем ознакомить читателя с их содержанием, следует напомнить, что в результате Июльской революции 1830 года русско-французские отношения основательно ис-

портились. Дипломатическим советникам царя, и прежде всего графу К. В. Нессельроде, стоило больших усилий убедить Николая Павловича принять революцию как реальность и не разрывать отношений с Францией. Император неохотно, но все же согласился с доводами рассудительного Нессельроде, но для себя никогда не переставал считать «короля баррикад» Луи-Филиппа Орлеанского «узурпатором» престола. Почти на всем протяжении существования Июльской монархии, вплоть до ее падения в феврале 1848 года, отношения между Россией и Францией были весьма прохладными.

Луи-Филипп, как мог, пытался их нормализовать. Зная, что Николай I цивильным фракам предпочитает военные мундиры, Луи-Филипп, выбирая кандидатов на посольскую должность в Санкт-Петербург, старался отдавать предпочтение профессиональным военным, а не карьерным дипломатам. Своим первым послом в России после учреждения Июльской монархии в августе 1830 года он оставил герцога Тревизского, маршала Мортемара, назначенного еще Карлом X, а в 1832 году на смену ему прислал другого маршала, маркиза де Мэзона. Король-гражданин, как называл себя Луи-Филипп, надеялся, что маршалу Франции удастся хоть как-то сгладить неприязнь царя к «фальшивой», по определению русского самодержца, Июльской монархии.

И в самом деле, старый вояка Мэзон[100], как до него и Мортемар, был благосклонно принят Николаем, чтившим военные заслуги выше гражданских доблестей. Правда, это личное расположение русского самодержца так и не распространилось на режим Июльской монархии и на самого Луи-Филиппа. А история с открытием Александровской колонны в 1834 году стала еще одним поводом к напоминанию о болевых точках в русско-французских отношениях.

Одной из таких точек было поражение наполеоновской Франции в 1814 году. В отличие от режима Реставрации, считавшего Наполеона своим «кровным врагом» и по этой причине ничуть не скорбевшего о катастрофе 1814 года, Луи-Филипп начал возрождать, если не культ, то добрую память о великом полководце и создателе Первой империи. Во Франции все чаще вспоминали о недавних блестящих победах французского оружия и не склонны были, по примеру свергнутых Бурбонов, приветствовать унижение Франции. А именно унижение сво-

ей страны усмотрел французский посол маршал Мэзон в подготовлявшемся в Петербурге торжественном открытии памятной колонны победителю Наполеона.

Впервые он сообщил в Париж о предстоящем событии еще в мае 1834 года. Вот что писал Мэзон министру иностранных дел графу де Риньи в депеше от 31 мая: «Открытие Александровской колонны должно состояться 11 сентября. По этому случаю до ста тысяч войск будут собраны в Петербурге для участия в этой военной церемонии, на которой, как говорят, будут присутствовать принц Оскар Шведский, третий сын принца Оранского, а также принцы Вильгельм и Адальберт Прусские...»[101].

Этому событию должно было предшествовать открытие в Петербурге Триумфальной арки в честь победы в 1812 году. Разумеется, члены дипломатического корпуса были уведомлены о необходимости почтить своим присутствием эти торжества.

Поразмыслив, маршал Мэзон решил уклониться от участия в открытии Триумфальной арки, срочно выехав под каким-то предлогом в Москву, где провел несколько дней.

30 августа 1834 года он направил Риньи депешу, в которой объяснил свое решение. «Я только что вернулся из путешествия в Москву, которое продолжалось десять дней, — писал Мэзон. — Я предпринял эту поездку с единственной целью, чтобы не находиться в Санкт-Петербурге 17/29 августа, когда здесь состоялось открытие Триумфальной арки, которая была воздвигнута в память о вступлении русских войск в Париж. Поскольку идея создания этого памятника появилась еще в предыдущее царствование и призвана напомнить о временах наших поражений, я посчитал своим долгом не принимать участия в этой церемонии»[102]. Далее в своей депеше Мэзон, со слов сотрудников посольства, остававшихся в северной столице, кратко описал саму церемонию. «По этому случаю, — сообщил он министру, — перед Триумфальной аркой было выстроено около трех тысяч бывших солдат, принимавших участие в кампаниях 1812–1813–1814 и 1815 годов. После того как этот памятник был освящен духовенством, войска продефилировали перед Императором, пройдя под Триумфальной аркой»[103].

Отсутствие французского посла на торжествах с участием Николая I не осталось не замеченным императорским двором, хотя отсутствие Мэзона в Петербурге формально как будто извиняло его. Но через несколько дней предстояло еще более грандиозное действо.

Когда Мэзону стал известен замысел царя, связанный с открытием Александровской колонны, он пришел буквально в отчаяние. Понимая, что принимать решение об участии или неучастии в предстоящей церемонии, за отсутствием инструкций из Парижа, ему придется самостоятельно, на свой страх и риск, Мэзон 9 сентября, то есть за два дня до открытия колонны, в депеше министру изложил все обстоятельства этого дела. «Я уже имел честь сообщить Вашему превосходительству в предыдущих донесениях причины моей последней поездки в Москву, — писал Мэзон. — Я ухватился за этот предлог, чтобы, не вызывая ненужных подозрений, не принимать участия в открытии Триумфальной арки, посвященной воспоминаниям о наших бедствиях и об эпохе, столь горестной для Франции. Если бы я мог тогда предположить, — продолжал посол, — что церемония открытия Александровской колонны также должна содержать намек на эти скорбные для нас воспоминания, я, разумеется, продлил бы мое пребывание в Москве, и вернулся бы в Санкт-Петербург только после окончания этих мало подобающих демонстраций»[104].

По всей видимости, маршал Мэзон долгое время искренне полагал, что колонна, воздвигаемая на Дворцовой площади, будет не более чем обычным памятником покойному императору Александру, лишенным какой-либо политической окраски. Откуда французскому послу было знать, что Николай I, еще на стадии утверждения проекта Монферрана, внес свои коррективы в замысел архитектора, став, по существу, его соавтором. Об этом Мэзону сообщил сам Монферран, спешно вызванный для разъяснений в посольство Франции. Оказалось, что сооружаемый им памятник должен символизировать победу Александра над Наполеоном.

Для маршала Мэзона это стало неприятной неожиданностью, которой он поделился с Риньи: «К сожалению, господин граф, — из всех предшествующих разговоров с графом Нессельроде я имел основание верить, что никакое досадное для нас проявление не примешается к той блистательной да-

ни уважения, которое Император Николай намерен воздать своему брату.

Колонна, которую он распорядился воздвигнуть в его память, должна была быть, как уверяли, исключительно религиозным памятником, призванным увековечить память о славном для России царствовании. В первоначальном замысле не было ни враждебной [для нас] надписи, ни оскорбительного трофея. Ангел, несущий крест, венчающий колонну, был выбран самим Императором как символ [предыдущего царствования]. Нельзя не вспомнить в связи с этим известную всем скромность Александра, а также миролюбивые устремления его преемника.

Такова в действительности была изначальная цель, поставленная самим правительством, и все инструкции, полученные месье де Монферраном, ответственным за изготовление колонны, не давали оснований сомневаться в искренности этих намерений. Этот архитектор, с которым я консультировался, неоднократно давал мне такого рода заверения.

В таких обстоятельствах, сопровождавшихся благожелательными заверениями, я должен был полагать, господин граф, что лично Императору было бы неприятно, если бы я своим отсутствием выразил своего рода протест перед лицом столь высоко заявленных намерений... Тем более я знал о том огромном значении, которое Император придает освящению с блеском и помпой памятника, рассматриваемого им как одно из главных событий своего царствования»[105].

Тем не менее, хорошо зная о настроении императора, маршал Мэзон все же склонялся к тому, чтобы уклониться от присутствия на открытии Александровской колонны, как ему это удалось при открытии Триумфальной арки. В разговорах с Нессельроде и другими русскими сановниками посол, как бы невзначай, начинает заговаривать о срочно возникшей необходимости поездки в Германию по личным делам. «Я никогда не забывал о сильном желании императора видеть меня на этой церемонии, — писал Мэзон графу де Риньи, — неоднократно получая настойчивые сигналы, предостерегающие меня как от отъезда в Германию, так и от внезапного ухудшения здоровья... Тем временем, — продолжал Мэзон, — Император, в его исключительной привязанности к военной машине и военным атрибутам, объявил о намерении собрать в Санкт-

Петербурге невиданное доселе количество войск — 108 тысяч человек. Воздержаться от присутствия на этой демонстрации его могущества означало бы нанести ему личное оскорбление. Изучив ситуацию, — писал Мэзон, — я решил не отделяться от моих коллег и 29 августа вернулся в Санкт-Петербург»[106].

Мэзон встречается с Нессельроде и пытается убедить его в щекотливости своего положения: в конце концов, он не только посол, но еще и маршал Франции, который не может спокойно взирать на унижение французского оружия. Вице-канцлер должен понять его положение и найти нужные слова, чтобы убедить императора в невозможности его, маршала Мэзона, присутствии при открытии Александровской колонны.

Явно смущенный Нессельроде как будто понимающе кивал, но ничего не обещал. Со своей стороны он настойчиво посоветовал Мэзону еще раз подумать над последствиями его возможного демарша.

Буквально накануне назначенного празднования, 10 сентября, посол попросил Нессельроде уведомить императора о принятом им окончательном решении не участвовать в предстоящих торжествах. По свидетельству Мэзона, вице-канцлер пришел в неописуемое волнение. Как он скажет об этом императору? Воздевая руки к небу, глава русской дипломатии эмоционально, что было ему совсем не свойственно, пытался повлиять на Мэзона, но маршал был тверд в своем решении. В завершение беседы он предложил Нессельроде объяснить свое отсутствие на церемонии плохим самочувствием после падения с лошади на последних маневрах русской гвардии, где маршал присутствовал в качестве почетного гостя. Кстати, этот инцидент действительно имел место, правда, без каких-либо серьезных последствий для здоровья французского посла.

Как и было предписано специальным регламентом, торжественная церемония открытия Александровской колонны началась в 8 часов утра 11 сентября с Божественной литургии в Александро-Невской лавре, служившейся в присутствии императора Николая Павловича. По ее окончании центр праздника переместился на площадь перед Зимним дворцом, где под залпы артиллерийских орудий взору гвардии, армии и многочисленных гостей была явлена предварительно задрапированная колонна. Торжества в столице продолжались до позднего вечера.

На следующее утро маршал Мэзон направил в Зимний дворец, к императору своего адъютанта де Ларюка с письмом, в котором давалось объяснение его отсутствию на вчерашнем празднике. Предполагалось, что Николай I должен был принять Ларюка в своем кабинете, но в последний момент, уже перед самой аудиенцией, французский офицер был приглашен к генерал-адъютанту графу Александру Христофоровичу Бенкендорфу, которому император поручил принять письмо маршала Мэзона. Вручив Бенкендорфу конверт и обменявшись принятыми в таких случаях любезностями, Ларюк распрощался и покинул Зимний дворец.

В донесении графу де Риньи, отправленном 13 сентября, Мэзон сообщил, что завершившиеся празднества сопровождались награждениями памятной медалью за взятие Парижа в марте 1814 года. Среди тех, кто ее получил, Мэзон назвал членов прусской военной делегации, специально прибывшей на торжества, а также прусского посланника, генерала фон Шёлера, который, по словам Мэзона, с гордостью демонстрирует ее всем на своем мундире. «Было бы излишним говорить Вашему превосходительству, — писал Мэзон министру, — что мое отсутствие произвело здесь сильнейшее впечатление. Одни меня осудили, зато другие поддержали. Но я не мог поступить иначе, в противном случае было бы задето наше национальное достоинство»[107].

Пока маршал Мэзон размышлял о том, как отразится на франко-русских отношениях его демонстративное отсутствие на устроенном царем национальном празднике, 14 сентября в резиденцию посла Франции неожиданно явился флигель-адъютант императора с именным пакетом, в котором содержалось высочайшее приглашение на большие маневры собранных в окрестностях Петербурга войск гвардии и армии. Уклониться и от этого приглашения посол Луи-Филиппа уже не мог себе позволить. К тому же, как он признался в донесении министру, «мне очень хотелось увидеть, какое впечатление произвело на Императора мое отсутствие на недавней церемонии»[108].

«Вчера, — докладывал посол в другом донесении, 17 сентября, — я оправился в Царское Село, близ которого было сосредоточено до 80 тысяч войск. Вопреки ожиданиям, я был принят Императором весьма благосклонно... Он полностью

одобрил мое поведение. Я могу отнести эту благосклонность в заслугу господину Нессельроде, который сумел объяснить Императору резоны моего отсутствия на церемонии открытия колонны...»[109].

Таким образом, инцидент был исчерпан. Посол Франции сумел защитить достоинство своей страны, а император Николай смог понять и оценить поведение маршала Мэзона, действовавшего исключительно по собственной инициативе, на свой страх риск, так как он не имел на этот счет никаких инструкций от своего министра иностранных дел.

Реакция из Парижа последовала лишь месяц спустя, когда Мэзон получил от графа де Риньи лаконичную резолюцию следующего содержания: «Королевское правительство полностью одобряет позицию, которую Вы заняли по случаю военного празднования, имевшего место в Санкт-Петербурге»[110].

Отношения между Россией и Францией из-за этого протокольного инцидента как будто бы не пострадали. Впрочем, со времен Июльской революции 1830 года они, как уже говорилось, и без того находились не в лучшем состоянии, и присутствие посла Франции на устроенном императором Николаем праздновании ни в коей мере не улучшило бы их.

В заключение остается лишь сказать, что маршал Мэзон весной 1835 года покинет Санкт-Петербург, получив назначение на пост военного министра Франции. На министерском посту ветеран наполеоновских войск пробудет чуть менее полутора лет и в сентябре 1836 года выйдет в отставку. Остаток дней он проведет в семейном кругу. 14 февраля 1840 года он умрет и будет похоронен со всеми подобающими его званию и заслугам почестями. Имя маршала Мэзона увековечено на Триумфальной арке, на площади Этуаль Шарль де Голль, наряду с другими сподвижниками Наполеона по военным походам.

«Дело» подполковника Гедеонова, или Исповедь нераскаявшегося доносчика

В двадцатых числах апреля 1834 года российский посол в Париже граф Карл Осипович Поццо ди Борго получил от вице-канцлера графа Карла Васильевича Нессельроде пред-

писание. В нем послу поручалось незамедлительно заняться делом некоего Федора Дмитриевича Гедеонова, неведомо как оказавшегося во французской столице, хотя всем русским подданным еще в августе 1830 года велено было покинуть пределы Франции, где Июльская революция покончила с режимом реставрации Бурбонов, навязанным стране после крушения наполеоновской империи.

17 апреля 1834 года император Николай I подписал указ, подтверждающий запрещение подданным Российской империи находиться во Франции без высочайшего на то соизволения. Судя по всему, информация о Гедеонове поступила в Петербург по каналам Третьего отделения от одного из его парижских агентов. «Императору стало известно, — писал вице-канцлер 11 апреля 1834 года в шифрованной депеше российскому послу, — что находящийся в настоящий момент в Париже г-н Федор Гедеонов, в прошлом майор одного из уланских полков, возымел намерение отправиться в Египет и вступить там в [военную] службу. ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО желает, чтобы Вы дали почувствовать этому офицеру всю непристойность для бывшего русского военного поступления на службу к Мехмед Али (Мухаммеду Али, правителю Египта. — *П. Ч.*). Если, тем не менее, Гедеонов будет упорствовать в своем намерении, Ваше Превосходительство должны объявить ему, что вступление в ряды египетской армии навсегда разорвало бы его связи с Россией»[111].

Граф Поццо ди Борго незамедлительно приступил к выполнению данного ему поручения. Сотрудники российского посольства в Париже поспешили разыскать отставного уланского майора и пригласили его на встречу с послом. Вот что пишет об этом вице-канцлеру сам Поццо ди Борго в донесении, датированном 17 мая 1834 года:

«...Сразу же по получении распоряжения Вашего Превосходительства по поводу майора Гедеонова, я поспешил вызвать его в посольство и сообщить ему о касающихся его указаниях. Этот офицер подтвердил мне, что он действительно имел намерение вступить в иностранную службу, а именно к египетскому паше, но, узнав о том, что ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО не одобрил этого решения, он немедленно отказался от исполнения своего плана. Засвидетельствовав мне в самых почтительных выражениях искреннейшее желание

посвятить свою жизнь службе ИМПЕРАТОРУ, он попросил меня принять его прошение, адресованное ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ. Я согласился с этим, и беру на себя смелость переслать Вашему Превосходительству прилагаемое прошение...»[112].

В этом прошении излагается печальная история разоблаченного доносчика, отвергнутого офицерской средой, вынужденного оставить службу и даже покинуть родину, спасаясь от общественного презрения. Самое любопытное: это случилось вскоре после 14 декабря 1825 года, когда потрясенное русское общество будто бы впало в оцепенение, проводив на эшафот и в сибирские рудники тех, кто еще вчера считался его украшением. Тяжелая, гнетущая обстановка, казалось бы, благоприятствовала доносам и доносчикам. Однако история улана Гедеонова не подтверждает этого, неопровержимо свидетельствуя о сохранении понятий дворянской чести в среде российского офицерства николаевской эпохи. Исповедь Федора Гедеонова перед императором Николаем I настолько красноречива, что есть смысл воспроизвести ее полностью[113]:

ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО!
ВСЕАВГУСТЕЙШИЙ ГОСУДАРЬ!

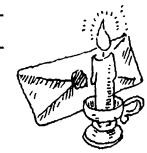
Повеление ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА объявлено мне было Господином Послом Графом Поццо ди Борго, вследствие его осмеливаюсь прибегнуть к Милосердию моего ИМПЕРАТОРА! Как верноподданный, прошу удостоить прочесть письмо; может быть, я буду столь счастлив, что оного достаточно будет, дабы охранить меня от предубеждения и гнева моего ГОСУДАРЯ.

Стечением обстоятельств доведен я был до крайности и отчаяния; общественное подозрение изгнало меня из Отечества. Преследуем таким несчастием с 1827 года, со времени открытого мне случайно заговора. Смело могу сказать: что ни что, как преданность к ВАШЕМУ АВГУСТЕЙШЕМУ ДОМУ и любовь к Отечеству, решили меня открыть [заговор]; зная заранее, что, не имея очевидных доказательств, я повергал себя законному наказанию, а более еще общественному омерзению как ложный доносчик. Жертвуя стократ более чем жизнию, я не мог думать о награде, не желал оной и даже страшился, чтоб

какая-либо награда за неизвестную услугу не навредила б мне в общественном мнении, что к несчастию и случилось. ГОСУДАРЬ! Простите мне, что осмеливаюсь сие сказать: не жалоба, а желание оправдаться в мнении моего ИМПЕРАТОРА ныне меня к этому понудило.

Бог вспомоществовал моему усердию: объявленное мною оказалось справедливым. Я в милость и в награду просил оставить услугу мою в неизвестности. И что мне было более желать? Провидение само меня вознаградило, охранив от оскорбительного подозрения, даровало способ доказать усердие мое ВАШЕМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, вследствие чего имел счастие обратить [на себя] внимание моего ГОСУДАРЯ.

Спустя несколько месяцев лестным отзывом Графа Иван Ивановича Дибича я был восхищен, но не изъявил иного желания, как просил опубликовать случай сей, дабы тем прекратить невыгодные догадки о скрытности службы моей распространившие[ся]. ВСЕМИЛОСТИВЕЙШАЯ пожалованная мне награда подтвердила во мнении [эти догадки]. Не смея отказаться от оной, а чтоб оправдать ее на поле чести, просил об определении меня в Действующую Армию. При отправлении моем, на вопрос Его Сиятельства о дальнейших моих желаниях, отвечал: чтобы быть употребленну чаще в дело. Его Сиятельство благоволил сообщить моему Начальству, дабы дана была мне возможность к достижению моего желания, но и сей знак милости послужил мне к подозрению.



Участвуя в кампании 1828-го года, в октябре месяце я заболел, в 1829 году ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ уволен был в бессрочный отпуск, а через 7 месяцев от службы [уволен], с повышением чина, но неожиданно. Недоверие начальства и товарищей удержало меня утруждать об определении паки в полк. Трехлетнее старание [мое] к определению на штатное место было безуспешно: куда и кому ни являлся с прошением, получал учтивый отказ. Видел ясно, что никто не желал иметь меня под своим Начальством, и избегали моего общества; поначалу мне невозможно было нарушением наложенной на меня тайны оправдаться в общественном мнении; ныне же и не поверят.

Шесть лет находился я в сем горестном положении; потерял время службы, прожил движимость; без протекции, а всего нестерпимее — у всех в подозрении. Мог ли я существовать

в моем Отечестве? К усугублению моих бедствий у меня есть жена и сын.

ГОСУДАРЬ! Имея полную доверенность к справедливости ВАШЕЙ, опытами удостоверен в милостивом расположении ВАШЕМ к каждому из подданных, но не осмелился утруждать ВАС из опасения, дабы просьба моя не показалась укоризненной жалобой. И на кого было мне жаловаться; двусмысленное положение мое оправдало общую ко мне недоверенность.

Наконец я решился оставить мое Отечество с намерением скрыть от ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА неприятности, мною перенесенные, а долговременным отсутствием полагал оправдать несправедливость павшего на меня сомнения.

С сею мыслию оставил я Отечество, имея твердым намерением, что где бы Бог не привел меня исполнять новую мою обязанность, ни на минуту не престать быть верноподданным ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА и вернуться достойну имени Русского.

Смею удостоверить ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО, что не страх наказания, а усердие мое к ВАМ отклонили меня от вступления в Иностранную службу, ибо с той минуты, как извещен я был несколько месяцев тому назад, что намерение мое противно моему ИМПЕРАТОРУ, я переменил оное. Не имея за себя ходатаев, не находил иного средства к оправданию моему, как предоставить времени и выжидать случая; писать не решился по неуверенности, удостоите ли оное прочесть.

Ныне же, по объявлению ВЫСОЧАЙШЕЙ ВАШЕЙ ВОЛИ и обнадеживанию Его Сиятельства, что письмо мое доставлено будет ВАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, осмеливаюсь писать и изложить причины, побудившие меня к сей крайности. Ежели они недостаточны к оправданию моего поступка, без ропота повинюсь наказанию. Но осмелюсь просить, в знак усердия моего, благоволите доставить средство к окончанию воспитания моего сына, и тем заменить ему Отца.

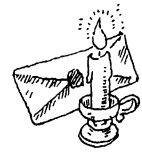
ГОСУДАРЬ! Не усумнитесь чтоб таликое повиновение было следствие недостатка. Могу удостоверить, что пока силы есть, не краснея добуду необходимое и до унижения не дойду. Ежели же Бог поможет мне оправдаться пред моим ИМПЕРАТОРОМ, за счастие почту посвятить дни мои на службу

ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА. Какая бы не воспоследовала ВОЛЯ ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, со всегдашней покорностию оную исполню.

ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА
ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕГО моего ГОСУДАРЯ
Верноподданный Федор Гедеонов
Отставной Курляндского Уланского полка подполковник
1834 года Мая
Париж.

Из письма следует, что в 1827 году уланский майор Гедеонов донес начальству о возникшем в полку тайном кружке, о чем ему, по всей видимости, стало известно от кого-то из состоявших в нем офицеров. Начальство приняло надлежащие меры, виновные подверглись наказанию, а верноподданнический поступок майора Гедеонова был отмечен самим Императором.

Иначе отнеслись к поступку Гедеонова в полку. Для сослуживцев он превратился в мерзкого доносчика, которому было не место в их среде. А «лестный отзыв» о Гедеонове начальника Главного штаба генерала от инфантерии графа И. И. Дибича лишь усилил «общественное омерзение», объектом которого стал майор Гедеонов.



В 1828 году начинается война с Турцией. В предстоящей кампании Гедеонов увидел единственный шанс на спасение испорченной репутации. Его рапорт о направлении в Действующую Армию был удовлетворен. 8 апреля 1828 года, как свидетельствуют документы Инспекторского департамента Главного штаба, Гедеонов переводится в Курляндский уланский полк и отправляется в расположение Дунайской армии — к театру военных действий.

Однако фортуна явно отвернулась от ретивого майора. Едва прибыв в полк, Гедеонов неожиданно заболел. По документам Главного штаба, с 1 октября 1828 года по январь 1829 года он находился «в букарестском госпитале за болезнию, быв одержим лихорадкою»[114]. А 19 июля 1829 года майор Гедеонов был «уволен в отпуск до излечения болезни, с производством получаемого жалования»[115]. Прошло еще полгода, но Гедеонов так и не вернулся в строй. По-видимому, командованию надоело ждать. Дежурный генерал Главного штаба, генерал-адъютант

Алексей Николаевич Потапов подал императору соответствующую записку, и 6 февраля 1830 года последовало распоряжение: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР Высочайше повелеть соизволил уволить от службы Курляндского Уланского полка майора Гедеонова, о чем и внесть в Высочайший приказ»[116].

Сам Гедеонов с обидой напишет, что уволен он был «неожиданно», так как никакого прошения на этот счет не подавал. «Ныне, — как сообщал 28 февраля 1830 года в Комиссариатский департамент Военного министерства генерал-майор Шатилов, вице-директор Инспекторского департамента Главного штаба, — майор Гедеонов Высочайшим приказом от 6-го сего февраля уволен от службы подполковником и с мундиром...»[117]. Необходимо заметить, что полученый при увольнении чин подполковника никак не мог удовлетворить уязвленное самолюбие Гедеонова.

Главные же испытания ожидали отставного подполковника в его новой жизни штатского человека. Видно, недобрая молва шла впереди него. Все попытки Гедеонова найти место на «штатной» (гражданской) службе были тщетными. «Видел ясно, что никто не желал иметь меня под своим Начальством, и избегали моего общества» — так объясняет свои неудачи сам Гедеонов. После нескольких лет безуспешных поисков места, прожив «движимость», отвергнутый обществом, Гедеонов вынужден был покинуть Россию, оставив там жену и сына. Судя по всему, это произошло в 1833 году.

Оказавшись во Франции и не найдя там применения своим способностям, подполковник Гедеонов в отчаянии решил предложить свои услуги правителю Египта Мухаммеду Али, реформировавшему тогда армию на европейский манер и потому искавшему опытных и грамотных офицеров. Намерения Гедеонова, как мы уже знаем, стали известны русскому посольству в Париже, которое получило приказ воспрепятствовать бывшему улану в осуществлении его намерения.

Нежелание Николая I видеть своего подданного в рядах армии Мухаммеда Али объяснялось тем, что египетский паша, союзник Франции, был непримиримым противником султана, которого тогда энергично поддерживал русский царь, опасавшийся установления преобладающего господства Франции на Ближнем Востоке. Дело дошло до того, что в разгар так называемого Египетского кризиса 1831—1833 годов царь,

по просьбе султана, высадил на берегах Босфора русские десантные части, которые остановили продвижение египетских войск к Константинополю и спасли тем самым Блистательную Порту. Положение Турции было упрочено заключением 8 июля 1833 года Ункяр-Искелесийского союзного оборонительного договора с Россией. Понятно, что появление в армии Мухаммеда Али русских волонтеров никак не отвечало тогдашним внешнеполитическим интересам Российской империи.

Содержание прошения Федора Гедеонова, адресованного императору Николаю Павловичу, казалось, не оставляло сомнений в искренности его автора, который изъявлял готовность подчиниться любому приказу своего государя. Именно так оценили письмо Гедеонова в Петербурге, откуда последовало распоряжение российскому послу обеспечить «быстрейшее возвращение» Федора Гедеонова «на его родину».

«...Император соблаговолил ознакомиться с прошением подполковника Гедеонова... который в 1827 году уже был удостоен Его Высочайшей благосклонности, — читаем мы в письме вице-канцлера графа Нессельроде графу Поццо ди Борго от 4 августа 1834 года. — Его Величество расположен к тому, чтобы выказать новое благоволение к судьбе одного из своих подданных, но только в случае, если он вернется в Россию»[118].

Доведя до сведения Федора Гедеонова высочайшую волю, Поццо ди Борго, по всей видимости, не сомневался в том, что она немедленно будет им исполнена. Каково же было удивление посла, когда ему сообщили о нежелании Гедеонова возвращаться в Россию, несмотря на обещанные императором милости. «Господин вице-канцлер! — докладывал Поццо ди Борго 24 сентября 1834 года графу Нессельроде. — Я поспешил сообщить подполковнику Гедеонову содержание письма, которое Ваше Превосходительство имели честь направить мне 4 августа по его поводу. Этот офицер ответил мне, что ничто так не волнует его сердце, как желание вернуться в Россию, но что, к сожалению, он вынужден отсрочить свое возвращение до того момента, когда получит ожидаемые им средства для погашения образовавшихся здесь долгов. Желая облегчить ему возможность вернуться в Санкт-Петербург, в той степени, в какой это зависит от меня, — продолжал Поццо ди Борго в докладе вице-канцлеру, — я посоветовал ему договориться

с его кредиторами, одновременно предложив ему средства отправиться в Россию через Гавр. Он с готовностью принял мое предложение, и я уже заказал для него место на корабле, как вдруг он сообщил мне, что никак не может выехать, поскольку не сумел полностью удовлетворить своих заимодавцев. Таким образом, — завершал свое донесение в Петербург Поццо ди Борго, — положение дел остается без изменений»[119].

Положение не изменилось и в дальнейшем. Под разными предлогами Гедеонов отказывался покидать Париж. Трудно сказать, каковы были истинные причины «невозвращенчества» Гедеонова — долговые обязательства во Франции или нежелание вновь оказаться изгоем в русском обществе. К сожалению, кроме тех сведений, которые он сам сообщил о себе в прошении императору, о Гедеонове почти ничего не известно. В его армейском «досье», хранящемся в РГВИА, нет даже обычного для офицера послужного списка; лишь служебная переписка на 7 листах по поводу «увольнения от службы Курляндского Уланского полка майора Гедеонова».

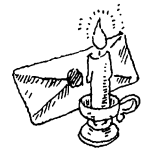
Остаются невыясненными и его родственные связи. Можно лишь предположить, что подполковник Федор Дмитриевич Гедеонов находился в родстве с известным деятелем николаевской эпохи, директором Императорских театров, действительным тайным советником и обер-гофмейстером двора Александром Михайловичем Гедеоновым. Зато достоверно известно, что Федор Гедеонов прожил в Париже еще сорок три года.

...22 января 1878 года парижский нотариус мэтр Гатин и г-н Адлер, атташе Императорского Российского Генерального консульства в Париже, в присутствии комиссара полиции Готье и мадемуазель Сежурнан, консьержки дома № 78 по бульвару Сен-Жермен, составили опись имущества, оставшегося после смерти российского подданного, подполковника в отставке Федора Дмитриевича Гедеонова, умершего 4 декабря 1877 года в занимаемой им квартире по адресу: бульвар Сен-Жермен, дом № 78, принадлежащий мадам Дюран. Судя по описи имущества, сохранившейся среди бумаг российского генконсульства в Париже, отставной русский подполковник в Париже не бедствовал, хотя и не имел особого достатка. Занимаемая им небольшая квартира из нескольких комнат была обставлена мебелью красного дерева. Стоимость принад-

лежавшего покойному имущества была оценена в 1571 франк, не считая обнаруженной в квартире наличности (140 франков и 4 рубля 40 копеек). К этому можно добавить найденные у Гедеонова ценные бумаги на общую сумму 2141 франк 90 су[120]. Гедеонов жил в полном одиночестве, и потому было принято решение оставить его описанное имущество на временное хранение у консьержки, мадемуазель Сежурнан, вплоть до обнаружения возможных наследников Гедеонова в России, о чем была составлена соответствующая доверенность.

Остается только гадать, что делал все эти сорок с лишним лет в Париже подполковник Гедеонов и чем зарабатывал себе на жизнь? Возможно, ответ на этот вопрос кроется в бумагах Третьего отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Известно, например, что другой тогдашний «невозвращенец», штабс-капитан лейб-гвардии Павловского полка Яков Толстой, в середине 30-х годов становится тайным агентом Третьего отделения в Париже и в течение тридцати лет будет служить для русского правительства важным источником информации о положении во Франции.

Итак, история горемычного подполковника Гедеонова, начавшаяся в 1827 году в России, завершилась в декабре 1877 года с его смертью в Париже. Он прожил долгую жизнь и, если судить по его «исповеди» перед Николаем I, не раскаивался в совершенном им доносе на своих товарищей по полку. Но что интересно: полагая донос долгом каждого верноподданного, Гедеонов тем не менее не рискнул вернуться в Россию, несмотря на высочайше обещанные милости. Это обстоятельство дает основание предположить, что вынесенное ему на родине общественное порицание имело для бывшего улана большее значение, чем даже благоволение государя.



В связи с этим делом любопытна судьба некоторых других доносчиков того времени.

Английский выскочка Шервуд, унтер-офицер 3-го Украинского уланского полка, вступивший летом 1825 года с шпионскими целями в Южное общество и выдавший его участников и их планы, был осыпан высочайшими милостями и всего за восемь лет дослужился до полковничьих эполет. Однако его дальнейшая карьера была перечеркнута новым доносом, который оказался ложным. За лжесвидетельство и оговор полковник Шервуд, несмотря на его прежние «заслуги», был посажен

в Шлиссельбургскую крепость, а затем сослан в смоленскую деревню под секретный надзор местного жандармского управления.

Капитан Вятского пехотного полка Аркадий Майборода, состоявший с августа 1824 года членом Южного общества, в ноябре 1825 года донес на своих товарищей, был поощрен переводом в гвардию и очень скоро, как и Шервуд, стал полковником. В январе 1844 года неожиданно для всех он кончает жизнь самоубийством, о мотивах которого можно только догадываться.

Подпоручик лейб-гвардии Егерского полка Яков Ростовцев, сообщивший Николаю Павловичу о плане Северного общества поднять восстание в Петербурге, лично участвовал в его подавлении и даже был ранен на Сенатской площади. Через пятнадцать лет он уже генерал-майор, затем — генерал от инфантерии, генерал-адъютант, член Государственного совета. Но воспоминание о «деле 14 декабря» и своем в нем участии преследовало Ростовцева до конца дней, во многом определив направление его государственной деятельности в эпоху Великих реформ.

С воцарением благоволившего к нему Александра II генерал-адъютант Я. И. Ростовцев возглавляет Главный комитет по крестьянскому делу, где решительно выступает за освобождение крестьян с землей, выкуп земли и введение самоуправления крестьянских общин. Он стоял у истоков гласности в законодательном деле, публикуя труды редакционной комиссии возглавляемого им Главного комитета. Преждевременная кончина Я. И. Ростовцева в 1860 году не позволила реализовать отстаиваемый им вариант крестьянской реформы, что имело бы далеко идущие последствия для всего развития России.

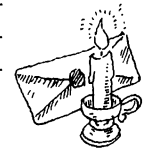
Вчерашний доносчик, ставший ближайшим сподвижником Александра II Освободителя, принимал живое участие в судьбах своих бывших товарищей-декабристов, возвращенных при его содействии из Сибири. Создается впечатление, будто до самой смерти он мысленно спорил с ними о путях преобразования России, всей своей деятельностью доказывая преимущества реформ перед бунтом.

Разные люди — разные судьбы...

Первый шеф российской внешней разведки

Наверное, кого-то это удивит, но своим рождением российская внешняя разведка как организованная государственная служба с разветвленной по всей Европе агентурной сетью в значительной степени обязана... полякам — причем как в прямом, так и в переносном смысле.

Дело в том, что толчком к ее организации стало восстание в Польше, вспыхнувшее в ноябре 1830 года и подавленное русскими войсками к исходу лета 1831 года. Конечно, отдельные признаки существования внешней разведки в России можно обнаружить еще во времена Дмитрия Иоанновича (Донского) или Ивана III, а то и раньше, но всерьез о ее деятельности можно говорить только начиная с императора Николая I. Сразу же оговорюсь, что речь идет не о военной (это отдельная тема), а о политической разведке (и контрразведке).



В 1831 году тысячи польских повстанцев, членов их семей и других приверженцев независимости Польши, спасаясь от преследований русских властей, бежали за пределы Царства Польского. Они осели в разных странах Европы, вызывая сочувствие в обществе, которое оказывало соответствующее давление на правительства и парламенты европейских государств. Именно польские эмигранты постарались создать России крайне неприглядный образ душителя свобод и очага деспотизма, угрожающего «цивилизованной Европе». Полонофильство и русофобия с начала 30-х годов XIX столетия стали важными составляющими европейского общественного мнения.

Третье отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии, возглавляемое генерал-адъютантом графом Александром Христофоровичем Бенкендорфом, не могло не реагировать на появление этой новой угрозы. Борьба с «вредным» влиянием польской эмиграции, развернувшаяся в 1830-е годы, начиналась с попыток определить ее численность, социальный состав и районы расселения по странам Европы. Далее предполагалось добывание сведений о созданных беженцами из Польши организациях, их политических лидерах, об их планах и намерениях, об эмигрантских печат-

ных изданиях, о связях эмиграции с правительственными и парламентскими кругами стран пребывания, наконец, об источниках финансирования польских организаций. Необходимая информация должна была собираться по всем возможным каналам, в частности, с помощью внедряемых в польские эмигрантские организации тайных агентов.

Наряду с получением информации о деятельности польской эмиграции, Третье отделение предусматривало организацию различного рода, как бы мы сейчас сказали, контрпропагандистских мероприятий, главным из которых считалось помещение в газетах и журналах европейских стран статей, разоблачающих несостоятельность обвинений эмигрантов по адресу России, ее императора и его политики в Царстве Польском.

Русские агенты искали и, надо сказать, всегда находили в Европе покладистых редакторов и журналистов, тех, кто соглашался за определенную плату публиковать статьи, прославляющие благодеяния русского царя в Польше. При этом в Петербурге со временем придут к осознанию необходимости помогать пишущей братии, готовой сотрудничать, не только материально, но и путем предоставления необходимых для написания заказных статей фактических данных, включая статистические, свидетельствующих о созидательной русской политике в Царстве Польском (открытие школ, больниц, строительство дорог и т. д.).

Не случайно первыми руководителями зарубежных «филиалов» российской тайной полиции (в XX веке их назовут резидентурами) стали выходцы из Польши, навсегда связавшие свою судьбу со службой Российской империи.

Важнейшую роль в организации заграничной агентурной сети Третьего отделения, ставшей прообразом российской внешней разведки и контрразведки, сыграл Адам Александрович Сагтынский. Более двадцати лет — с конца 1834-го и до середины 1856 года — он был третьей по значению фигурой (после А. Х. Бенкендорфа и Л. В. Дубельта) в российской тайной полиции. В то же время он всегда оставался в тени своих знаменитых начальников. О нем мало что известно даже большинству профессиональных историков.

Сохранившиеся в Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ) в фонде Третьего отделения немногие доку-

менты, относящиеся в Адаму Сагтынскому, и прежде всего его Формулярный список[121], конечно же, не позволяют воссоздать объемный портрет этого незаурядного человека, но все же дают возможность хотя бы в общих чертах проследить основные вехи его биографии.

По происхождению Адам Сагтынский был польским шляхтичем и до конца дней принадлежал к римско-католической церкви, что не мешало ему преследовать своих единоверцев и соотечественников в тех случаях, когда они выступали против русского царя. Он родился в 1785 году (некоторые документы датируют его рождение 1786 или 1787 годом). О том, где он получил образование, сведений нет. Известно, однако, что уже в юности Адам хорошо знал несколько иностранных языков.

В российскую государственную службу Сагтынский вступил в апреле 1810 года. В марте 1812 года в чине губернского секретаря он был направлен в русскую администрацию Валахского княжества на должность старшего переводчика. Через полгода Сагтынский был переведен переводчиком в российское посольство в Константинополь, а в ноябре 1813 года назначен в том же качестве в Саксонию, незадолго до того освобожденную русской армией от французов.

В апреле 1816 года Адам Сагтынский возвращается на родину в должности канцелярского чиновника Военной канцелярии главнокомандующего Польской армией, великого князя, наследника-цесаревича Константина Павловича. В апреле 1819 года его переводят в Комиссариатский департамент Главного штаба при великом князе Константине Павловиче. Там он делает быструю карьеру, достигнув к 1830 году 5-го классного чина (статский советник), что соответствовало армейскому званию полковника.

Великий князь выделял Сагтынского из числа своих ближайших сотрудников и доверял ему наиболее ответственные поручения, в частности организацию политического сыска на территории Царства Польского.

Успешная карьера Адама Сагтынского была прервана восстанием, вспыхнувшим в Варшаве в ноябре 1830 года. Самому Константину Павловичу тогда едва удалось спастись. Он бежал из Варшавы в Вержбно, а затем перебрался в Белосток, где с верными ему частями дождался подхода основных сил

русской армии во главе с генерал-фельдмаршалом И. И. Дибичем, посланным на подавление восстания. Правда, великий князь уже не вернется ни в Варшаву, ни в Петербург. 15 июня 1831 года он умрет в Витебске от холеры.

Что касается Сагтынского, то он не успел бежать из охваченной восстанием Варшавы. Его схватили и отправили в Ченстохов, откуда перевели для проведения над ним следствия и последующего суда в местечко Лихов. В августе 1831 года он был освобожден из плена войсками генерал-лейтенанта Ф. В. Ридигера. Вместе с корпусом Ридигера он проследовал в Краков, а затем в Варшаву.

В сентябре 1831 года Сагтынский вернулся на службу под начало нового наместника Польши, светлейшего князя Варшавского, генерал-фельдмаршала графа И. Ф. Паскевича-Эриванского. Он был назначен членом двух комиссий. Первая из них занималась изъятием из Польского банка и инвентаризацией конфискованных повстанцами ценностей, принадлежавших покойному великому князю Константину Павловичу. Вторая комиссия собирала и приводила в порядок дела и бумаги Главного штаба и гражданских ведомств Польского наместничества.

Когда работа обеих комиссий была завершена, Сагтынский начал хлопотать о своем переводе в Петербург. Ужасные картины варшавского восстания и пребывание в плену у мятежников оставили у него самые тягостные воспоминания, и он горел желанием посвятить свою жизнь борьбе с революционным движением, представлявшим, по его убеждению, смертельную опасность для государства и общества. К тому же Главный штаб, в котором Сагтынский служил с 1819 года, после подавления восстания, согласно начатой Паскевичем реорганизации управления наместничеством, подлежал расформированию. Да и вообщей Адам Александрович не хотел больше ни служить, ни жить в Польше. Он мечтал перейти на службу в Третье отделение, к графу Бенкендорфу.

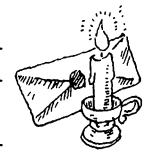
Варшавское начальство не сразу одобрило планы Сагтынского, который считался одним из лучших чиновников. С ним не хотели расставаться. Но в сложившихся обстоятельствах ему не стали препятствовать в намерении продолжить службу в Петербурге. Дело в том, что все дела, относящиеся к политическому сыску, в том числе и среди польской эмиграции, по-

сле подавления восстания были переданы в исключительное ведение Третьего отделения. До 1830 года великий князь Константин Павлович не допускал «голубое ведомство» в Польшу, целиком полагаясь на собственный сыск. Восстание обнаружило всю его слабость, и после смерти великого князя Бенкендорф добился включения Польши в сферу компетенции Третьего отделения.

5 сентября 1832 года начальник штаба главнокомандующего в Варшаве генерал-лейтенант Кривцов направил на имя генерал-адъютанта Бенкендорфа отношение следующего содержания:

«...Чиновник 5-го класса Сагтынский, служивший до мятежа в бывшем Главном штабе Е. И. Выс-ва, в Бозе почивающего Государя Цесаревича, отправляясь ныне по разрешению Его Светлости господина главнокомандующего Действующей армии генерал-фельдмаршала [Паскевича] в С.-Петербург, желает иметь честь служить под начальством Вашего Высокопревосходительства.

Как сей чиновник по отличным его познаниям и благонадежности во время служения его при Блаженной памяти Государя Цесаревича заслуживал всегда особенное доверие начальства и по всем возлагаемым на него поручениям, особливой тайны требовавшим, оказывал усердие и успех, а потому, отдавая полную справедливость сему чиновнику, с равным усердием и успехом исполнившему и последнее, возложенное здесь начальством на него поручение по Комиссии, учрежденной в Варшаве под моим председательством для разбора и приведения в порядок расстроенных во время мятежа дел по Главному штабу и Канцелярии Блаженной памяти Государя Цесаревича, долгом моим поставляю всепокорнейше предать таковое засвидетельствование благоуважению Вашего Высокопревосходительства...»[122]



В середине сентября 1832 года Сагтынский был уже в Петербурге, где, прежде чем явиться для представления графу Бенкендорфу, получил Аттестат, подписанный генералом от инфантерии графом Дмитрием Дмитриевичем Курутой, «состоящим при особе Е. И. В.». Генерал хорошо знал Сагтынского с той поры, когда служил в Польше при великом князе Константине Павловиче в качестве начальника его Главного штаба.

В 1831 году Курута принимал участие в подавлении польского восстания. «За мужество и храбрость» в сражениях под Вильно и на Понарских высотах он был награжден орденом Св. Георгия 3-й степени и получил императорский вензель на эполеты. В конце 1831 года Николай I вызвал его в Петербург и назначил состоять при своей особе.

В Аттестате, подписанном генералом Курутой, отмечалось, что чиновник 5-го класса Сагтынский «в продолжение свыше пятнадцатилетнего времени вел себя всегда беспорочно и весьма достохвально, продолжал служение с отличным усердием, рвением, рачительностью и знанием; все возлагаемые на него поручения исполнял с успехом и с пользой для службы, чем обратил на себя внимание Начальства, а наипаче Блаженной памяти покойного Государя Цесаревича, по повелению которого употребляем был по секретным и другим важным делам, требовавшим расторопного и благонадежного чиновника»[123].

Далее Курута отметил «отличное усердие и деятельность» Сагтынского в приведении в порядок расстроенного за время восстания делопроизводства Главного штаба и Канцелярии Польского наместничества. «В засвидетельствование чего с особенным удовольствием дан сей [Аттестат] подписанием моим и с приложением герба моего печати», — завершал свою рекомендацию генерал Курута[124].

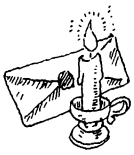
С такими поручителями, как генералы Кривцов и Курута, Адам Сагтынский мог быть уверен в том, что его карьера будет успешно продолжена.

Вскоре после аудиенции у Бенкендорфа, на которого поляк произвел самое благоприятное впечатление, 28 ноября 1832 года состоялся высочайший указ о зачислении статского советника Сагтынского чиновником «для особых поручений» с ежегодным окладом в пять тысяч рублей. Правда, первое время он будет состоять не при Третьем отделении, а при Военном министерстве. Дело в том, что Сагтынскому поручили привести в порядок поступившие из Варшавы в Военное министерство документы и ценности, принадлежавшие ранее великому князю Константину Павловичу. Он с успехом справился с поручением, заслужив «Высочайшее благоволение». А в январе 1834 года Сагтынский удостоится ордена Св. Станислава 3-й степени.

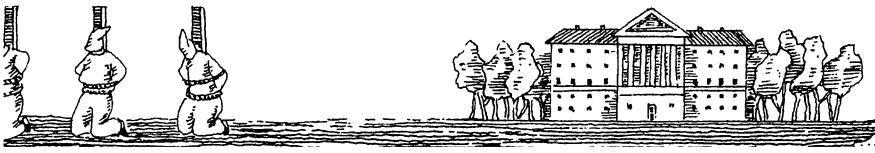
С этого времени он на долгие двадцать два года обосновался в Третьем отделении. В ноябре 1836 года Сагтынский будет произведен в действительные статские советники. Помимо чинов, ревностная служба Сагтынского будет отмечаться орденами, высочайшими благодарностями и пожалованием земель[125].

Адам Александрович Сагтынский был закоренелым холостяком, но в отличие от многих из них он вел уединенный образ жизни, сторонясь женского и прочего общества. В Варшаве, а потом и в Петербурге он проживал с двумя своими сестрами, старыми девами. Наверное, они были его единственными преданными друзьями. Со временем Сагтынский приобретет в Петербурге каменный дом, который будут вести его сестры, окружившие единственного брата всеми возможными удобствами. Он отвечал им самой трогательной заботой. Когда умрет старшая из сестер, он останется с младшей, к тому времени ослепшей, и все свободное от службы время будет проводить с ней.

Александр Иванович Герцен, встречавшийся с Сагтынским в 1840 году, описывает его следующим образом: «старик, худой, седой, с зловещим лицом», говоривший «каким-то зловещим голосом». Правда, в другом месте у Герцена Сагтынский уже заговорил «апатическим голосом, с притязаниями на тонкую учтивость»[126]. Кстати, тот же Герцен, не имевший никаких оснований любить жандармское ведомство и его служителей, признал, что Сагтынский предупреждал его быть осторожнее в разговорах. «Почем вы знаете, — наставлял он Герцена, — что в числе тех, которые с вами толкуют, нет всякий раз какого-нибудь мерзавца, который лучше не просит, как через минуту прийти сюда с доносом»[127].



Есть и другие свидетельства, что Сагтынский презирал доносчиков, хотя, понятно, и не мог обходиться без их услуг. Любопытно, что в этом он был единодушен со своим начальством — Бенкендорфом и Дубельтом. Видимо, в напоминание об известных из Евангелия 30 сребрениках информаторы Третьего отделения получали, в зависимости от их социального положения и ранга, суммы, начинающиеся с цифры 3: три, тридцать, триста рублей или червонцев...[128] Этот порядок установил лично граф Бенкендорф.



На Фонтанке Сагтынский формально, вплоть до добровольного выхода в отставку в 1856 году, числился чиновником для особых поручений. В его функции входил надзор за внутренним сыском и руководство заграничной агентурой Третьего отделения. Именно Сагтынский находился на постоянной связи с резидентами и агентами. Он первым читал их донесения и составлял инструкции, утверждавшиеся Бенкендорфом (а впоследствии сменившим его во главе Третьего отделения графом А. Ф. Орловым) или Дубельтом.

Как уже говорилось, первоначальную основу заграничной агентурной сети составили выходцы из Польши, которые, как и Сагтынский, навсегда связали свою судьбу с Россией, — Швейцер, Мейер, Миллер и некоторые другие. Все они до восстания 1830–1831 годов служили в варшавской канцелярии великого князя Константина Павловича. Затем, спасаясь от возможной расправы, бежали в Петербург, где их способностям нашли новое применение — в Третьем отделении. Уже в 1832 году «варшавяне» по большей части разъедутся по европейским странам с заданием собирать материал о польской эмиграции и бороться с ее «пагубным» влиянием. А Адам Сагтынский из Петербурга будет направлять их деятельность.

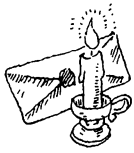
В 30-е годы подавляющее большинство зарубежных агентов и информаторов Третьего отделения составляли иностранные подданные, по большей части журналисты — Кобервейн, Дюран, Декен, Гартман, Бакье (Баке, он же Сен-Леже), Берли, Ведеке, де Кардонн и другие, — получавшие соответствующее денежное вознаграждение. Агенты-иностранцы были весьма удобны, так как не привлекали к себе ненужного внимания полиции. Со временем, однако, выяснится, что многие из них интересовались главным образом получаемыми из Петербурга гонорарами, а информацию для Третьего отделения зачастую черпали из местных газет. С такими агентами сотрудничество прекращалось, как только становилось ясно, что они бесполезны или тем более — не искренни.

Русские агенты, работавшие тогда за границей, были еще редкостью — Н. А. Кашинцев, М. М. Попов и кое-кто еще. Поступавшая от них информация, как правило, вызывала больше доверия в Третьем отделении, нежели сообщения иностранцев, которых можно было подозревать в корыстных побуждениях. Следует отметить, что своеобразные разведывательные

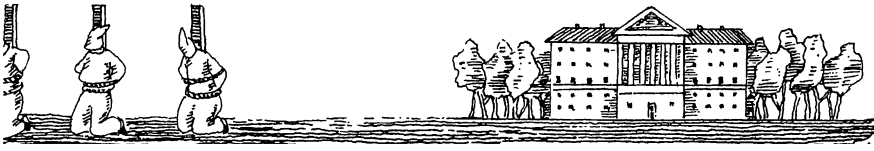
функции выполняли и русские дипломаты, служившие в зарубежных представительствах. Конечно, в подавляющем большинстве они не были агентами Третьего отделения, но собираемая ими информация нередко затрагивала круг интересов ведомства графа Бенкендорфа, и в этом случае сообщалась ему специальными отношениями из российского Министерства иностранных дел или непосредственно от посла в той или иной стране.

Сфера интересов заграничной агентурной сети Третьего отделения, конечно же, не ограничивалась польской эмиграцией и ее антирусскими планами. В середине 30-х годов из «польского» вектора в деятельности заграничной агентурной сети выделилось общеразведывательное направление, обеспечивавшее сбор информации о внутреннем положении в ведущих европейских странах, их экономике, военном потенциале и внешней политике под углом зрения интересов национальной безопасности России. Бенкендорф, Дубельт и Сагтынский проявляли пристальный интерес к общему «направлению умов» в Европе.

Наиболее внимательно зарубежные резидентуры Третьего отделения следили за проявлениями революционных тенденций в европейских странах, представляющих потенциальную угрозу для России. С этой же точки зрения агенты наблюдали за благонадежностью русских подданных, по разным причинам выезжавших за границу. Кстати, эта обязанность возлагалась также на посольства России за рубежом. В 40-е годы у охранного ведомства появится еще одна важная забота — следить за появившимися в Европе русскими политическими эмигрантами, выступавшими с критикой, а то и с обличениями существующих в России порядков.



Вплоть до осени 1837 года работу немногочисленных в ту пору агентов за пределами России координировал надворный советник (с 1843 года — статский советник) барон Карл Фердинандович Швейцер, заурядный литератор и журналист. Скромные литературные способности Швейцера в глазах руководителей Третьего отделения с лихвой компенсировались его редким талантом в добывании нужной информации. К тому же барон был сведущ по части конспирации. Он, как и Адам Сагтынский, пришел в Третье отделение в 1832 году,



но в отличие от первого сразу же был откомандирован работать за границу.

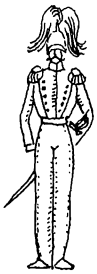
Организовав с согласия австрийских властей свою штаб-квартиру в Вене, барон Швейцер совершал оттуда частые и продолжительные выезды в Пруссию, в другие германские княжества, а также во Францию, Швейцарию и Бельгию. Он изучал политическую обстановку в странах, которые посещал, инструктировал работавших там агентов, пытался организовать «полезные» для русского правительства публикации в местных газетах, нередко выступая в них со своими статьями «в защиту России». Обширные, если не сказать больше, географические рамки его деятельности и крайняя интенсивность работы были не по силам одному, даже такому талантливому и опытному агенту, как барон Швейцер. Сагтынский, находившийся с ним на постоянной связи, понимал это, но долго не мог подыскать ему достойного помощника, который взял бы на себя часть забот Швейцера.

Наконец такой человек был найден — Яков Николаевич Толстой, отставной гвардии штабс-капитан, в прошлом — старший адъютант Главного штаба[129]. На него переложили наиболее ответственный участок работы — Францию. Именно здесь обосновалось наибольшее число беженцев из Польши, и именно французское правительство, а в еще большей степени общество оказывали полякам всю возможную поддержку. Именно Париж считался главным очагом антирусских настроений в Европе. Одним словом, условия для столь деликатной деятельности, как разведка и контрпропаганда, были здесь самые неблагоприятные.

Тем не менее Яков Николаевич Толстой успешно справлялся со своими обязанностями. В скором времени возглавляемая им резидентура станет лучшей из всех заграничных «филиалов» Третьего отделения. Самого Толстого современный французский историк профессор Мишель Кадо называет не иначе как «шпионом столетия»[130]. Что касается барона Швейцера, то на его «попечении» оставили Австрию, Пруссию и ряд других германских княжеств.

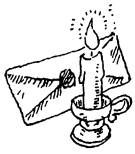
Адам Александрович Сагтынский поддерживал постоянные контакты с резидентами, инструктируя их по всем важным вопросам. В архивных фондах Третьего отделения хранятся десятки томов переписки русских резидентов и отдельных

агентов с Сагтынским за двадцать лет. Они еще ждут своих исследователей. Вся эта переписка велась на иностранных языках, преимущественно на французском и немецком.

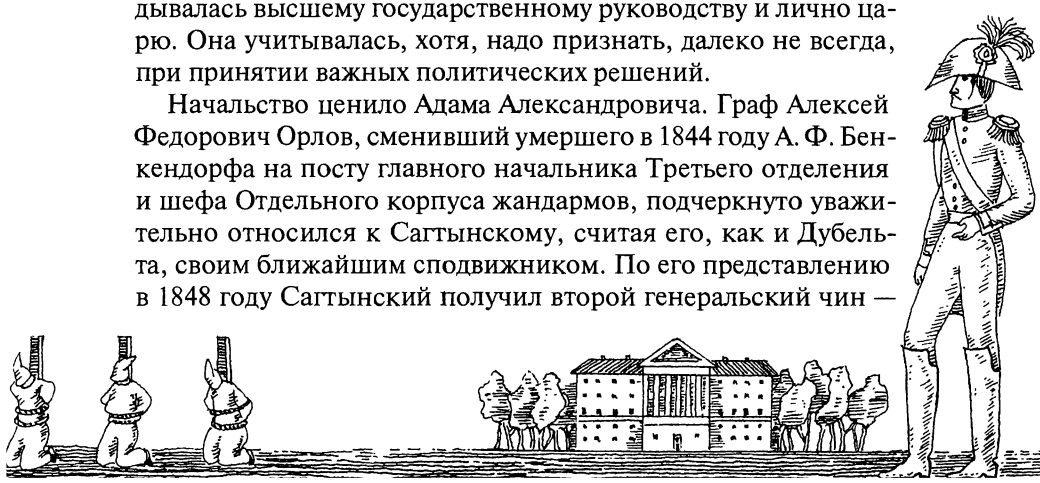


Время от времени шеф внешней разведки совершал инспекционные поездки по европейским столицам (известно о его загранкомандировках в 1838, 1840 и 1845 годах), где лично встречался с резидентами и на месте разрешал возникавшие проблемы. Так, в 1838 году, посетив Париж, он разбирался в конфликте между Яковом Толстым и одним из его агентов, Бакье (агентурный псевдоним — Сен-Леже). По возвращении в Петербург Сагтынский составил доклад на имя Бенкендорфа, в котором безоговорочно поддержал Толстого, дав самую высокую оценку его деятельности. В результате интригану Сен-Леже было объявлено о прекращении сотрудничества. Ему даже был запрещен въезд на территорию Российской империи под угрозой ареста.

За те двадцать лет, что Сагтынский руководил зарубежной агентурной сетью Третьего отделения, при его непосредственном участии были выработаны основные принципы и правила разведывательной деятельности, которыми будут руководствоваться последующие поколения российских разведчиков. Была создана первоначальная организационная структура внешней разведки и контрразведки, позволявшая решать ставившиеся перед ними задачи. На протяжении 30-х — первой половины 50-х годов XIX века резидентуры, созданные под руководством Сагтынского, собирали богатый материал о внутреннем положении, экономике, финансах и оборонительном потенциале ведущих европейских государств, об их внешнеполитических целях и устремлениях. Вся эта информация в обобщенном виде (а нередко и отдельные донесения) докладывалась высшему государственному руководству и лично царю. Она учитывалась, хотя, надо признать, далеко не всегда, при принятии важных политических решений.



Начальство ценило Адама Александровича. Граф Алексей Федорович Орлов, сменивший умершего в 1844 году А. Ф. Бенкендорфа на посту главного начальника Третьего отделения и шефа Отдельного корпуса жандармов, подчеркнуто уважительно относился к Сагтынскому, считая его, как и Дубельта, своим ближайшим сподвижником. По его представлению в 1848 году Сагтынский получил второй генеральский чин —



тайного советника, а два года спустя, в 1850 году, был отмечен орденом Св. Анны 1-й степени с короной.

В начале 1850-х годов, предчувствуя приближение войны, которую впоследствии назовут Крымской, Сагтынский ориентировал зарубежные резидентуры на добывание информации о намерениях Турции, Англии, Франции, Австрии и других европейских стран в связи с возникновением так называемого Восточного кризиса. Особое внимание уделялось получению информации о перемещениях сухопутных и морских сил вероятных противников, о стратегических планах, разрабатывавшихся в их штабах, а также о новейших разработках в области вооружений. Вся добытая информация своевременно сообщалась высшему начальству. Работа на этом направлении не прерывалась и в ходе Крымской войны 1853–1856 годов.

С окончанием войны и подписанием Парижского мира в Третьем отделении произошли крупные, как бы мы сейчас сказали, кадровые перемены.

Благодаря твердости графа А. Ф. Орлова, возглавлявшего русскую делегацию на переговорах об окончании Крымской войны, условия Парижского мира оказались менее тяжелыми для России, чем могли бы быть. Именно так оценил подписанный мирный договор Александр II, осыпав вернувшегося в Петербург Орлова своими милостями. Граф Алексей Федорович был возведен в княжеское достоинство и назначен председателем Государственного совета и Кабинета министров.

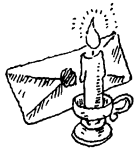
В связи с новым высоким назначением Орлов оставил должность главного начальника Третьего отделения, предполагая передать это место своему ближайшему помощнику, Леонтию Васильевичу Дубельту, который страстно к этому стремился. Однако Александр II решил иначе. Во главе Третьего отделения в июне 1856 года он поставил своего доверенного человека, генерала от кавалерии князя Василия Андреевича Долгорукова, бывшего военного министра.

Обманутый в своих ожиданиях Леонтий Васильевич немедленно подал в отставку с поста управляющего Третьим отделением и начальника штаба Отдельного корпуса жандармов. Император принял отставку, смягчив ее производством генерал-лейтенанта Дубельта в генералы от кавалерии.

Новым управляющим Третьим отделением стал 38-летний генерал-майор свиты Е. И. В. Александр Егорович Тимашев. Этот пост он будет занимать в течение пяти лет. В 1861 году Тимашев перейдет на службу в Министерство внутренних дел, которое и возглавит в 1868 году.

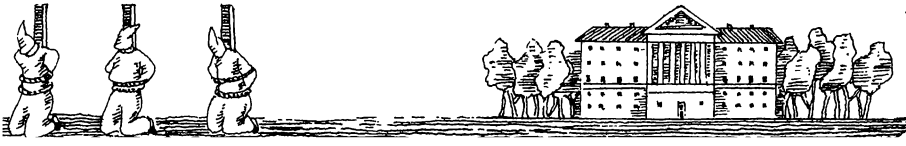
Перемены в Третьем отделении коснулись и тайного советника Адама Александровича Сагтынского. Он рассудил, что в его почтенном возрасте будет трудно налаживать отношения сразу с двумя новыми руководителями тайной полиции. Но главное, думается, заключалось в том, что многоопытный и искушенный в политике Сагтынский, воспитанный в правилах сурового николаевского царствования, не мог не почувствовать новых веяний, обозначившихся с воцарением Александра II. Он не находил в себе ни сил, ни желания приноравливаться к наступавшим переменам, внушавшим ему смутную тревогу.

Так или иначе, но 20 июня (с. с.) 1856 года 71-летний ветеран разведки и политического сыска подал на высочайшее имя прошение. Упомянув о том, что он более сорока шести лет посвятил государственной службе, Адам Александрович писал: «Желал бы и ныне продолжать службу Вашего Императорского Величества, но по расстроенному здоровью я не в состоянии долго нести оную. А потому всеподданнейше прошу..., дабы повелено было меня за болезнию от службы уволить»[131].



27 июля император Александр II удовлетворил прошение ветерана своей тайной полиции. Адам Александрович был отставлен с «мундиром и пенсией» в размере 2914 рублей 58 копеек серебром в год. Чуть позже Военное министерство сочло возможным предоставить своему бывшему чиновнику[132] дополнительную пенсию в размере 700 рублей 41 копейка серебром (2500 рублей ассигнациями) [133].

Сагтынскому суждено было прожить еще десять лет. Он умрет в своем доме в Петербурге 25 ноября 1866 года на руках у слепой сестры. Незадолго до кончины 80-летний Сагтынский пережил тяжелый удар — известие о покушении некоего Дмитрия Каракозова на священную особу государя императора Александра II — событие совершенно немыслимое в предыдущее царствование, на охране устоев которого бдительно



стоял Адам Александрович. Опасения ветерана политического сыска начинали сбываться...

После его смерти Третье отделение выдаст Жозефине (Иосефе) Александровне единовременное денежное пособие в сумме 300 рублей[134]. Ходатайство о предоставлении ей пожизненной пенсии за умершего брата будет оставлено без удовлетворения. В ответе из Третьего отделения на имя Жозефины Сагтынской, подписанном его новым управляющим, генералом Н. В. Мезенцовым, говорилось, что «назначение Вам пенсии было бы несогласно с существующими на сей предмет узаконениями, из которых изъятия не допускаются»[135].

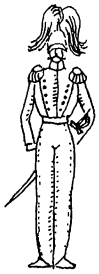
«Это движение умов... не представляет большой опасности»

«Дело Петрашевского» в освещении французских дипломатов

В ночь с 22 на 23 апреля 1849 года жандармские наряды произвели одновременно 33 ареста в различных районах Санкт-Петербурга. Спустя несколько дней число привлеченных к следствию о «злоумышлении» против устоев государственной власти возросло до 120 человек. Общество было буквально потрясено этим чрезвычайным событием. Ничего подобного давно не было в богоспасаемой Российской империи — пожалуй, с декабря 1825 года.

На протяжении восьми последующих месяцев, пока шло следствие, власти старались предельно ограничить информацию по этому таинственному делу, что порождало самые невероятные слухи. Кое-что прояснилось лишь к концу декабря 1849 года, когда Военный суд вынес приговор двадцати обвиняемым, чьи имена получили наконец огласку. Как известно, 15 человек (и среди них 27-летний литератор Федор Михайлович Достоевский) были приговорены к смертной казни, а остальные — к различным срокам каторжных работ и иным наказаниям. Известно также, что император Николай I заменил расстрел каторгой, о чем приговоренные узнали лишь за минуту до приведения приговора в исполнение, когда, с завя-

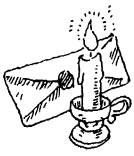
занными глазами они стояли привязанными к столбам в мучительном ожидании выстрелов.



Покров тайны над этим делом сохранялся вплоть до конца царствования Николая I и лишь с восшествием на престол Александра II начал постепенно подниматься. Однако потребовалось несколько десятилетий для того, чтобы дело Петрашевского предстало во всей своей исторической полноте. К настоящему времени оно уже досконально изучено историками[136], и вряд ли нас могут ожидать здесь большие открытия. Ну, разве что какие-то новые, неизвестные ранее свидетельства современников.

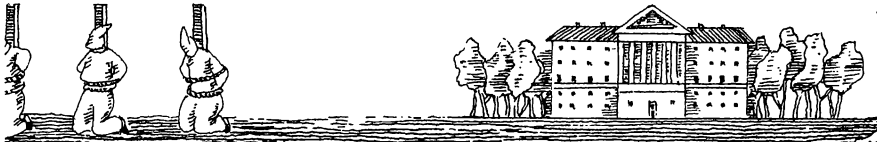
Одно из такого рода свидетельств, принадлежащих дипломатам из посольства Франции в Санкт-Петербурге, служившим там в 1849–1850 годах, я обнаружил в Архиве МИД Франции в Париже. Но прежде чем представить их, напомню суть дела Петрашевского.

В 1845 году выпускник Царскосельского лицея, а к тому времени уже титулярный советник, чиновник Министерства иностранных дел Михаил Васильевич Буташевич-Петрашевский (кстати, крестник самого Александра I) организовал в своем доме кружок единомышленников, почитателей европейской философии, преисполненных побуждениями о народном благе. Здесь регулярно, по пятницам, собирались действующие и отставные офицеры (среди последних — упоминавшийся уже Ф. М. Достоевский, инженер-поручик, начинающий литератор), сослуживцы и коллеги хозяина дома, министерские чиновники, студенты и кандидаты столичного университета, «неслужащие дворяне», писатели (в том числе М. Е. Салтыков-Щедрин) и другие лица, живо интересующиеся социально-политическими вопросами.



«На пятницах» у Петрашевского обсуждались идеи французских социалистов-утопистов. Наибольшей популярностью пользовались произведения Шарля Фурье. В доме руководителя кружка была богатая библиотека запрещенной литературы, представленная сочинениями Ш. Фурье, А. Смита, Л. Фейербаха, Ж. Сисмонди, Л. Блана, П. Ж. Прудона, К. Маркса и Ф. Энгельса.

Постепенно интерес участников кружка и приглашаемых «на пятницы» гостей переместился с философско-умозрительных вопросов в область актуальной политики. Их собра-



ния приобретали все более революционную направленность. Все чаще звучали призывы к ликвидации крепостного права и самодержавия, велись дискуссии о предпочтительности республики перед конституционной монархией. Наиболее радикально настроенные члены кружка (в частности, 28-летний курский помещик Николай Спешнев) выступали даже за немедленную подготовку крестьянского восстания, однако они не были поддержаны большинством.

Участники «пятниц» не подозревали, что в их рядах оказался осведомитель III отделения студент Петр Антонелли, который подробно информировал полицию о том, что происходило на квартире титулярного советника Петрашевского. Посчитав, что полученной от Антонелли информации более чем достаточно, шеф III отделения граф А. Ф. Орлов, с ведома императора, распорядился произвести аресты всех выявленных членов кружка, что и было осуществлено в ночь на 23 апреля (4 мая н. с.) 1849 года. Можно напомнить, что на последнем собрании у Петрашевского (15 апреля) Ф. М. Достоевский зачитывал известное письмо В. Г. Белинского к Н. В. Гоголю, что послужит одним из главных обвинений для начинающего писателя.

Как уже говорилось, дело Петрашевского с самого начала было окутано покровом тайны. Пока русское общество терялось в догадках о том, что же все-таки произошло, иностранные дипломаты в Петербурге старательно собирали всю имеющуюся на этот счет информацию.

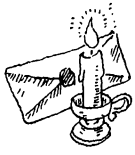
Посольство Франции не составляло здесь исключения. Его переписка с Министерством иностранных дел в Париже по этому вопросу свидетельствует о том, что французским дипломатам удалось получить достаточно полную информацию о деле Петрашевского и дать его объективную оценку. Забегая вперед, можно отметить, что в посольстве Франции не склонны были преувеличивать степень «преступления» Петрашевского и его товарищей, не представлявших, по мнению французских дипломатов, серьезной угрозы для устоев Российской империи. В этом отношении приговор, вынесенный российской Фемидой обвиняемым, должен был скорее удивить французов своей суровостью и явной несоразмерностью совершенному «преступлению». Правда, давать какую-либо оценку самому приговору посольство Франции, по понятным причинам, воздержалось.

Петрашевцы, как уже говорилось, были арестованы в ночь на 23 апреля, а уже 12 мая секретарь посольства Франции в Петербурге месье де Феррье-ле-Вайе, замещавший отсутствующего посла, направил подробную депешу об этом деле министру иностранных дел Э. Друэн де Люису.

«В Санкт-Петербурге, — сообщал дипломат, — только что учреждена Чрезвычайная комиссия для суда над [здешними] социалистами в следующем составе: председатель, генерал Набоков, комендант [Петропавловской] крепости; генерал-лейтенанты Липранди и Ростовцев; князь Павел Гагарин, член [Государственного] совета; князь Александр Голицын, статс-секретарь; князь Долгорукий, заместитель военного министра.

Общее количество обвиняемых — тридцать восемь человек; все они содержатся в крепости. В подавляющем большинстве это молодые служащие различных министерств, в основном — из Министерства финансов, но есть и чиновники Министерства иностранных дел; двое — капитаны егерского полка гвардии.

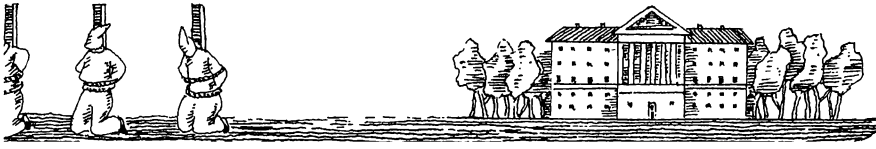
Главный обвиняемый, Петрашевский, постарше остальных, ему около тридцати лет. Говорят, что у него беспокойный ум. На протяжении последних четырех лет, при полном бездействии правительства, он проповедовал социалистические идеи среди крестьян в окрестностях С.-Петербурга, но не преуспел в этом занятии. Его арестовали в момент, когда он агитировал извозчиков вблизи городского кладбища.



Самый известный из обвиняемых — романист по фамилии Достоевский, тот самый, что получил некоторую популярность, опубликовав роман под названием “Бедные люди”, в котором цензура, весьма снисходительная к произведениям такого жанра, просмотрела отнюдь не консервативную направленность.

Один из этих молодых людей, — продолжал Феррьер-ле-Вайе, — был постоянным посетителем некоторых салонов, где собирается изысканное общество С.-Петербурга и где я его неоднократно встречал. Это господин Кашкин. Ему девятнадцать лет, и его, кажется, преследует рок; его отец, замешанный в заговоре 1825 года, провел долгие годы в Сибири.

Все эти люди обычно собирались у Петрашевского, в библиотеке которого имелись почти все публикации социалистической направленности. Говорят, что они создали своего рода



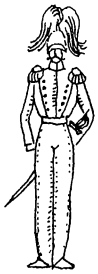
клуб, где получали контрабандой книги и газеты от Консидерана и Прудона, запрещенные цензурой, и даже наладили переписку с вождями французских и германских коммунистов. Я думаю, что в целом это объединение [молодых людей] вдохновлялось, скорее, ребяческим любопытством, нежели стремлением к серьезным действиям, и в этом смысле оно составляет скорее парадокс, нежели заговор»[137].

Как видим, сообщенная французским дипломатом первая информация о деле Петрашевского носила в целом достоверный характер. В депеше впервые высказывается мысль и о том, что это дело не столь серьезно, как пытается представить русское правительство.

Представляют интерес и суждения Феррье-ле-Вайе о «партиях», существующих в России. Речь идет о двух идейно-политических течениях — западников и славянофилов, возникших на рубеже 1830-х — 1840-х годов. Правда, французский дипломат зачисляет в эти «партии» не литераторов и публицистов, как было в действительности, а молодежь. «В среде молодежи, выпущенной из университетов, существует некая славянская партия, — пишет Феррье-ле-Вайе. — Есть и другая партия, — продолжает дипломат, имея в виду западников, — она менее многочисленна и пропитана гегельянскими идеями, заимствованными в Германии. Лет десять — двенадцать назад пошла мода на то, чтобы преуменьшить значение французской цивилизации за счет германской. Тогда в берлинской философии увидели лишь облака, но не предвидели молнии»[138].

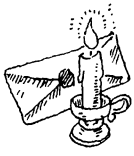
Здесь же Феррьер-ле-Вайе высказывает весьма оригинальную мысль о том, что своим распространением в России западничество обязано не кому иному, как графу Сергею Семеновичу Уварову, министру народного просвещения и главному идеологу николаевской России, автору знаменитой триады «Православие. Самодержавие. Народность». Вот что пишет об этом французский дипломат: «У графа Уварова появилась идея направить в Германию некоторое количество молодых людей, которые должны были по возвращении преподавать в России историю и философию. Он полагал, что эти молодые преподаватели привезут с собой именно философию Гегеля, которая будет иметь на их учеников то же воздействие, что и в самой Германии.

Стоит ли теперь удивляться, что социалистические идеи распространяются здесь среди молодых людей. Цензура, очень жесткая по отношению к газетам, а также к историческим и философским трудам, более чем терпима к романам. Во всех книжных лавках здесь продаются книги Жорж Санд, Эжена Сю и другие, выходящие у нас романы смелого социального звучания. Но пошли еще дальше. Их переводят на русский язык и публикуют большими тиражами в журнале под названием "Библиотека для чтения"...»[139]



К ответственности графа Уварова за распространение либеральных настроений среди русского студенчества Феррьер-ле-Вайе возвращается в другой депеше министру иностранных дел. «Все заговорщики, — сообщал дипломат 25 июня 1849 года, — это молодые люди, недавно выпущенные из университетов. Признано, что они увлеклись этими идеями под влиянием философии Гегеля, с которой их познакомили молодые профессора, которых граф Уваров в свое время отправил в Германию для изучения истории и философии»[140].

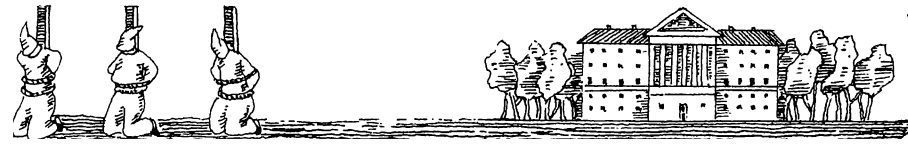
Кстати, примерно то же думал о своем давнем и верном соратнике и сам император Николай Павлович. Одним из последствий дела Петрашевского стало увольнение в отставку бессменного (с 1833 года) министра народного просвещения.



Что касается либералов-западников, то французский дипломат полагал, что они не имеют будущего в России. «...Это движение умов в духе европейских новаций, — отмечал Феррьер-ле-Вайе в донесении от 12 мая 1849 года — не представляет большой опасности, поскольку оно питается совершенно неприемлемыми для народа идеями, которые интересны лишь самим вожакам, не имеющим массовой поддержки.

Напротив, — подчеркивал дипломат, — славянская партия имеет глубокие корни, и поскольку к тому же она исходит из интересов государства, то может самым благоприятным образом способствовать естественному и самобытному развитию русской цивилизации»[141].

В депеше от 25 июня Феррьер-ле-Вайе сообщал о серьезной обеспокоенности Николая I делом петрашевцев. «Говорят, — писал французский дипломат, — что Император, под влиянием и живым впечатлением от этого неожиданного для него происшествия, поначалу намеревался даже закрыть все гражданские университеты, заменив их системой практиче-



ского и военного образования. Однако в конечном счете он прислушался к советам не делать этого и ограничился менее строгими мерами. Отныне в каждом университете не должно быть более 300 студентов. В настоящее время в Петербургском университете насчитывается 900 студентов, а в Московском — 1200. В других университетах количество студентов колеблется в пределах этих двух цифр.

Осуществление принятого решения на четверть сократит гражданское образование в стране. Правда, данное решение было принято не в форме Указа, оно не будет регистрироваться в Совете Империи и публиковаться в "Сенатских Ведомостях". Речь идет о предписании, которое, несомненно, может быть исполнено с осмотрительностью. Но что представляется совершенно очевидным, так это то, что будет обращено самое серьезное внимание на реформу народного образования...»[142]

Так оно и произошло. Другим последствием дела Петрашевского, наряду с отставкой графа Уварова, стала реорганизация системы народного образования с целью ограничения «вредного» европейского влияния на благонравную русскую молодежь.

Тем временем следствие по петрашевцам завершилось, и само дело было передано в Военный суд. Об окончании этой истории имеется свидетельство поверенного в делах Франции в России Голдре-Буало. В депеше на имя министра иностранных дел генерала де Лаитта он сообщал 5 января 1850 года: «Начало 1849 года было отмечено раскрытием тайного общества, цели и намерения которого до сих пор остаются окончательно не выясненными. Оно насчитывало в своих рядах весьма незначительное количество участников: молодые люди, едва получившие образование, в большинстве своем неизвестные обществу, с неясными взглядами.

Полиция очень скоро оказалась осведомленной об их деятельности. Довольно долгое время она выжидала, наблюдая за ними, а потом внезапно провела пятьдесят арестов...

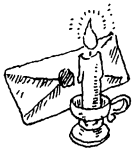
Работа Следственной комиссии продолжалась шесть месяцев. Вследствие доклада, который она представила Императору, некоторые из числа арестованных были выпущены на свободу. Остальные были переданы в военную юрисдикцию и предстали перед судом в составе: генерал Перовский, председательствующий; Строганов, Анненков, Толстой, а также сенаторы —

Лобанов, Дурасов и Веймар. Обвиняемые были приговорены к расстрелу за организацию заговора с целью свержения существующих законов и политического строя Империи.

Казнь должна была состояться на Семеновском плацу, куда были доставлены приговоренные в количестве 21 человека. Им зачитали приговор, завязали глаза, разорвали на них одежду — одним словом, совершили все приготовления к предстоящей казни. И только после этого объявили, что Император сохранил им жизнь. Приговоренные услышали, какая мера наказания следует каждому из них вместо смертной казни.

Петрашевский, признанный следствием главным организатором заговора, приговорен к отправке на рудники в Сибирь, без указания срока. Капитан Львов 2-й, поручики Момбелли и Григорьев — все трое из императорской гвардии — осуждены на каторжные работы в рудниках на сроки от 12 до 13 лет. Самому старшему из них — 27 лет.

По причине его крайней молодости, Кашкин[143] осужден менее строго. Его отправят простым солдатом в один из батальонов на Кавказ.



Гвардейский офицер Пальм, не принимавший непосредственного участия в заговоре, но знавший о нем и не раскрывший его, тем не менее тоже был приговорен к смерти, замененной ему восемью месяцами заключения в военной тюрьме. По отбытии срока ему разрешено будет продолжить в прежнем чине службу в армии.

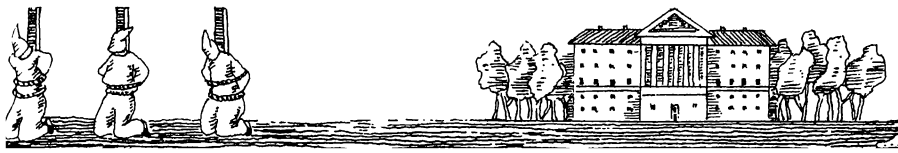
Остальные, среди которых находится романист Достоевский, осуждены с большей или меньшей строгостью, соответственно степени виновности каждого. Одни приговорены к каторжным работам в рудниках, другие — к заключению в крепости или к отправке в солдаты»[144].

Это было последнее сообщение французского посольства в Петербурге о деле Петрашевского.

Была ли неизбежна Крымская война?

Николай I и Наполеон III

Академик Е. В. Тарле, самый авторитетный историк Крымской войны 1853–1856 годов, полагал, что вмешательство Франции и Англии в русско-турецкий конфликт, предрешив-



шее поражение России, в значительной степени стало результатом недальновидной политики Николая I в отношении Парижа, где в то время правил Наполеон III. Говоря о просчетах царя, Тарле, среди прочего, имел в виду высокомерно-пренебрежительное отношение, которое российский самодержец постоянно демонстрировал по отношению к французскому «выскочке»[145].

В какой степени был прав наш именитый историк?

Наряду с уже известными дипломатическими документами, на которые опирался Тарле, ответ на этот вопрос позволяют прояснить документы, недавно обнаруженные мною в ГАРФ, в фонде Третьего отделения Собственной Е. И. В. канцелярии. Речь идет о переписке между Луи-Наполеоном Бонапартом (будущим Наполеоном III) и шефом Третьего отделения графом Алексеем Федоровичем Орловым. Эта переписка датирована 1847–1848 годами. Но прежде чем ознакомить читателей с ее содержанием, необходимо сказать хотя бы несколько слов о младшем Бонапарте.

Будущий французский император родился в 1808 году. Его отцом был брат Наполеона, Людовик Бонапарт, тогдашний король Голландии. Матерью — Гортензия Богарне, дочь императрицы Жозефины от первого брака, удочеренная Наполеоном. Таким образом, новорожденный Луи-Наполеон доводился племянником императору Наполеону и внуком — императрице Жозефине. После падения Первой империи в 1814 году и оккупации Франции Гортензия Богарне, которой покровительствовал Александр I, получила титул герцогини де Сен-Лё, пожизненную пенсию и апанаж (удел) в размере 400 тыс. франков, предназначенный для ее сыновей. В 1828 году уже Николай I купил у герцогини де Сен-Лё для своей галереи в Эрмитаже коллекцию картин старых мастеров. Этот факт покровительства Александра и Николая матери будущего французского императора, как мы увидим, будет иметь свое продолжение.

Вождем бонапартистской партии 24-летний Луи-Наполеон стал в 1832 году, после смерти герцога Рейхштадтского, единственного сына Наполеона, посмертно объявленного Наполеоном II. Поощряемый своими сторонниками, одержимый честолюбием, Луи-Наполеон дважды предпримет попытку государственного переворота — 30 октября 1836 го-

да и 6 августа 1840 года, но обе попытки потерпят неудачу, а сам Бонапарт будет приговорен к пожизненному заключению в форте Ам.

По приказу Луи-Филиппа, известного своим мягкосердечием, именитому узнику были созданы, можно сказать, комфортабельные условия заключения. Луи-Наполеон имел свободу передвижения по крепости и внутреннему двору, чем и воспользовался в мае 1846 года для побега. Через Бельгию он перебрался в Англию, будучи твердо уверен, что его там не выдадут. Такова была старая британская традиция — никогда не выдавать политических беженцев.

Обосновавшись в Англии, Луи-Наполеон развернул активную работу по подготовке очередного заговора с целью свержения слабевшей Июльской монархии. Направляя действия своих сторонников внутри Франции, он стремился заручиться поддержкой за рубежом. Более всего, судя по всему, он рассчитывал на Россию, зная о враждебном отношении императора Николая I к «фальшивой монархии» Луи-Филиппа.

В последних числах апреля 1847 года Луи-Наполеон посетил российского посла в Лондоне барона Филиппа Ивановича Бруннова и передал ему письмо, адресованное шефу Третьего отделения графу А. Ф. Орлову, ближайшему сподвижнику Николая I.

«Уже долгое время одним из моих самых сильных желаний, — писал Бонапарт, — является возможность удостоиться чести быть представленным Императору, так как со времен моего раннего детства я испытываю к монархам этой великой империи чувства признательности, внушенные мне великодушным отношением Императора Александра к моей матери в 1814 году.

Этот мой демарш — не попытка претендента, желающего повлиять на политику Императора; это всего лишь шаг наследника первого солдата Европы, одинокого в этом мире, ищущего как самого большого утешения, которое он мог бы испытать после стольких жестоких испытаний, сочувствия монарха, сердце которого открыто рыцарским чувствам, которые столь редко сегодня можно встретить у коронованных особ.

Каково бы ни было решение Императора, я приму его без всякого ущерба для чувств уважения, которые я к нему питаю.

Я прошу Вас, господин граф, принять на себя роль моего адвоката, и я буду счастлив быть обязанным Вам за столь важную услугу»[146].

Намерение Луи-Бонапарта приехать в Россию для установления непосредственного контакта с Николаем I не на шутку встревожило графа К. В. Нессельроде, главу российского дипломатического ведомства, который настоятельно посоветовал императору отклонить столь бестактную просьбу. Бестактность, по мнению канцлера, состояла в том, что Луи-Наполеон всюду в Европе считался преступником, осужденным судом и бежавшим из заключения. По этой причине, как полагал Нессельроде, русский император не мог себе позволить дать аудиенцию государственному преступнику, пусть даже приговор ему вынесен судом «фальшивой монархии». К тому же с 1846 года наметилась некоторая тенденция к нормализации российско-французских отношений, что не могло не быть известно Бонапарту. Уже одно это обстоятельство делало по меньшей мере нежелательным для императора Николая приезд в Петербург Луи-Наполеона.

В первых числах мая из Петербурга в Лондон с дипломатической почтой на имя Ф. И. Бруннова ушло письмо, предназначенное «графу де Сен-Лё», то есть Луи-Наполеону. В нем говорилось:

«Я ознакомил Императора с письмом, которым Вы почтили меня из Лондона с просьбой исхлопотать Вам от Его Величества разрешение совершить этим летом поездку в С.-Петербург, — писал граф Орлов. — Император не мог не оценить мотивы, которые Вы соблаговолили представить, в особенности достойные чувства признательности, которые Вы выражаете к памяти его Августейшего брата, Императора Александра.

Тем не менее, господин граф, несмотря на сугубо частный характер, который Вы желаете придать этой поездке, Вы сами не можете не сознавать, — я в этом уверен, — что Ваш приезд в Россию, учитывая Ваше политическое прошлое, не преминул бы породить множество толкований, коих предпочтительно было бы избежать, я бы сказал, и в Ваших собственных интересах. Е. В-во надеется, что Вы сумеете понять высказанные соображения и что, по зрелом размышлении, Вы сами откажетесь от идеи этого путешествия. Такое решение — единствен-

но возможное в Вашей исключительной ситуации, не содержит абсолютно ничего, что могло бы затронуть лично Вас. Оно ни в коей мере не лишает Вас той симпатии, которую внушают великие военные воспоминания, связанные с вашей семьей. Мне доставляет удовольствие заверить Вас, господин граф, в моей симпатии и самом высоком уважении»[147].

Вежливый, но недвусмысленный отказ не обескуражил Луи-Наполеона. Он верил в свою звезду и явно рассчитывал на дальновидность русского императора и его министров. Последующее развитие событий со всей очевидностью обнаружит, что лондонский сиделец переоценил способности Николая I и его окружения смотреть хотя бы на два-три года вперед. Даже после Февральской революции 1848 года, похоронившей Июльскую монархию, в Петербурге не склонны были всерьез принимать этого изгоя. Между тем и депеши российского посланника во Франции Н. Д. Киселева, и донесения парижского резидента Третьего отделения Я. Н. Толстого свидетельствовали о подъеме бонапартистского движения и росте популярности Луи-Наполеона.

Через месяц после Февральской революции, напугавшей Петербург не меньше, чем Июльская революция 1830 года, Бонапарт, остававшийся пока в Лондоне, но уже готовившийся к возвращению в Париж, предпринимает вторую попытку найти взаимопонимание с Николаем I. При этом он проявляет высшую степень доверия к царю, буквально рискуя своим политическим будущим. В конфиденциальном письме на имя графа Орлова от 28 марта 1848 года Луи-Наполеон говорит, что понимает всю степень угрозы, исходящей от революции во Франции для «спокойствия Европы». Он заверяет Орлова, а через него — Николая I в своих миролюбивых намерениях и в своей готовности навести во Франции порядок, в котором жизненно заинтересованы все европейские государства. Он говорит о своей растущей популярности во Франции. Но для восстановления порядка ему требуется не только доверие, но и деньги. «Имея в своем распоряжении один миллион франков в год до достижения поставленной цели, автор этих строк берется быстро достичь желаемых результатов в интересах как можно более скорого установления спокойствия в Европе, — пишет Луи-Наполеон. — По серьезности моего демарша пусть судят о серьезности интересов! По моему глубокому доверию

к Вам пусть судят об искренности моих чувств», — добавляет он[148].

И действительно, такое безграничное доверие Луи-Наполеона к сохранявшим ледяную сдержанность русским адресатам не может не поражать. Если бы это письмо каким-то образом получило огласку, то политическая судьба его автора была бы навсегда погублена. Он никогда не стал бы ни президентом, ни императором. Более того, ему бы даже не позволили вернуться во Францию. Скорее всего, он провел бы остаток жизни в изгнании, презираемый всеми.

Как объяснить такую степень откровенности Луи-Наполеона с Николаем I?

Здесь можно предположить две причины. Во-первых, как, видимо, справедливо полагал Луи-Наполеон, никто в Европе не опасался возможных последствий Февральской революции больше, чем русский царь, который должен быть заинтересован в локализации и последующей ликвидации революционного взрыва. Во-вторых, готовя свое возвращение во Францию, Луи-Наполеон лихорадочно искал деньги для реализации своих далеко идущих замыслов, не имевших ничего общего с планами «февральских» революционеров-республиканцев. Он искренне надеялся, что осознание нежелательных международных последствий революции во Франции должно подтолкнуть царя на оказание финансовой помощи единственному человеку, способному укротить революционную стихию, как это сделал Наполеон Бонапарт 18 брюмера 1799 года.

Но в Петербурге словно не замечали протянутую руку дружбы. Там по-прежнему не желали всерьез воспринимать Луи-Наполеона как перспективную политическую фигуру, видя в нем лишь сбежавшего из тюрьмы преступника. Недалекое будущее покажет, что не только в либеральном Лондоне, но даже в полуабсолютистских Вене и Берлине найдутся куда более трезвомыслящие политики, свободные от легитимистских предрассудков. Но об этом речь впереди.

Так или иначе, но Николай I отказал Луи-Наполеону в финансовой поддержке. Не слишком вежливый отказ последовал и на другую просьбу Бонапарта — принять в Петербурге его доверенное лицо банкира Аристида Феррера, уполномоченного провести переговоры о возможной покупке для Эрмита-

жа коллекции картин и предметов антиквариата, оставшихся у Луи-Наполеона после смерти матери, общей стоимостью 21 400 английских фунтов. В паспорте на въезд в Россию Ферреру было решительно отказано, а в личной беседе с Луи-Наполеоном барон Бруннов заявил, что «музей Эрмитаж весьма богат картинами и... не нуждается в новых приобретениях»[149]. Все это происходило в конце августа 1848 года, всего лишь за месяц до триумфального возвращения Луи-Наполеона во Францию.

Интересно, как бы повел себя Николай I, если бы знал, что через три месяца, в декабре 1848 года, Луи-Наполеон станет президентом Французской республики, а затем и императором Франции?.. Впрочем, это вопрос из разряда риторических.

Так или иначе, но первоначальные надежды Бонапарта на Россию потерпели неудачу. Но не менее очевиден и грубый политический просчет Николая I в отношении Луи-Наполеона. Этот просчет, допущенный в 1847–1848 годах, был усугублен в последующие годы, предшествовавшие Крымской войне.

Как уже говорилось, царь был крайне встревожен Февральской революцией во Франции, начавшей распространяться на другие страны Европы. Так, революция в Венгрии едва не сокрушила Габсбургскую империю, и лишь военное вмешательство России в 1849 году предотвратило эту, казавшуюся неминуемой перспективу.

Не имея возможности (как, впрочем, и оснований) для аналогичной интервенционистской акции в отношении революционной Франции, Николай I, как в свое время его бабка, Екатерина II, стал уповать на то, что французская революция постепенно изживет сама себя и неизбежно, словно опасная эпидемия, сойдет на нет. Как и Екатерина, он ожидал, что в самой Франции явится человек, способный обуздать революционную стихию и восстановить порядок. В 1799 году таким человеком стал Наполеон Бонапарт, в июне 1848 года — генерал Кавеньяк, в декабре 1851 года — Луи-Наполеон.

Любопытно, что в Петербурге из двух последних предпочли бы видеть во главе Франции не Луи-Наполеона с его претензиями на возрождение бонапартистской империи, а правого республиканца Кавеньяка, жестоко подавившего в июне 1848 года народное восстание в Париже. Но в декабре 1848 го-

да Кавеньяк проиграл президентские выборы Луи-Наполеону и тем самым выпал из политического расклада. В глазах Николая I откровенный республиканец, хотя и враг, все же предпочтительнее нового Бонапарта с его идеями «народной монархии». Памятуя о «злоумышлении» 14 декабря 1825 года, царь не без оснований полагал, что идеи «народной», то есть конституционной, монархии могут найти в России куда больше сторонников, нежели республика. Поэтому Кавеньяк и был предпочтительнее Луи-Наполеона. Но, увы, первый проиграл битву за власть, и потому поневоле приходилось иметь дело с принцем Бонапартом, хотя тот и вызывал очевидные опасения.

И все же решающим для русского самодержца обстоятельством стало то, что 2 декабря 1851 года Луи-Наполеон, следуя примеру своего великого дяди, покончил с революционным беспорядком, взбудоражившим всю Европу. Поэтому в Петербурге и приветствовали государственный переворот во Франции, старясь не думать о других его возможных последствиях — как бы племянник и в остальном ни пошел по пути дяди...

Поначалу казалось, что в отношениях между Россией и Францией после 18 брюмера (2 декабря) 1851 года наступила долгожданная и устойчивая оттепель.

«Император и канцлер империи [граф К. В. Нессельроде] очень благоприятно восприняли новость о событиях 2 декабря», — сообщал из Петербурга французский посланник Жак де Кастельбажак министру иностранных дел Луи де Тюрго. Посланник отметил, что император и канцлер оценили смелый шаг принца-президента как добрый знак на пути «к восстановлению спокойствия во всей Европе»[150]. Позднее, на аудиенции, данной Кастельбажаку, Николай I выразил французскому посланнику «чувства уважения, симпатии и восхищения благоразумным, умелым и энергичным образом действий принца Луи-Наполеона»[151].

Действия принца-президента по реорганизации государственного управления и меры, принимавшиеся им в социально-экономической области, о чем в Петербурге узнавали из депеш Киселева и донесений Толстого, пока еще вызывали одобрение у царя. В начале апреля 1852 года, обсуждая с французским посланником последние декреты, подписанные

Луи-Наполеоном, русский император скажет Кастельбажаку: «Нужно быть справедливым — на всем, что делает принц-президент, лежит печать правительственного гения. Он один взял на себя смелость бросить прямой вызов демагогии[152], Европа должна быть ему признательна и обязана поддержать его. Многие опасались войны. Это абсурдно, и я не перестаю повторять: "Да хранит его Бог!"»[153].

Пройдет всего лишь восемь месяцев, и Николай I резко изменит свое отношение к Бонапарту и его политике.

21 ноября 1852 года французские избиратели были приглашены на плебисцит по вопросу о новом государственном устройстве Франции — сохранение республики или восстановление империи. 76 процентов избирателей отвергли дискредитировавший себя республиканский строй и высказались за империю, возглавляемую наследником великого Бонапарта. 2 декабря (все то же символическое 18 брюмера!) 1852 года принц-президент Луи-Наполеон был провозглашен «императором французов» под именем Наполеона III. Недолговечная Вторая республика прекратила свое существование, уступив место Второй империи[154].

Для Европы провозглашение во Франции империи не стало неожиданностью. После 18 брюмера 1851 года мало кто сомневался, что Луи-Наполеон пойдет до конца в реализации своих давних планов — реставрации наполеоновской империи. Тем не менее появление в составе «оркестра» европейских государей нового лица — Наполеона III — вызвало явное замешательство как среди «помазанников Божьих», так и у конституционных монархов. Для одних он по-прежнему оставался бежавшим из тюрьмы государственным преступником, другие считали его удачливым разбойником с большой дороги. Но главную опасность европейские дворы усматривали в самой идее возвращения к наследию Наполеона. А тот факт, что вчерашний президент республики короновался под именем Наполеона III (тогда как Европа не признавала существования Наполеона II), мог означать намерение Франции разорвать Парижский мирный договор 1815 года и вернуться к завоевательным химерам основателя Первой империи. Именно так оценили появление на европейской политической сцене Наполеона III бывшие участники антифранцузской коалиции — Англия, Австрия, Пруссия и Россия.

Самую непримиримую позицию занял Николай I, отклонивший все доводы французской дипломатии в пользу принятия принцем-президентом титула Наполеона III. Еще до проведения плебисцита министр иностранных дел Франции Э. Друэн де Люис в разговоре с русским временным поверенным в делах князем Куракиным пытался обосновать предстоящий выбор имени будущего императора. При этом министр постарался деполитизировать возложение на себя президентом Бонапартом титула Наполеон III. «У президента республики три имени, — напомнил Друэн де Люис, — Шарль, Луи и Наполеон. Назваться ему Карлом XI? Это было бы абсурдом. Принять имя Людовик XIX? Опять нелепость... Предоставим же Луи-Наполеону принять титул, который ему нравится, и не будем его осуждать за то, что он будет называться так, как того желает Франция»[155].

Вернувшийся в Париж из отпуска незадолго до плебисцита 2 декабря русский посланник Н. Д. Киселев по поручению Николая I буквально умолял Луи-Наполеона отказаться от намерения провозгласить империю, а себя — императором Наполеоном III, называя все это «политической ошибкой». «Ведь имя Наполеон III, — убеждал Киселев президента республики, — это совершенно новое изобретение».

«Вы ошибаетесь, — ответил Луи-Наполеон. — Это имя настолько не новейшего изобретения, что уже в 1833 году, после кончины дюка Рейхштадтского, появились мои портреты с именем Наполеон III. Впрочем, успокойтесь! На одном имени Наполеона сосредоточены все чувства Франции. Только ему обязан я тем, что я теперь есть и что мне возможно было сделать для страны. Все население, при моих посещениях, никогда иначе меня не приветствовало, как этим именем, и никогда не кричало Луи-Наполеон. Наконец, вообще Наполеон известен народу, и только это имя я должен хранить, чтоб действовать согласно воле и вкусу народа»[156].

Русский дипломат продолжал настойчиво убеждать Луи-Наполеона в необходимости отказаться от принятия императорского титула. Чтобы прекратить бессмысленную дискуссию, Луи-Наполеон сказал, как отрезал: «Теперь я буду судить о доброй воле держав по скорости, с которой они мне ответят в благоприятном смысле, и, само собою разумеется, мои чувства будут зависеть от этого»[157].

Это многозначительное заявление, дословно воспроизведенное посланником в депеше Николаю I, не произвело должного впечатления на русского самодержца. Оказавшись не в состоянии воспрепятствовать появлению во Франции новой «фальшивой монархии», Николай I не отказал себе в удовольствии ущемить самолюбие «императора французов», и это было очередной его ошибкой. Он демонстративно отказался признать Наполеона III равноправным членом европейской монархической семьи. В верительных грамотах, которые Киселев должен был вручить Наполеону от имени Николая I, вместо положенных в обращении слов — «мой Брат» было написано «Сир и добрый Друг».

Как у Киселева, так и у его петербургского шефа, графа Нессельроде, были вполне обоснованные опасения, что Наполеон III может не принять верительные грамоты с подобным обращением. С помощью сводного брата императора, графа Огюста де Морни, расположенного к России, Киселеву удалось избежать скандала. Наполеон III предпочел не заметить недружественного выпада царя и даже сумел выйти из неловкой ситуации с поистине французским тактом и галантностью. «Бог дает нам братьев, друзей же мы выбираем сами», — примирительно заметил император Киселеву, принимая от него верительные грамоты. Но он, конечно же, не забыл об унижении.

Стремясь избегать конфликтов с внешним миром в период утверждения во Франции новой политической системы, Наполеон III сделал еще один шаг навстречу Николаю I. В середине января 1853 года он направил ему личное письмо, подробно разъяснив причины, побудившие принять императорский титул и назваться именно Наполеоном III. В том же письме Наполеон напомнил императору, что покойный Александр I относился к семейству Бонапарт более дружелюбно, чем к Бурбонам. Это дружелюбие было тем более ценным, что проявилось после крушения Первой империи, когда Александр оказал поддержку императрице Жозефине и ее дочери Гортензии, матери Наполеона III.

Судя по свидетельству французского посла в Петербурге маркиза Кастельбажака, Николай I с нетерпением ждал от Наполеона разъяснений[158], но, получив их, не посчитал нужным менять свою прежнюю позицию. В ответном письме, да-

тированном 29 января 1853 года, русский император не стал обсуждать тему титулования, заметив лишь, что намерен поддерживать «наилучшие отношения» с «добрым Другом». При этом Николай не смог отказать себе в удовольствии еще раз уколоть самолюбие Наполеона, заметив, что не разделяет его мнения о существовавшем якобы расположении своего покойного брата к династии Бонапартов[159]. Столь откровенное проявление невежливости должно было больно задеть Наполеона III.

Между тем королева Англии, австрийский император и прусский король сочли за благо не драматизировать ситуацию, проявив разумный прагматизм и понимание реальностей. Уже 4 декабря 1852 года королева Виктория направила Наполеону III письмо, где называла его «Братом». Вслед за Англией с полноценным признанием императора французов выступили Франц-Иосиф I и Фридрих-Вильгельм IV. Что касается Николая I, то он остался в гордом одиночестве, которое не принесет ему ничего, кроме горечи и унижения.

Кто знает, быть может, в сентябре 1855 года, когда французский триколор был водружен на разрушенных бастионах Севастополя, Николай Павлович и пожалел о том, что так упорно отвергал предложенную ему Луи-Наполеоном дружбу.

Кладбищенская история, или Post scriptum к Крымской войне

В последних числах августа 1857 года Шарль Боден, временный поверенный в делах Франции при дворе Александра II, и его британский коллега выступили с совместным представлением главе МИД России князю Александру Михайловичу Горчакову. Дипломаты, действовавшие по указанию своих правительств, обратили внимание русского министра на факты вандализма в отношении захоронений французских и английских солдат и офицеров, погибших в Крымскую кампанию 1854–1855 годов[160]. Их могилы, разбросанные в разных местах полуострова (наибольшее число захоронений находилось в окрестностях Севастополя), как утверждали иностранные дипломаты, в ряде случаев подверглись осквернению.

Князь Горчаков немедленно распорядился провести проверку сообщенных ему фактов. В Крым с инспекцией был направлен генерал-адъютант князь Голицын. Проведенное им расследование подтвердило многочисленные случаи разрушения надгробий, причем большая часть разрушений, как обнаружила инспекция, имела естественные причины — негативное влияние климатических условий в сочетании с низким качеством наспех изготовленных надгробных памятников. Но не только.

Ревизия князя Голицына выявила и отдельные случаи вандализма. Были даже найдены виновные, сами имена которых должны были повергнуть в шок французского поверенного в делах. В депеше на имя министра иностранных дел графа Александра Валевского он сообщает 16 октября 1857 года, что речь идет о четверых его соотечественниках — Вакье, Сириаке, Курдоне и Бертье. Правда, все они находились в русской службе. Первые трое служили в одном из полков, расквартированных в Крыму, а четвертый был «офицером полиции».

Дипломат добавил, что акты вандализма совершались «при попустительстве, если не сказать больше, высших властей Севастополя». «Русские французы», в частности, разрушали надгробия, стреляя в них, как по мишеням. «В соответствии с русским законодательством, — сообщал Ш. Боден, — трое виновных (Вакье, Сириак и Курдон) будут подвергнуты строгому наказанию за кощунство, так же как и содействовавший этому преступлению Бертье. Князь Горчаков дал мне понять, — добавлял Боден, — что будет снят со своего поста некий высокий местный чиновник, имя которого он мне не сообщил. Князь подтвердил, что два главных виновника преступления — Сириак и Курдон — французы. Что касается Вакье, тоже француза по рождению, то это, как выяснилось, мошенник-банкрот, бежавший в Одессу еще в 1837 году и принявший русское подданство. Князь засвидетельствовал свое глубокое сожаление в связи с этими печальными инцидентами и подтвердил намерение добиться строго наказания виновных»[161].

Эта история, случившаяся, напомним, в 1857 году, станет своеобразной прелюдией к серьезному обсуждению вопроса об иностранных воинских кладбищах в Крыму. О том, как развивались события, можно проследить по документам Архива МИД Франции, обнаруженным мною в Париже.

...Осень 1861 года. Парижская газета «Конституционнель» 17 октября помещает на своих страницах перепечатку публикации из лондонской «Таймс», где выражалось недоумение в связи с тем, что «французское правительство не проявляет никакого интереса к сохранению и защите могил своих павших воинов...».

«Не могу не высказать удивления в связи с бездействием французского правительства», — заметил в своем комментарии автор перепечатки[162].

Газетная публикация вызвала немедленную реакцию со стороны военного министра Франции маршала Жака Луи Рандона. Уже 19 октября он направляет своему коллеге, министру иностранных дел Эдуарду Тувенелю, письмо, в котором среди прочего говорилось: «Я хотел бы просить Ваше превосходительство основательно проверить на месте те факты, которые сообщает корреспондент "Таймс", с тем чтобы, в том случае, если эти факты подтвердятся, мы могли бы принять необходимые меры, способные защитить достоинство правительства Франции и успокоить общественное мнение. Я полагаю, — продолжал маршал Рандон, — что эту ситуацию мог бы прояснить и довести до нашего сведения кто-либо из консульских служащих в Севастополе или в другом из близлежащих городов»[163].

В свою очередь, министр иностранных дел 25 октября, то есть менее чем через неделю, направил соответствующий запрос консулу Франции в Одессе, месье де Сен-Роберу.

Ответ из Одессы пришел только 30 января 1862 года. Консул доложил министру, что направил в Севастополь некоего Жюля Алара, от которого он ожидает ответа, как только вдоль Черноморского побережья России возобновится навигация.

Тем временем 22 мая того же, 1862 года на имя императора Наполеона III приходит письмо из Севастополя, помеченное 10 мая. Автор письма — месье Гийон де Воложе, капитан дальнего плавания, награжденный памятной медалью за участие в Крымской кампании. Трудно сказать, знал ли капитан де Воложе о публикациях в «Таймс» и «Конституционнель», но в своем письме императору французов он сообщал о плачевном состоянии французского кладбища на вершине Малахова кургана. Об этом кладбище, писал обескураженный ветеран, «напоминает лишь невзрачный, почти сгнивший до основа-

ния, деревянный крест, который в скором времени исчезнет, если Франция не позаботится о том, чтобы заменить его». Земля, на которой находится французское кладбище, сообщал капитан Воложе, принадлежит англичанину Ричарду Уоллису, русскому подданному, который там же и проживает. Уоллис постоянно угрожает ликвидировать кладбище и намерен вернуть земельный участок в сельскохозяйственный оборот. Старый моряк выражал надежду, что император Наполеон распорядится привести в порядок кладбище, где похоронены «наши храбрые солдаты». «Должен отметить, сир, — подчеркнул Воложе, — что наши кладбища являют собой грустный контраст в сравнении с кладбищами наших военных союзников, англичан, содержащихся в хорошем состоянии, что само за себя говорит, будто Франция предала забвению своих павших.

Несомненно, — продолжал капитан Воложе, — что никто не информировал Ваше Величество об этом печальном положении вещей, так как путешественники, прибывающие сюда из Франции, крайне редки. Я выражаю надежду, что Ваше Величество простит мне ту смелость, с которой я обращаюсь к Вашему Величеству, и будет считать меня одним из самых преданных своих слуг, ревнителем Вашей славы и славы Франции»[164].

Ознакомившись с письмом, император распорядился активизировать работу по выяснению ситуации с французскими воинскими захоронениями в Крыму.

В это время поступил наконец подробный доклад, составленный консулом Сен-Робером. Доклад полностью подтверждал факты, изложенные капитаном Воложе. Действительно, свидетельствовал Сен-Робер, кладбище в районе Севастополя находится в крайне запущенном состоянии. Памятники разваливаются, деревянные кресты почти сплошь сгнили и рассыпаются. Плачевную картину представляют захоронения девяти генералов и девяти полковников французского Экспедиционного корпуса. С большим трудом можно прочитать имена на генеральских и офицерских надгробиях. О солдатских захоронениях с простыми деревянными крестами и говорить не приходится, с грустью констатировал Сен-Робер.

Из доклада следовало, что предусмотрительное английское правительство давно учредило специальную должность смотрителя кладбища, где царит полный порядок. Сен-Робер пре-

дупредил, что не следует питать никаких надежд на местную (русскую) администрацию в деле охраны французского кладбища. «Само слово полиция, — писал консул, — в России совершенно не соответствует тому значению, которое оно имеет у нас. Русская полиция — это очень сложное для понимания учреждение. Она крайне затратна, и чаще служит инструментом вымогательства взяток, нежели средством обеспечения порядка и безопасности. Возможно, она еще выполняет какие-то политические функции, но не занимается ничем другим, и это настолько хорошо известно в России, что даже в крупных городах каждый, сколь ни будь состоятельный банкир, торговец или лавочник самостоятельно организуют защиту своего имущества и дома, содержа на собственный счет охранника, еженощно несущего свою вахту. Когда, например, в Одессе, — а это третий по значению город в империи, — где существует многочисленная полиция, средь бела дня некие лица снесли ограду прогулочной аллеи, спилили [украшающие ее] деревья и унесли скамьи, то никто из свидетелей этого даже не попытался воспрепятствовать их действиям.

Было бы бесполезно ожидать от представителей местных властей, [все еще] обретающихся среди развалин Севастополя, какой-либо защиты наших кладбищ, находящихся вне поля их зрения, так как последние расположены в 10–12 километрах от города. Следовательно, нужно искать другие средства для наблюдения за нашими кладбищами. В этом смысле полезно бы использовать опыт английского правительства, которое содержит там своего официального агента. Реконструкция кладбища потребует очень крупных затрат в связи с отдаленностью мест захоронения и отсутствием путей сообщения». По оценкам месье Аллара, изучившего по поручению консула Сен-Робера обстановку на месте, приблизительная сумма расходов на реконструкцию кладбища могла бы составить от 10 до 15 тыс. франков и даже более[165].

1 мая 1862 года министр иностранных дел Э. Тувенель переслал полученный из Крыма доклад военному министру маршалу Рандону.

Прошло два с половиной месяца. 12 августа в письме на имя Тувенеля маршал высказал предложение о направлении в Севастополь унтер-офицера инженерных войск с двумя солдатами для осуществления контроля за восстановительными

работами, которые предполагалось поручить некоему французскому предпринимателю, проживавшему в районе Ялты и имевшему своих железнодорожных рабочих. Этот предприниматель был хорошим знакомым консула Сен-Робера, который поручился за его деловые качества и порядочность. По завершении работ следовало бы, продолжал военный министр, учредить должность специального агента по наблюдению за содержанием французских захоронений в надлежащем состоянии.

Министр иностранных дел согласился с предложениями военного министра, и 20 августа 1862 года проинформировал консула в Одессе о планах восстановления кладбища в окрестностях Севастополя.

1 февраля 1863 года консул Сен-Робер сообщил министру (к тому времени Э. Тувенеля сменил на Кэ д'Орсэ Эдуард Друэн де Люис) о принципиальной готовности приступить к восстановительным работам. Консул выслал в Париж схемы реконструируемого кладбища для окончательного согласования сметы предстоящих расходов. Заодно он сообщил, что его знакомый предприниматель из Ялты недавно получил весьма выгодный подряд на строительство императорской резиденции в Ливадии и вынужден привлечь для этого значительное число рабочих, давая объявления в газетах. Тем не менее он готов взяться и за выполнение заказа на восстановление французского военного кладбища.

Сен-Робер сообщил также, что ему предложил свои услуги отставной младший лейтенант 42-го линейного полка Пьер Перрюш, ветеран Крымской войны, в 1858 году перебравшийся в Россию, где он нашел место железнодорожного служащего в Одессе. Когда Перрюш узнал о планах восстановления французского военного кладбища, то сразу же предложил Сен-Роберу свою кандидатуру на должность смотрителя. В письме министру консул охарактеризовал месье Перрюша как человека, хорошо знающего строительное дело, и к тому же свободно говорящего по-русски. Перрюш производит приятное впечатление, сообщал Сен-Робер в Париж, но все же следовало бы получить о нем дополнительные сведения в Военном министерстве. Если у двух министров не возникнет возражений, то, как полагал Сен-Робер, Перрюшу можно было бы дать звание консульского агента с поручением исполнять обязанно-

сти смотрителя французского военного кладбища. Попутно консул заметил, что смотрителем английского кладбища под Севастополем является урожденный грек.

20 мая 1863 года маршал Рандон информирует министра иностранных дел Друэн де Люиса о своем решении направить в Севастополь военного атташе в Санкт-Петербурге полковника Кольсона в сопровождении капитана инженерных войск Безар-Фальга для уточнения обстановки на месте. Военный министр просил своего коллегу дать консулу де Сен-Роберу распоряжение об оказании всевозможного содействия полковнику Кольсону в выполнении возложенной на него миссии.

Получив соответствующее указание, Сен-Робер 19 июня направил новороссийскому генерал-губернатору Павлу Евстафьевичу Коцебу (кстати, участнику обороны Севастополя) извещение о миссии полковника Кольсона, а также о предполагаемом назначении Перрюша смотрителем кладбища.

В это же время в Санкт-Петербурге посол Франции герцог де Монтебелло обсуждал вопрос о французских захоронениях в Крыму с князем А. М. Горчаковым. Министр иностранных дел высказал мнение, что кладбище должно быть одно, пусть даже очень большое. Для этого он предложил выделить для кладбища новую территорию, на которую и следовало бы собрать и перенести из разных мест останки французских солдат и офицеров, разбросанные по полуострову. «Он (Горчаков. — *П. Ч.*) заверил меня, — сообщал 22 июня 1863 года в Париж Монтебелло, — что правительство императора Александра и сам император готовы оказать нам всю необходимую помощь в осуществлении этих благих намерений»[166]. При этом он, однако, подчеркнул, что право собственности на эти территории и захоронения может принадлежать исключительно России. Что же касается французского смотрителя кладбищ, то Горчаков заверил Монтебелло, что «русское правительство не будет препятствовать признанию в этом качестве того лица, которое будет назначено г-ном военным министром [маршалом Рандоном]...»[167].

Получив формальное согласие князя Горчакова, герцог Монтебелло санкционировал отъезд в Крым полковника Кольсона.

Французские офицеры — полковник Кольсон и инженер-капитан Безар-Фальга — незамедлительно отправились в путь, а уже в середине августа от Сен-Робера на Кэ д'Орсэ пришло извещение о том, что под Севастополем полным ходом развернулись работы по восстановлению кладбища. Контроль за ними осуществляет капитан Безар-Фальга, который одновременно занимается воссозданием памятника на месте сражения у речки Альма, в чем ему активно помогает флотский лейтенант Кавелье де Кювервилль.

В разгар работ, в начале февраля 1864 года, неожиданно запросился в отпуск их руководитель, капитан Безар-Фальга, сославшись на неотложную необходимость встретиться с женой, оставшейся во Франции. Начальство неохотно пошло ему навстречу, хотя это было чревато замедлением работ и снижением их качества.

А вскоре после отъезда Безар-Фальга столь же неожиданно возникла проблема с месье Перрюшем, к тому времени уже назначенным смотрителем кладбища. По докладу консула Сен-Робера, смотритель оказался нерадивым работником и склочным человеком, за что консул отстранил его от должности.

На место Перрюша в августе 1864 года был назначен отставной капитан Шефер, тоже ветеран Крымской кампании. Когда в ноябре 1864 года Шефер прибыл в Севастополь, отстраненный Перрюш устроил публичный скандал, отказавшись передавать своему преемнику дела. Первое время консул старался не выносить сор из избы, но в конечном счете вынужден был обратиться к русским властям с настоятельной просьбой выслать распоясавшегося Перрюша из Севастополя, что и было исполнено.

Осенью 1864 года обустройство территории нового кладбища было завершено, и вернувшийся в октябре в Севастополь капитан Безар-Фальга во взаимодействии с начальником городской полиции приступили к эксгумации и перенесению останков французских воинов на новое кладбище.

Наконец работы были завершены, все формальности улажены, и в самом конце 1864 года состоялась церемония открытия французского военного кладбища в присутствии военных и морских властей Севастополя. По предложению посольства Франции в Санкт-Петербурге ряд русских военных, оказав-

ших энергичное содействие успешному завершению работ, были представлены к французским государственным наградам. Командорского креста Почетного легиона были удостоены адмирал Кислинский и подполковник Яновский. Четверо офицеров 3-го батальона полка великого князя Михаила Павловича стали кавалерами Почетного легиона. «Я рад сообщить Вам, господин министр, о том, — писал 21 декабря 1864 года в Париж поверенный в делах Франции в России граф де Массиньяк, — что это затянувшееся дело наконец-то пришло к своему успешному завершению».

В марте 1865 года новый посол Франции в Санкт-Петербурге, барон Шарль де Талейран-Перигор, переслал императору Наполеону III небольшую коллекцию фотографий реконструированного французского военного кладбища, сделанных одним севастопольским фотографом.

Герцог де Монтебелло и имам Шамиль

Пленение имама Шамиля в дагестанском ауле Гуниб 25 августа 1859 года стало, как известно, переломным моментом в войне, которую Россия в течение сорока семи лет вела за обладание Северным Кавказом, с давних пор считавшимся воротами из Азии в Европу. Эту войну против непокорных горцев начал в 1817 году еще Александр I, продолжил Николай I, а завершил в 1864-м Александр II. Окончание Крымской войны позволило России сосредоточить на Кавказе более 200 тысяч войск, брошенных против отрядов горцев, общая численность которых никогда не превышала 70—80 тыс. человек. В конце 1857 года Отдельный Кавказский корпус был развернут в армию, командование над которой Александр II доверил своему другу детства, генерал-адъютанту князю Александру Ивановичу Барятинскому, участнику Кавказской войны с 1835 года.

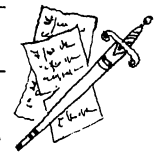
Первоначально предполагалось подавить сопротивление Шамиля в ходе весенне-летней кампании 1858 года. Однако ее результаты оказались более скромными, чем планировалось, хотя к середине 1858 года Барятинскому и удалось занять значительную часть территории Чечни. Но главная цель — окру-

жение и пленение Шамиля — не была достигнута. Вождю горцев удалось укрыться в горах Дагестана. Барятинский начал широкую наступательную операцию во Внутреннем Дагестане.

Иностранные дипломаты в Петербурге внимательно следили за ходом военных действий на Кавказе и регулярно информировали об этом свои правительства. О том, как освещалась ими «кавказская» тема, можно, в частности, судить по донесениям французского посольства из столицы Российской империи. С этими донесениями мне довелось ознакомиться в Архиве МИД Франции в Париже.

Из донесения поверенного в делах Франции в России маркиза де Шаторенара об итогах летней кампании (22 октября 1858 года):

«Экспедиция против горцев Кавказа, проводившаяся на протяжении этого года в невиданных прежде масштабах, завершена. Официальные газеты, сообщая об этой новости, говорят, что надежды, возлагавшиеся на эту экспедицию, превзошли все ожидания и что вся гористая территория, расположенная между Военно-Грузинской дорогой[168] (верховье Терека) и долиной Шаро-Аргун, подчинена Императору. Тем не менее этот результат далек от первоначально ставившейся задачи. В то время, когда экспедиция начиналась, речь шла не менее как о полном подчинении Шамиля и всех независимых племен Кавказа.



Говорят, что за два последних года в общей сложности здесь было задействовано до двухсот тысяч человек. Один отряд под командованием генерала Евдокимова[169] наступал с северо-восточного направления; другой, предводительствуемый генералом бароном Вревским[170], действовал на юго-западном направлении. Оба отряда должны были продвигаться навстречу друг другу, ставя противника под удар одновременно с двух сторон, и соединиться в самом центре горного района, где размещалась штаб-квартира Шамиля, который в результате должен был быть разбит.

Упорное сопротивление горцев помешало по крайней мере в этом году реализовать этот план. Отряду генерала Евдокимова не удалось продвинуться так далеко, как предполагалось, несмотря на блестяще проведенные бои, в которых организованность и храбрость русских войск превосходили, по сообщениям, неистовство их противников.

Что касается отряда генерала Вревского, то он достаточно далеко продвинулся по территории, населяемой лезгинами, сумел взять под контроль равнины к западу от Шаро-Аргуна и подчинить до двенадцати проживающих здесь племен. Но сам барон Вревский был убит при штурме одного из укрепленных аулов. Его гибель остановила дальнейшее продвижение возглавлявшегося им отряда»[171].

Французский дипломат называет и другую причину, по которой, на его взгляд, кампания 1858 года не была доведена до конца.

Из донесения маркиза де Шаторенара от 22 октября 1858 года:

«Обширный пожар, который уничтожил несколько недель назад часть города Астрахани вместе с находившимися там провиантскими складами для Кавказской армии, несомненно, также способствовал прекращению военных действий. По этому поводу я позволю себе высказать одно соображение, имеющее отношение к здешним нравам.

Здесь широко распространено мнение, что пожар был организован теми, кто осуществлял охрану складов и кто обязан был обеспечивать сохранность провианта для двухсот пятидесяти тысяч человек. В действительности же там оставалось провианта едва ли на тридцать тысяч человек. Такого рода факты, к сожалению, стали настолько частым явлением по всей Империи, что общественное мнение свыклось с ними и равнодушно на них взирает, по крайней мере, до тех пор, пока, как в этом последнем случае, подобные злоупотребления не приобретают характер подлинного бедствия»[172].

Военные операции возобновились только в феврале 1859 года, когда отряд генерала Н. И. Евдокимова осадил хорошо укрепленный аул Ведено, на правом берегу реки Хулхулау, в южной части Чечни. В течение четырнадцати лет аул был резиденцией Шамиля, устроившего там пороховой и оружейный заводы. Оборону Ведено имам доверил семитысячному гарнизону под командованием своего сына Гази-Магомеда. Сам же с 400 мюридами, кавалерией и двумя орудиями ушел в Восточную Ичкерию. 1 апреля 1859 года генерал-лейтенант Н. И. Евдокимов вошел в Ведено, оставленный его защитниками, успевшими укрыться в горах.

Начались усиленные поиски исчезнувшего имама. Вскоре стало известно, что он обосновался в высокогорном ауле Гуниб, расположенном на одноименном труднодоступном плато во Внутреннем Дагестане, в междуречье Аварского Койсу и Каракойсу. Туда и устремились основные силы русских войск во главе с самим главнокомандующим князем Барятинским. Шамиль был блокирован и в результате ожесточенного штурма, сопровождавшегося большими жертвами с обеих сторон, вынужден был 25 августа 1859 года сдаться на милость победителя. Как известно, предложения о почетной сдаче в плен неоднократно делались Шамилю и раньше, но всякий раз он их отвергал. Теперь условия были куда более жесткие, но все же не унизительные, и имам вынужден был их принять.

Это стало настоящим событием не только внутренней, российской, но и европейской политической жизни, о чем, в частности, свидетельствует переписка французского посольства в Петербурге с МИД Франции.

К 1858 году отношения между Францией и Россией, разорванные в связи с Крымской войной, были нормализованы. В Петербург вместо поверенного в делах Наполеон III отправил посла, герцога де Монтебелло, который стал свидетелем окончания Кавказской войны и даже лично встречался с Шамилем во время пребывания последнего в Петербурге. Уже по этой причине донесения французского дипломата представляют очевидный интерес как любопытные и неизвестные до сих пор свидетельства. Для начала несколько слов об авторе этих донесений.

Наполеон-Огюст Ланн, герцог де Монтебелло (1801—1874) был сыном знаменитого маршала Ланна, ветерана наполеоновских войн, смертельно раненного в сражении при Асперне, где 22 мая 1809 года он наголову разбил австрийцев. Герцогский титул, дарованный Наполеоном I маршалу, унаследовал его старший сын, который, в отличие от отца и младшего брата, генерала, выбрал дипломатическую стезю.

Начав карьеру в качестве атташе французского посольства в Риме, герцог де Монтебелло впоследствии был посланником короля Луи-Филиппа в Дании, Пруссии, Швейцарии и в Неаполитанском королевстве. Накануне падения Июльской монархии он занимал пост министра по делам флота и колоний, а затем стал депутатом республиканского Законодательно-

го собрания. Осудив поначалу государственный переворот 2 декабря 1851 года, герцог де Монтебелло вскоре превратился в убежденного бонапартиста, приверженца режима Второй империи, учрежденной Наполеоном III.

Взяв курс на сближение с Россией после окончания Крымской войны, Наполеон III в 1858 году отправит герцога де Монтебелло своим послом в Санкт-Петербург с миссией содействовать заключению союза с императором Александром II. На посту посла Франции в России Монтебелло пробудет до 1864 года. За шесть лет пребывания в России он достаточно глубоко, о чем свидетельствуют его донесения в Париж, интересовался не только вопросами, имеющими отношение к внешнеполитическому курсу Александра II, но и другими насущными проблемами российской действительности эпохи Великих реформ. Среди прочего пристальное внимание французский дипломат уделял политике России на Северном Кавказе.

Еще до того, как Шамиль был взят в плен, Монтебелло пришел к убеждению, что утверждение России на Северном Кавказе — дело предрешенное. В донесении министру иностранных дел Франции графу Александру Валевскому[173] он писал:

«По сведениям, поступившим сегодня с Кавказа, русскими войсками достигнут крупный успех. Окруженные с трех сторон армейскими корпусами под командованием графа Евдокимова, генерала Врангеля[174] и самого князя Барятинского племена, признающие власть Шамиля, сложили оружие. Самому Шамилю в сопровождении примерно двадцати сподвижников с оружием удалось бежать, укрывшись в одной из его многочисленных резиденций. Таким образом, часть Кавказа, расположенная между Военно-Грузинской дорогой и Каспийским морем, полностью взята под контроль, по крайней мере, к настоящему моменту. В Санкт-Петербурге распространено убеждение в том, что не покоренные еще племена, населяющие территорию, прилегающую к черноморскому побережью, не будут сопротивляться столь же долго, как те, которые образуют Конфедерацию, возглавляемую Шамилем.

Хотя географические условия местности в этой части [Северного Кавказа] более сложные, чем в другой [восточной], отсутствие единства между вождями и их неприязненное отношение к Шамилю, которого они не выдадут, если он по-

просит у них убежища, но которому они отказались бы повиноваться, — все это дает основание предвидеть в довольно скорой перспективе утверждение русского господства по всей линии Кавказских гор»[175].

Судя по всему, известие о пленении Шамиля по каким-то причинам пришло в Петербург с задержкой. Во всяком случае, герцог Монтебелло проинформировал об этом событии своего министра лишь 14 октября 1859 года. Вот как он описывает обстоятельства этого дела:

«Князь Барятинский, захватив Шамиля, только что блестяще завершил нынешнюю кампанию, начавшуюся взятием Ведено. Окруженный войсками императорского наместника[176], наступавшего в восточном направлении по течению реки Андийское Койсу, и войсками барона Врангеля, продвигавшегося на запад из Темир-Хан-Шуры[177], вытесняемый из горной местности Шамиль вынужден был отступить за реку Аварское Койсу[178] и укрыться в ауле Гуниб вместе с 400 мюридами, оставшимися верными его пошатнувшейся судьбе. Это аул, расположенный на возвышенном плато протяженностью в двадцать километров, на плодородной земле, орошаемой водами небольшой реки, и недоступного со всех сторон за исключением крутого склона, по которому идет тропинка, отделенная рвом и зубчатыми заграждениями.

Имам не рассчитывает более на поддержку населения, уставшего от его кровавого деспотизма и от дальнейшего продолжения слишком неравной борьбы, решившего сдаться на милость главнокомандующего и даже присоединить свои силы к его войскам. По этой причине он вынужден был собрать все свои средства и силы в один кулак. По единодушному признанию очевидцев из числа офицеров, теперь уже невозможно было не положить конец его сопротивлению. Когда русская армия вплотную подошла к подножию плато, Шамиль начал переговоры, которые продолжались несколько дней. Вскоре стало понятно, что он преследует лишь одну цель — выиграть время до начала зимы, которая, наступает в этих местах очень рано и которая вынудит армию, заброшенную в необитаемую страну без средств сообщения и без снабжения, поспешить вернуться на свои оперативные базы. Желая положить конец этим бесполезным переговорам, князь Барятинский потребовал сдачи Шамиля, гарантировав ему жизнь и обещав возмож-

ность отправиться в Мекку с пенсией в двенадцать тысяч рублей. Получив отказ, князь Барятинский рассчитывал теперь только на силу. Он приказал одному из своих офицеров с несколькими ротами изучить все подступы к плато.

Заметив передвижения в лагере противника, которые он принял за подготовку к предстоящей ночной атаке, Шамиль сосредоточил свои силы в одном месте, которое он считал наиболее уязвимым. Он отозвал к себе дозорных, которые группами из трех человек были расставлены по всей окружности горы. В это время она была взята в кольцо русским отрядом, посланным на рекогносцировку, в ходе которой четверо солдат обнаружили едва заметный лаз, ведущий наверх. Они поднялись с помощью веревок и крюков и, никого не обнаружив на всем пути, дали знать об этом своим товарищам, которые вслед за ними вскарабкались туда тем же способом. Когда среди горцев поднялась тревога и завязался бой, наверху уже прочно закрепились три роты. Князь Барятинский немедленно использовал эффект неожиданности. Он атаковал противника своими основными силами, введя их в обнаруженный проход. Схватка велась с применением только холодного оружия. 360 мюридов дорого продали свои жизни. Русские офицеры засвидетельствовали, что они потеряли шестьсот человек в этом бою, больше напоминавшем резню. Река сделалась красной от крови, и вода была настолько отравлена, что даже на следующий день лошади отказывались ее пить.

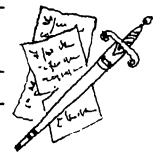
Князь постарался остановить бойню, опасаясь, что Шамиль может стать ее жертвой, а не почетным пленником. Он понимал, что героическая гибель сделала бы вакантным занимаемое им место вождя горцев. Оставшись в живых и находясь в плену, Шамиль навсегда сохранит это место за собой, но это уже не будет представлять угрозы [для России]. Нужно было любой ценой избежать того, что произошло, когда Кази Мулах, первый имам Дагестана, который был убит при взятии Гимры в 1831 году[179], немедленно замещен еще более грозным преемником[180].

Когда бой затих, князю сообщили, что Шамиль забаррикадировался в одном из дворов вместе с 40 оставшимися в живых мюридами. Ему было предложено сдаться и предоставлено двенадцать часов на размышление. К концу дня имам, в сопровождении вооруженных мюридов, выехал из своего

убежища верхом на коне, с ружьем в руке. Генерал Врангель приблизился к нему и, заверив его, что ему нечего опасаться, пригласил к наместнику императора, но только одного — без многочисленного эскорта. Шамиль согласился, но окружавшие его мюриды заявили, что намерены сопровождать своего вождя до конца и умереть вместе с ним. С большим трудом Шамилю удалось убедить их не следовать за ним.

Шамиля провели к князю Барятинскому в полном военном облачении, при оружии. Князь поинтересовался, почему он не сдался раньше, на куда более почетных условиях, нежели те, которые продиктованы ему сейчас. Я обязан был, ответил он, во имя моей цели и ради моих приверженцев сдаться только в крайнем случае, лишь тогда, когда у меня не останется ни малейшей надежды на успех. Теперь я свободен в моем решении. Точно так же как мед со временем приобретает горький привкус, так и война может становиться бессмысленной.

Он повторил свою просьбу о том, чтобы его отпустили в Мекку, но князь сказал, что теперь слишком поздно, что его судьба отныне целиком в руках императора, к которому он его и доставит. При этом князь Барятинский добавил, что Шамилю оставят его семью, оружие и найденную в ауле казну, оцениваемую в триста тысяч рублей.



Так завершилось господство этого человека, который в течение тридцати лет успешно противостоял на Восточном Кавказе русской мощи. Было бы ошибкой полагать, как считают многие, будто Шамиль господствовал над всем этим горным хребтом. В действительности власть Шамиля никогда не распространялась по ту сторону военной дороги, ведущей из Владикавказа в Тифлис; его власть и его влияние не выходили за пределы Дагестана, Лезгистана и Чечни. Чтобы поддерживать священную для него борьбу, он сочетал религиозные, политические и террористические методы и добился создания достаточно однородной Конфедерации племен, населяющих узкие долины Восточного Кавказа, — прежде глубоко разобщенных.

Он превзошел своих предшественников талантами и ловкостью, увенчанных столь продолжительным успехом. Видя, что религиозный дух не был достаточным, чтобы поднять экзальтацию населения столь высоко, как этого требовала поставленная им цель, Шамиль, введя суфизм[181], укрепил его фанатизмом секты.

Суфизм — это не доктрина, которая что-то добавляет или отменяет в мусульманских догмах; это своего рода религиозный орден, построенный на монашеской дисциплине, вождем которого был Шамиль под именем Муршид (Mourschide); его ближайшие последователи стали называться мюридами[182].

По истечении двухлетнего испытательного срока они принимались в охрану верховного вождя и приносили ему клятву в безграничном повиновении и преданности. Если вообще позволительно сравнивать общий смысл тех или иных идей и идейных направлений, то можно сказать, что в суфизме есть нечто похожее на правило иезуитов в том, что касается самоотречения отдельной личности и ее полного подчинения внушенным свыше приказам.

Но население, уставшее от суровой доктрины, которая больше навязывала, чем убеждала, чутко реагировало на удары, наносимые Россией, равно как и на внушения ее агентов. Оно заметно охладело к гнету Имама, единственным средством управления у которого была смертная казнь за малейшее правонарушение. Нередко целые деревни отдавались на разграбление и сжигались за проступок хотя бы одного из их жителей.

Русские войска по нескольку раз занимали долины, свергая там власть Шамиля, но с их уходом прекращалась и их власть. Весьма вероятно, что теперь эти районы больше уже не вырвутся из-под власти России. Император Александр предоставил в распоряжение князя Барятинского такие средства и такую свободу рук, которых не имел ни один из его предшественников, и надо отметить, что этот генерал использовал их с талантом, о чем свидетельствуют достигнутые им результаты. Итак, военные средства, кажется, исчерпали себя в том, что касается восточной части Кавказа. Теперь, без всякого сомнения, Россия направит свои устремления в направлении горного хребта, возвышающегося над Черным морем.

Хотя рельеф местности в этом районе создает намного большие трудности по сравнению с теми, которые имели место в только что завоеванной части Кавказа, в С.-Петербурге, однако, надеются подчинить мелкие феодальные княжества, расположенные в этих областях, с меньшими затратами, чем это имело место при покорении союза племен, соседствующих с Каспийскими морем»[183].

Французский посол продолжал внимательно следить за судьбой Шамиля. Обстоятельствам его встречи с имамом посвящено подробное донесение Монтебелло графу Валевскому.

Из донесения герцога де Монтебелло от 20 октября 1859 года:

«Плененного Шамиля быстро удалили из мест, хранящих память о его длительном сопротивлении, и переправили в крепость Грозную, чтобы затем доставить на встречу с Императором, отправившимся из С.-Петербурга в поездку по Южной России. В начале своего [вынужденного] путешествия Шамиль проявлял опасения, что может быть отправлен в Сибирь. Это устрашающее слово хорошо было известно и в его горах, о чем мистическим образом напоминал компас, который Шамиль всегда имел при себе. Он очень обрадовался, обнаружив [по компасу], что их путь не лежит на северо-восток.

В городе Чугуеве Харьковского губернаторства произошла его встреча с Императором. Шамиля допустили к Его Величеству при оружии, проявив уважение к понятиям горцев о чести, согласно которым обезоруженный воин считается обесчещенным. Это обстоятельство ободрило имама, который считал, что после аудиенции его должны казнить. Доброжелательный прием со стороны Его Величества окончательно рассеял его опасения. На вопросы императора относительно ресурсов, которыми он в последнее время располагал на контролируемой им территории, Шамиль ответил то же, что он сказал князю Барятинскому: что власть его клонилась к закату, что постоянно возраставшие трудности мешали продолжению борьбы и что он сам прекратил бы эту борьбу гораздо раньше, если бы хотя примерно представлял могущество страны, часть которой ему довелось увидеть своими глазами.

Его Величество объявил, что он даст ему возможность увидеть Москву и С.-Петербург, где он встретится с Императрицей, и что затем его доставят в Калугу, где ему будет предоставлена резиденция и пенсия в размере двенадцати тысяч рублей. Его сын сможет вернуться на Кавказ с тем, чтобы отыскать и доставить членов семьи Шамиля, с которыми он не должен быть разлучен... Его Величество пригласил Шамиля сопровождать его в Харьков и принять участие в празднике, который в его честь устраивает дворянство этого города.

Именно на балу в Харькове Шамиль впервые увидел одно из наших европейских собраний. Войдя в зал, он остановился,

прочел молитву и тут же захотел удалиться. Ему заметили, что у нас не принято уходить прежде, чем это сделает Император, и Шамиль любезно согласился остаться. Окружившим его дамам он с философской грустью сказал: "Я счастлив видеть вас теперь, так как боюсь, что мы не встретимся в раю, поскольку вы находите здесь все то, что Пророк обещает нам только после смерти". Харьковский епископ был бы безмерно счастлив, услышь он эти слова»[184].

Далее Монтебелло описывает свою встречу и беседу с имамом:

«Через несколько дней после его прибытия в С.-Петербург я имел случай увидеть Шамиля и побеседовать с ним. Это человек высокого роста, исполненный спокойствия и достоинства. Выражение его лица свидетельствует об интеллекте, энергии и в особенности о непоколебимой твердости. Манеры его поведения и высказываемые суждения выдают человека, понимающего, что его судьба свершилась. Без чувства ложного фатализма он спокойно относится к исполненному им долгу, как и к своему почетному поражению. Он говорит на арабском языке... и на языке общем для племен Дагестана, Лезгистана и Чечни[185]...

Будучи далек от того, чтобы проявлять характерное для восточных людей безразличие ко всему, что касается достижений цивилизации, Шамиль не упускает случая увидеть и узнать, слушает и задает вопросы, свидетельствующие о разумности суждений, поражающих его собеседников. На военных маневрах, на тульском оружейном заводе, на железной дороге в Москве, в арсеналах Кронштадта, во всех общественных учреждениях С.-Петербурга — всюду, где он побывал, он обнаруживал ту же умную любознательность.

Я убежден, что Шамиль обладает очень точными знаниями относительно соотношения сил между различными державами Европы; он хорошо понимает неразделимость двух имен — Франция и Наполеон[186]. Я спросил у него, знает ли он, что Франция и Россия, сегодня прочно соединенные друг с другом, еще совсем недавно были в состоянии войны, и почему тогда он не использовал это обстоятельство в своих целях.

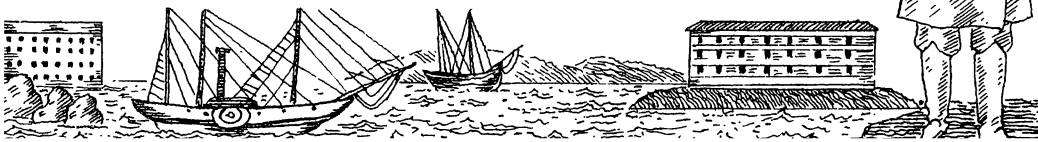
Он мне ответил, что хорошо знал, что Севастополь был осажден. Ему было известно, что противники русских направляли в то время эмиссаров на Кавказ, но что ни один из

них не добрался ни до него, ни до одного из его соратников. Эти эмиссары оставались в районах черноморского побережья и поддерживали контакты с вождями тамошних горцев, на которых он, Шамиль, никогда не оказывал никакого влияния. Конечно же, наши эмиссары никогда не видели его, — заметил по этому поводу Монтебелло, обращаясь к графу Валевскому, и добавил: — Уж не из осторожности ли по отношению к своим победителям Шамиль отговорился незнанием?...

Имам задавал мне различные вопросы относительно Абдэль-Кадера[187] и о силах, которыми он располагал. Что касается его самого, он мне сказал, что одно время имел под ружьем до пятидесяти тысяч человек. Хотя эта цифра за последнее время значительно уменьшилась, содержание 250-тысячной Кавказской армии, для которой в настоящее время поставляется триста тысяч суточных порций продовольствия и фуража, все еще обходится России в сорок миллионов рублей (160 миллионов франков). Эти тяготы Россия будет нести еще в течение нескольких лет, так как, по всей вероятности, князь Барятинский подчинением горцев на западе будет стараться завершить умиротворение Кавказа, с которым отныне связано его имя. Император чрезвычайно высоко ценит его таланты, так же как и их дружбу, завязавшуюся еще в детские годы.

Как бы то ни было, Шамиль — это последний действительно грозный противник России в этих краях. Отныне и навсегда Россия держит в своих руках двери в Малую Азию. Она может бросить свою армию к границе между Турцией и Персией и свободно действовать на театре [военных действий] — там, где европейские армии не смогут до нее добраться...»[188]

Дальнейшая судьба Шамиля известна. По всей видимости, великодушное обхождение Наполеона III с плененным Абдэль-Кадером — этим алжирским «Шамилем» — послужило примером для Александра II. Император предоставил взятому в плен имаму пенсию в 10 тыс. рублей и дополнительно выделил еще 20 тыс. на содержание семьи и свиты, обеспечив достойные условия для пребывания Шамиля и его окружения в калужской ссылке. В своем великодушии Царь-Освободитель даже превзошел парижского «кузена» — Наполеона III. В октябре 1866 года он пригласил Шамиля и двух его сыновей присутствовать на торжествах в Петербурге по случаю бракосочетания наследника престола (будущего императора Алек-



сандра III) с датской принцессой Дагмарой (будущей императрицей Марией Федоровной). А после того, как в том же 1866 году Шамиль и его сыновья приняли российское подданство, император Александр II удовлетворил давнее желание имама о хадже к мусульманским святыням в Мекку и Медину, где в начале 1871 года Шамиль и завершил свой жизненный путь. Один из сыновей Шамиля был зачислен офицером в лейб-гвардии Отдельный Кавказский эскадрон. В 1885 году Магомед-Шефи вышел в отставку в чине генерал-майора. Правда, другой сын Шамиля, Гази-Магомед, нарушив данную царю присягу, бежал в Турцию. Султан сделал его дивизионным генералом, а когда началась русско-турецкая война 1877–1878 годов, доверил руководить осадой Баязета, защищаемого русским гарнизоном.

Что касается герцога Монтебелло, то он продолжал внимательно наблюдать за развитием заключительной фазы Кавказской войны, театр которой после покорения Восточного Кавказа и пленения Шамиля переместился в западные районы, прилегающие к Черному морю. Французский посол не сомневался, что в самом недалеком времени Западный Кавказ разделит участь Восточного, то есть перейдет под власть России. В своих донесениях в Париж он говорит о новой тактике, применяемой русским военным командованием на Западном Кавказе, — о сочетании военных и мирных средств убеждения населяющих этот район племен признать над собой власть «белого царя». Инициатором и убежденным сторонником этой тактики Монтебелло считал князя Барятинского, действия которого посол всецело одобрял.

Из донесения герцога де Монтебелло министру иностранных дел графу Валевскому от 29 декабря 1859 года:

«Некоторые высказывают убеждение, что князь Барятинский всего лишь согласился предоставить этим народам уступки, упорно и неразумно отвергавшиеся Императором Николаем, чтобы они покорились. Утверждают также, что престиж русского оружия не был одинаковым на Западном Кавказе и на Кавказе Восточном. Даже если это правда, тем не менее князь Барятинский, неважно — войной или переговорами, — достиг немалых результатов, которых Россия тщетно добивалась на протяжении тридцати лет, и надо быть ему благодар-

ным за то, что он, в отличие от других генералов, не воевал тогда, когда надо было вести переговоры.

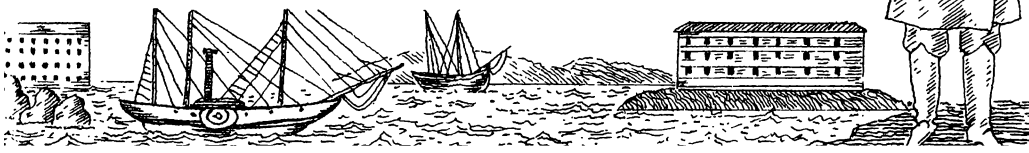
Между народами, которые только что покорились, и Черным морем все еще остается независимая территория, крайне труднодоступная, населяемая воинственными племенами. Я склонен думать, что в отношении этих народов будут действовать более политическими, нежели силовыми средствами»[189].

Действительно, в своей политике на Северном Кавказе князь Барятинский, которого Александр II в 1859 году произвел в генерал-фельдмаршалы, все более активно прибегал, там, где это было возможно, к политическим методам. Сорок два года почти непрерывных военных действий — с 1817 до 1859 года — понадобилось России для того, чтобы завоевать Восточный Кавказ, и только пять лет (1859—1864) — для покорения Западного. Символической датой окончания Кавказской войны стало взятие русскими войсками 21 мая 1864 года черкесского аула в урочище Кбаада, в верховьях реки Мзымта над Адлером (ныне Красная Поляна).

Очаг русского православия во Франции

В последних числах февраля 1859 года русские подданные, в силу разных причин находившиеся в Париже, получили из российского посольства извещение следующего содержания: «Состоящий при Императорском Российском Посольстве Комитет построения Православной Русской церкви в Париже имеет честь уведомить, что закладка сей церкви будет после обедни 19 февраля/3 марта сего года в день Восшествия на престол Государя Императора. Посольство будет в мундирах».

Аналогичное уведомление было разослано и в некоторые правительственные учреждения Второй империи, а также по адресам тех французов, кого в русском посольстве считали друзьями. В указанный день, по окончании литургии и молебна, отслуженных протоиереем Иосифом Васильевым, настоятелем русской посольской церкви, был заложен первый камень в основание будущего кафедрального Свято-Александро-Невского собора.



Два с половиной года спустя, 30 августа 1861 года (по старому стилю), прибывший из Санкт-Петербурга по высочайшему повелению преосвященный Леонтий, архиепископ Ревельский, освятил в Париже храм, возведенный неподалеку от Триумфальной арки, на Rue de la Croix-Barrière du Roulle. Впоследствии улица будет переименована в честь главного интенданта наполеоновской армии графа Дарю.

История возникновения этого первого очага русского православия на земле Франции хорошо известна давним прихожанам храма, а тем, кто недостаточно с ней знаком, можно порекомендовать обстоятельный и интереснейший труд Никола Росса[190].

В данной публикации мне хотелось бы познакомить читателей с некоторыми документами, обнаруженными в Отделе рукописей Национальной библиотеки Франции и в Архиве внешней политики Российской империи в Москве. Эти документы проливают свет на детали и некоторые обстоятельства возведения храма Св. Благоверного князя Александра Невского.

Как известно, сама идея о необходимости строительства православного храма в Париже неоднократно высказывалась русскими дипломатами, работавшими в столице Франции. Со времени установления дипломатических отношений между Петербургом и Парижем в начале XVIII века довольно остро стоял вопрос о посольской церкви, которая в течение многих десятилетий ютилась в не приспособленных для богослужений помещениях, которые ко всему прочему неоднократно менялись с переездами самого посольства[191].

Проблема обострялась по мере того, как в Париже, особенно в XIX веке, увеличивалось количество состоятельных русских, предпочитавших проводить здесь часть своей жизни, а также добровольных и вынужденных эмигрантов, по разным причинам не поладивших с царским правительством. Всем этим людям из-за тесноты посольской церкви крайне затруднительно было посещать богослужения.

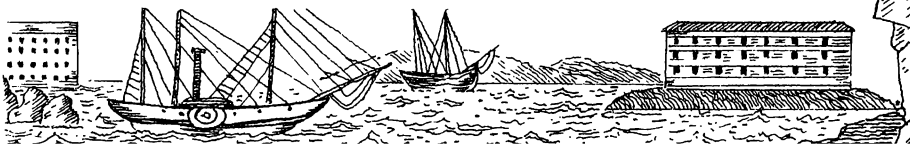
Следует признать, что Святейший Синод долгое время не склонен был разделять озабоченность российского посольства недостаточным духовным окормлением соотечественни-

ков, оказавшихся во Франции, и проявлял в этом деле трудно объяснимую пассивность.

С другой стороны, планы учреждения в Париже постоянного православного прихода по понятным причинам не вызывали энтузиазма у верхушки католического духовенства, оказывавшего заметное давление на французское правительство. Российское посольство неоднократно делало официальные запросы на Кэ д'Орсэ относительно возможности возведения православного храма в Париже, но неизменно получало уклончивый ответ — ни да, ни нет. Так было и в период Реставрации Бурбонов, и в эпоху либеральной Июльской монархии Луи-Филиппа. «При предыдущих царствованиях постоянно отвергали ходатайство наше», — констатировал в сентябре 1861 года граф Павел Дмитриевич Киселев, посол России во Франции, в письме министру иностранных дел, князю Александру Михайловичу Горчакову[192].

Положение изменилось при императоре французов Наполеоне III. Получив полное удовлетворение от результатов Крымской войны, где Франция, по его мнению, взяла моральный реванш за унижение 1812–1815 годов, Наполеон еще до подписания Парижского мирного договора четко обозначил свое намерение сблизиться с Россией, где в начале 1855 года на престол взошел царь-реформатор Александр II. Это намерение среди прочего проявилось и в отношении к вопросу о строительстве русского православного храма в Париже. «Император Наполеон, — писал граф Киселев, — в угождении Государю Императору [Александру Николаевичу] преодолел затруднения, возникавшие от католического духовенства, и, по изъявлении на то согласия Французского Правительства, приступлено было к работам»[193].

Следует отметить поистине выдающуюся роль, которую сыграл в этом деле упоминавшийся настоятель посольской церкви о. Иосиф Васильев, делавший все мыслимое и немыслимое для преодоления инертности русской и французской бюрократий, оказавшихся удивительно похожими по части формализма и неповоротливости. Причисленный к парижскому посольству еще в 1846 году, о. Иосиф, обремененный большой семьей из восьми детей и получавший более чем скромное жалованье, не жалел сил для оказания духовной помощи всем страждущим и нуждающимся. В годы Крымской



войны и по ее окончании он был единственным, кто духовно поддерживал сотни русских военнопленных, перевезенных из Крыма во Францию. Об этом хорошо написано в упомянутой книге Никола Росса, но думается, что замечательная личность о. Иосифа Васильева, двадцать два года прослужившего в Париже[194], заслуживает отдельной книги.

Многолетние усилия о. Иосифа, энергично поддержанные временным поверенным в делах России при дворе Наполеона III бароном Ф. И. Брунновым, а затем послом графом Киселевым, дали результаты в 1857 году, когда МИД Франции дал принципиальное согласие на сооружение православного храма в Париже. С самого начала он мыслился как храм при российском посольстве во Франции, который могли посещать все православные.

Тогда же, в 1857 году, за 300 тыс. франков (75 тыс. рублей серебром) был приобретен земельный участок на правом берегу Сены. Одновременно в Петербурге нескольким известным зодчим был сделан заказ на проект будущего храма. Победителя конкурса должен был определить лично император Александр II. Как известно, высочайший выбор пал на проект, подготовленный старшим архитектором Придворной конторы, профессором Р. И. Кузьминым, что само по себе, свидетельствовало о тонком вкусе августейшего заказчика. Государь понял и оценил двуединый замысел архитектора. С одной стороны, Кузьмин стремился создать проект церкви, легко узнаваемой всяким русским, приехавшим в Париж, а с другой — «гармонично вписать ее в окружающую застройку западноевропейского города, «не дразнить французов», что «было достигнуто путем эклектичного сочетания черт русского, византийского и романского зодчества»[195].

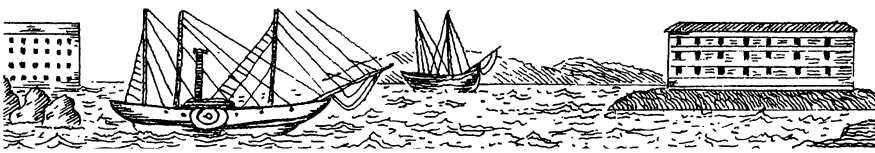
Вслед за утверждением проекта Р. И. Кузьмина начался сбор средств на строительство храма. Первый взнос, как и следовало ожидать, сделал император Александр II, пожертвовавший 50 тыс. рублей серебром (более 200 тыс. франков) из личных средств. Его примеру последовал Святейший Синод, выделивший аналогичную сумму, а также другие члены императорской фамилии. Так, сестра государя, великая княгиня Мария Николаевна, пожертвовала на строительство храма 1 тыс. рублей серебром, что составило по тогдашнему обменному курсу 4 тыс. франков. В сборе средств приняли участие представите-

ли разных сословий и общественных слоев — столичной аристократии, служилого и поместного дворянства, купечества. Собранные по России денежные средства аккумулировались в Департаменте хозяйственных и счетных дел Министерства иностранных дел, пересылавшем их в Париж на имя протоиерея Иосифа Васильева. Так, только в октябре 1859 года из Петербурга в Париж было перечислено 3883 полуимериала, что в пересчете составляло 19 тыс. 997 рублей 45 копеек серебром.

Столь крупные пожертвования сочетались с менее значительными и даже мелкими. 26 ноября того же 1859 года «с оказией переправлено в Париж 170 голландских червонцев и 1 рубль 33 копейки, составляющих на серебро 500 рублей»[196]. 11 июля 1860 года, как значится в департаментском документе, «собранные от разных лиц 3 тысячи серебром» были «разменены» в Главном казначействе на 582 полуимериала и выданы статскому советнику Кузьмину, старшему архитектору Придворной конторы, отправлявшемуся в Париж для осуществления контроля за строительством храма[197].

Автор проекта трижды наведывался в Париж с этой целью — в 1858, 1859 годах и в начале 1861 года. Строительными работами на месте руководил академик архитектуры, коллежский асессор И. В. Штром. Роспись храма будет поручена академикам исторической живописи Александру Бейдеману и Павлу Сорокину. Последнего консультировал его брат Евграф Сорокин.

Добровольные пожертвования на строительство охотно делали и русские, проживавшие во Франции, в первую очередь сотрудники дипломатической миссии. Все они сдавали или пересылали деньги непосредственно о. Иосифу, который, в свою очередь, передавал их в Комитет построения православной русской церкви в Париже, образованный в 1857 году при посольстве. Именно этот комитет осуществлял все расчеты с подрядчиками и отчитывался перед Министерством иностранных дел, «на балансе» которого находилось строительство, а в дальнейшем — и сам храм. В АВПРИ в Москве сохранилось немало финансовых документов и расписок в получении и расходовании средств. В одной из таких расписок, датированных 27 марта 1861 года, читаем: «Получено от о. Иосифа Васильева от дарителей 2000 рублей серебром, т. е. 388 полуимериалов»[198].



Сам же о. Иосиф, как следует из архивных документов, едва сводил концы с концами, с трудом содержа свою многочисленную семью. Посол граф Киселев неоднократно просил Министерство иностранных дел о повышении жалованья самоотверженному священнику. В одном из обращений на имя товарища министра И. М. Толстого, замещавшего князя А. М. Горчакова, находившегося в отпуске, он напомнил, что за пятнадцать лет служения о. Иосифа в Париже жалованье последнего (1904 рублей серебром в год) оставалось неизменным. Тем временем жизнь во французской столице за эти годы подорожала едва ли не вдвое, а семья о. Иосифа умножилась за счет родившихся здесь детей. Киселев просил увеличить денежное содержание настоятелю посольской церкви хотя бы на 1100 рублей[199].

Увы, к его просьбам в Петербурге остались безучастны, предложив минимизировать приходские расходы.

«Вследствие отношения Вашего сиятельства от 16/28 мая, имею честь уведомить, — писал в ответ Толстой, — что при всем желании сделать Вам, милостивый государь, угодное, Министерство иностранных дел не может ходатайствовать в настоящее время об увеличении содержания протоиерея посольской церкви нашей в Париже Иосифа Васильева, так как по Высочайшему повелению для Министерства определена норма расходов, из которой оно не может выходить ни под каким предлогом, и притом, при увеличении содержания священников парижской церкви, по случаю возвышения цен на жизненные потребности, пришлось бы увеличить по тому же случаю жалование священников и при других наших миссиях, чего, при настоящем состоянии финансов, невозможно и требовать.

Но, принимая в уважение, что при парижской церкви положено по штату два священника, покорнейше прошу Ваше сиятельство почтить меня уведомлением, не изволите ли Вы признать возможным место второго священника упразднить; в таковом случае можно было бы ходатайствовать об увеличении содержания протоиерея Васильева тем жалованием, которое положено по штату для второго священника»[200].

В перспективе предстоящего открытия нового храма, значительного расширения прихода и его активности ни посол, ни о. Иосиф не могли согласиться на предложение товарища

министра. Протоиерей Васильев с достоинством продолжал нести свой крест. Одновременно он был фактическим руководителем Комитета построения нового храма, где время от времени возникали противоречия, которые он умело сглаживал и даже устранял, пользуясь поддержкой графа Киселева.

Работа по строительству нового храма шла споро, и уже в мае 1861 года о. Иосиф сообщал послу:

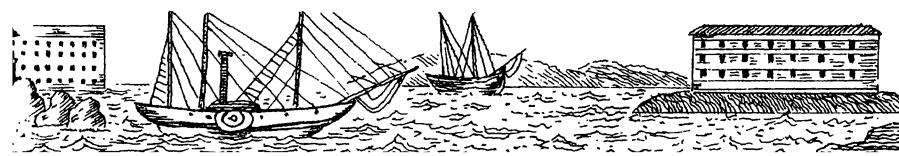
«Созидание православной русской церкви в Париже приходит к окончанию. Каменная отделка совершена, иконостас и иконы налицо, купол украшен иконописанием. Остается сделать иконописание на стенах; не будучи необходимым, это однакож будет кончено к концу августа сего 1861 года.

При таком положении дел желательно освятить новоустроенный храм 30 августа, тем более что на этот день падает храмовый праздник и Тезоименитство Государя Императора Александра Николаевича. Если Вашему сиятельству благоугодно принять это мое предложение, то я покорнейше прошу об увольнении меня в Россию на один месяц для получения актиминия и распоряжений, необходимых для сего радостного события»[201].

Получив одобрение посла, о. Иосиф отправился в путь, а вслед ему в Петербург на имя И. М. Толстого была отправлена телеграфная депеша следующего содержания: «Находя со своей стороны совершенно удобным разрешить отцу Иосифу приезд в Россию по изъясненному им поводу, я имею честь уведомить о том Ваше превосходительство и при этом покорнейше просить Вас, милостивый государь, почтить меня по телеграфу о том, что будет постановлено относительно этого дела»[202].

В Петербурге о. Иосиф обговорил все детали предстоящего освящения возведенного в Париже храма и в июле 1861 года вернулся обратно, к месту своего служения. А 17 августа из МИД России в парижское посольство ушло извещение:

«Исправляющий должность Обер-Прокурора Св. Синода [князь Урусов] уведомил Министерство Иностранных Дел, что для освящения 30-го сего августа православного храма в Париже командируется из Санкт-Петербурга по Высочайшему повелению преосвященный Леонтий, епископ Ревельский, с причтом. Вместе с сим князь Урусов просил о командировании к тому же времени в Париж для совокупного



священнодействия некоторых из заграничных священнослужителей наших. Князь Урусов присовокупил, что на путешествие этих лиц сумм из Министерства Иностранных Дел не потребуется.

Вследствие сего и по соглашению с князем Урусовым сделано распоряжение о командировании в Париж архимандрита Римской церкви Палладия, протоиереев Висбаденской церкви Янышева и Женевской — Петрова, и диакона Веймарской церкви Оглоблинского, которым и дано по сему случаю из Министерства разрешение»[203].

По согласованию между Синодом и Министерством иностранных дел было решено освятить возведенный в Париже храм в память Святого Благоверного князя Александра Невского в день тезоименитства государя императора Александра II — 30 августа (11 сентября н.с.) 1861 года.

Накануне этого праздничного события посольство России разослало именные приглашения отдельным лицам из окружения императора Наполеона III, представителям парижского политического бомонда, членам дипломатического корпуса — всего 400 приглашений. Разумеется, к участию в освящении храма были приглашены все русские подданные, находившиеся в Париже.

К началу литургии, назначенной на 10 часов утра, вокруг храма собралось около 6 тыс. человек. Император Наполеон был представлен министром двора маршалом Вейяном, первым камергером двора графом Бьякьочи и префектом парижской полиции Буателем. Кроме того, здесь находились другие сановники Второй империи, члены Института Франции, представители католического духовенства, редакторы ведущих парижских газет и журналов. Всех их перед входом в храм радушно встречали чрезвычайный и полномочный посол Александра II в Париже граф Павел Дмитриевич Киселев и сотрудники посольства.

Среди приглашенных русских: граф Н. Н. Муравьев-Амурский, бывший генерал-губернатор Восточной Сибири, граф Д. А. Толстой, тогдашний товарищ министра внутренних дел, а в недалеком будущем — министр и обер-прокурор Св. Синода, Сабуров, главный распорядитель императорского двора, тайный советник Скрипицын, бывший директор Депар-

тамента по делам иноверных конфессий в России, и другие важные персоны.

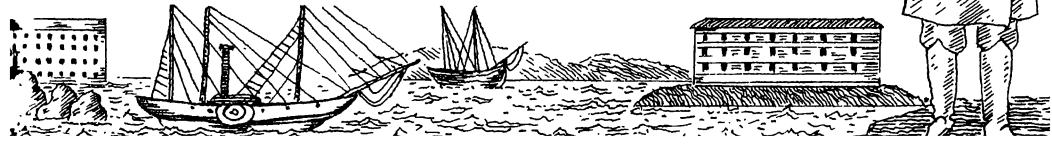
По окончании литургии и молебна двери храма оставались открытыми до вечера, чтобы все желающие могли здесь побывать. А граф Киселев тем временем пригласил к себе на обед участвовавших в службе священнослужителей и наиболее именитых соотечественников — всего 46 человек. «Освящение совершилось 30 августа 1861 г. в высокоторжественный день Тезоименитства Государя Императора. Работы продолжались два года шесть месяцев. Расходы большею частью покрыты; немного того осталось», — сообщал посол князю А. М. Горчакову[204]. О расходах, а точнее — перерасходах на строительство речь впереди. Пока же все пребывали в приподнятом настроении.

В том же сообщении Киселев отметил заслуги о. Иосифа и других лиц, причастных к завершению строительства храма, и поставил вопрос об их награждении. «Долгом считаю представить ныне некоторые соображения, касающиеся до возведения сего храма, и обратить милостивое внимание Государя Императора на главных соучастников в сем истинно христианском деле», — писал граф Павел Дмитриевич[205].

В январе 1862 года посол получил с курьером письмо и посылку от министра двора графа Владимира Федоровича Адлерберга. В письме говорилось:

«Г. Министр Иностранных Дел, во время нахождения моего в заграничном отпуску, в сентябре месяце сего года, сообщил генерал-адъютанту графу Адлербергу 2-му [Александр Владимирович, сын министра, близкий друг Александра II. — *П. Ч.*] о ходатайстве Вашего сиятельства касательно награждения лиц, участвовавших в сооружении Православной Церкви в Париже.

По собрании надлежащих о сих лицах сведений, я имею счастие представить ныне Государю Императору по означенному ходатайству Вашему всеподданнейший доклад мой, и Его Величество, удостоив оный своего рассмотрения, Всемилостивейшее повелел произвести Старшего Архитектора Придворной Конторы, статского советника Кузьмина в чин действительного статского советника, а прочим лицам изволил пожаловать: протоиерею упомянутой церкви Иосифу Васильеву бриллиантами украшенный наперсный крест; академику



архитектуры, коллежскому асессору Штрому, академикам исторической живописи Сорокину и Бейдеману и французским подданным — главному производителю работ по постройке означенной Церкви Гардуигу и архитектору-эксперту Буржуа-де-Ланьи ордена: первым двум — Св. Анны 3-й степени, а последним — Св. Станислава той же степени; старшему приказчику производителя работ Эмилю Лекоку и каменных дел мастеру Георгию Денату — медали для ношения на шее на ленте ордена Св. Станислава: первому — золотую, а последнему — серебряную; художникам же исторической живописи XIV класса Федору Бронникову, Павлу Сорокину и Михаилу Васильеву — подарки из Кабинета в 500 р. сер. каждому.

Сообщая Вашему сиятельству о сих монарших милостях и препровождая следующие означенным лицам: наперсный крест, 5 орденских знаков и грамотами, две медали и три подарка, покорнейше прошу Вас, милостивый государь, о получении оных меня уведомить и сделать распоряжение об истребовании и доставлении в Капитул орденов, следующих с гг. Штрома, Сорокина и Бейдемана единовременных пожалованию им орденов денег: с первых двух по 20 р., а с последнего 15 р., всего пятидесяти пяти р. сер. К сему нужным считаю присовокупить, что о производстве г. Кузьмина объявлено в Высочайшем по Министерству Императорского Двора приказе и что о всех означенных пожалованиях извещен мною и г. Министр Иностранных Дел»[206].

Здесь необходимо сделать одно пояснение. В Российской империи действовало правило, согласно которому всякий награжденный орденом обязан был оплатить государству денежную стоимость изготовления той или иной награды. Исключения делались только при награждении иностранцев, освобождавшихся от уплаты соответствующей денежной компенсации. Кстати, такое же правило до сих пор действует в ряде государств, в частности во Франции.

Вскоре после завершения праздничных мероприятий о. Иосиф, как один из руководителей Комитета построения храма Св. Александра Невского, представил графу Киселеву финансовый отчет о расходовании средств, собранных на строительство (всего — 1 млн. 146 тыс. 376 франков 27 сантимов). Из отчета следовало, что обнаружился перерасход, и заказчик, то есть посольство России и церковный при-

ход, остались должны подрядчику и строителям значительную сумму — 227 857 франков 43 сантима[207].

«Протоиерей Иосиф Васильев, — докладывал Киселев министру иностранных дел князю Горчакову, — возлагает вину подобного исхода на главного архитектора г. Кузьмина и строителя церкви, академика Штрома.

Я полагаю излишним входить в подробное разбирательство этого дела, — продолжал посол. — Храм сооружен добровольными приношениями и возбуждает общие похвалы. Вопрос заключается в том, каким образом погасить остающийся долг. Из суммы 227 857 фр. протоиерей Васильев надеется собственными [приходскими] средствами постепенно уплатить около 93 000 и выражает надежду, что наше Правительство возьмет на себя уплату остальных 134 000.

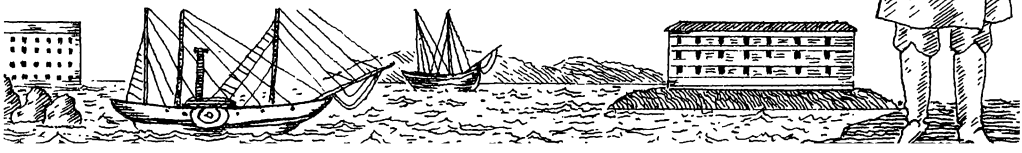
В пользу этого домогательства можно привести, что кроме нравственной выгоды, извлекаемой нами из устройства православной церкви в Париже, Правительство наше избавляется внесением означенной суммы от ежегодного пособия 20 000 фр., которое было выдаваемо на помещение причта и часовни.

Вследствие того, экономический расчет подтвердил настоящую просьбу протоиерея Васильева, и долгом поставляю обратить на нее особое внимание Императорского Министерства в полной надежде на его справедливое решение»[208].

В Петербурге с пониманием отнеслись к доводам о. Иосифа и графа Киселева и не стали проводить ревизию о перерасходе средств при строительстве храма, тем более что переезд причта из наемных квартир в два дома, выстроенные по обе стороны храма, обещал со временем очевидную экономию для бюджета Министерства иностранных дел. На исходе октября 1862 года Киселев получил от Горчакова письмо следующего содержания:

«Милостивый государь, граф Павел Дмитриевич! Вследствие отношения Вашего сиятельства от 23 сентября/5 октября, я имел счастие входить с всеподданнейшим докладом Государю Императору о принятии на счет казны передержанных против сбора добровольных пожертвований ста тридцати четырех тысяч франков по постройке православного храма в Париже.

Его Императорское Величество благоугодно было в 9-й день сего октября изъявить на сие Высочайшее соизволение, о чем имею честь уведомить Ваше сиятельство»[209].



На этот раз тяжелая бюрократическая машина Российской империи сработала на удивление быстро. Уже на следующий день, 10 октября [с.с.], требуемые 134 тыс. франков были выделены Министерством финансов на счет посольства в Париже. Оплата задолженности должна была быть произведена в несколько приемов до 30 октября 1863 года. Первый, как бы мы сейчас сказали, транш в сумме 50 тыс. 500 франков был проведен 20 декабря 1862 года[210].

Параллельно в Париже о. Иосиф собирал пожертвования, которые продолжали поступать в адрес Комитета постройки храма. В архиве сохранилось много документов на этот счет. Упомяну лишь о некоторых. 20 июля 1862 года из Петербурга был отправлен вексель на сумму 2435 франков 17 сантимов[211]. 12 сентября того же года из Хозяйственного управления Св. Синода в МИД было доставлено 25 рублей серебром, «пожертвованные подполковником Аполлоном Ивановым Орловским на построение православной церкви в Париже»[212]. 5 октября из Синода в МИД поступило 89 полуимпериалов и 4 рубля 71½ копейки серебром на имя настоятеля посольской церкви в Париже протоиерея Васильева[213]. 14 декабря 1 тыс. франков из личных средств пожертвовал граф Павел Дмитриевич Киселев[214]. Это было уже не первое пожертвование посла на строительство храма в Париже.

Сбор пожертвований продолжался и в следующем году. Так, 6 мая 1863 года на имя о. Иосифа из Петербурга было отправлено 92 полуимпериала и 5 рублей 4 копейки серебром[215]. 13 декабря в Париж на имя нового российского посла барона Андрея Федоровича Будберга поступило пожертвование от имени великой княгини Елены Павловны в виде «разных облачений» для священников и диаконов парижской церкви. «Ее Высочество изволит надеяться, — писал в сопроводительном письме А. Абаза, гофмейстер двора Е. И. Выс-ва великой княгини Елены Павловны, — что облачения будут приличны служению в торжественные праздники, и весьма желала бы, чтобы они могли быть обновлены в день Рождества Христова»[216].

Продолжавшиеся после освящения храма пожертвования позволили настоятелю, как он и предполагал, расплатиться с долгами. Основная часть долга перед главным подрядчиком строительства Альфонсом Гардоном в сумме 83 550 франков была погашена 15 октября 1863 года, о чем в архивном деле

имеется соответствующая расписка исполнителя работ[217]. Еще 9 тыс. франков были также выплачены другим, более мелким подрядчикам.

Едва начав свою деятельность, Свято-Александро-Невский приход занял первенствующее положение среди других православных приходов в Западной Европе. Его священно- и церковнослужители неоднократно приглашались в соседние страны, где надо было освятить церкви, возводившиеся при российских посольствах по примеру Парижа.

В приходе развернулась активная просветительская и благотворительная работа. Когда в Петербурге в начале лета 1862 года случился пожар, причинивший большой ущерб и оставивший без крова тысячи людей, причт Свято-Александро-Невского храма, еще обремененного собственными долгами, объявил сбор пожертвований в помощь погорельцам. Можно привести здесь письмо о. Иосифа, адресованное временному поверенному в делах российского посольства в Париже П. П. Убри, замещавшему уехавшего в Россию посла. Оно не требует комментариев.

Милостивый государь, Павел Петрович!

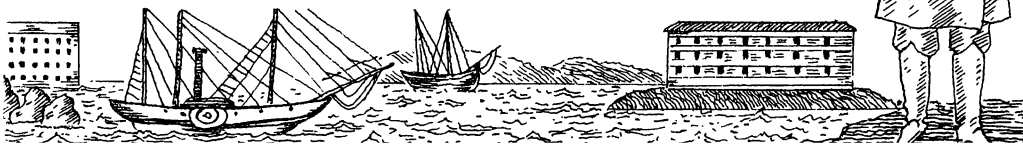
По получении известия о страшном пожаре, лишившем многих жителей Санкт-Петербурга всего их достояния, соотечественники наши, временно пребывающие в Париже, изъявили желание придти на помощь несчастным посильными приношениями. Испросив уполномочия у господина нашего Посла, графа Павла Дмитриевича Киселева, я принимал эту христианскую помощь, в которой приняли участие даже некоторые французы.

До сего числа я собрал четыре тысячи семь сот франков (4700 фр.), которые имею честь вручить Вашему превосходительству для препровождения куда следует. Подписка имеет продолжаться, и я, по мере поступления сумм несколько значительных, буду приносить оные Вам.

Покорнейше прошу сделать отметку на листе, хранящемуся у меня, о получении ныне вносимой суммы.

Примите, Милостивый государь,
уверение в моем истинном почтении.

Протоиерей Иосиф Васильев
Париж, 7/19 июля 1862 г.[218]



И в дальнейшем Свято-Александро-Невский приход, вплоть до революции 1917 года и Гражданской войны, всегда будет откликаться на беды и невзгоды, случавшиеся в России. Так было, например, в 1921–1922 годах, когда ограбленные у себя на родине русские беженцы, группировавшиеся в приходе, поднялись над личными обидами и нашли возможность оказать материальную помощь голодавшим Поволжья. Эта милосердная традиция была возобновлена с начала 1990-х годов, когда прихожане собора многократно собирали средства в помощь многочисленным жертвам второго в XX веке крушения российского государственного корабля и последовавшей за этим «шоковой терапии».

Таковы были некоторые обстоятельства, связанные с началом духовной, просветительской и благотворительной деятельности Свято-Александро-Невского храма в Париже, как они отразились в документах российского посольства начала 1860-х годов.

Остается лишь напомнить, что в 1922 году храм с благословения митрополита Евлогия (Георгиевского) получил статус кафедрального собора, а с 1983 года его здание значится как исторический памятник Франции. Вот уже полтора столетия приход Свято-Александро-Невского храма является одним из главных духовных очагов русского православия на земле Франции.

«С чувством глубочайшей признательности...»

Конец карьеры графа П. Д. Киселева

15 мая 1862 года чрезвычайный и полномочный посол Российской империи при императоре французов Наполеоне III граф Павел Дмитриевич Киселев, как обычно, работал за столом кабинета на втором этаже своей резиденции в доме № 79 на улице Фобур-Сент-Оноре. Правда, в тот день он был занят не редактированием очередной депеши вице-канцлеру князю А. М. Горчакову, а составлением прошения на высочайшее имя с просьбой об отставке. Еще несколько дней назад он и не помышлял об уходе на покой, свыкшись за последние

шесть лет с посольской службой в Париже, которую даже полюбил, вопреки первоначальному предубеждению, с которым он приехал в столицу Франции осенью 1856 года.

Закончив составление лаконичного документа, написанного, в отличие от направлявшихся им регулярно в Санкт-Петербург депеш, не по-французски, а на родном языке, Павел Дмитриевич перечитал то, что написал:

Всемилостивейший государь!

Приняв с покорностию, после полувекового служения, назначение, указанное мне Вашим Императорским Величеством в прошлом 1856 г., я более надеялся на усердие, чем на силы, коими располагать еще мог.

Ныне приближается дряхлость, а с нею опасение не быть уже в состоянии выполнять служебные обязанности с тою ревностию, которые считал всегда первым своим долгом.

В таком положении мне остается только всеподданнейше просить Вас, Всемилостивейший Государь, о назначении мне преемника и о дозволении оставить вовсе службу, для исправления утраченного здоровья, если это еще возможно в преклонных моих летах.

Не чувствуя себя более в силах приносить действительную пользу на службе Вашего Величества, я буду в последние дни жизни воссылать к Всевышнему только молитвы об увенчании Ваших усилий к преуспеванию любезного Отечества.

С глубочайшим благоговением имею счастье быть
Вашего Императорского Величества верноподданный
Граф Павел Киселев

Париж
1862 года, мая 15 дня[219].

Какие же причины побудили графа Павла Дмитриевича принять столь неожиданное для него самого решение?

Несколькими днями ранее он был извещен князем Горчаковым о предстоящем приезде в Париж барона Андрея Федоровича Будберга, посылаемого туда с особой миссией — подготовить двустороннее соглашение с Францией о совместных действиях в восточных делах — в Сербии, Черногории и Гре-

ции, а также о защите интересов христиан в Оттоманской империи[220].

Одновременно сообщалось, что барон Будберг, служивший до того посланником при венском и берлинском дворах, должен будет оказывать посильную помощь графу Киселеву в исполнении обременительных в его почтенном возрасте обязанностей посла Его Величества в Париже.

Намек был более чем прозрачным и не оставлял Киселеву другого выбора, кроме добровольной отставки.

Это был уже второй намек такого рода. Впервые ему дали понять желательность его замены в Париже еще в 1860 году. Тогда, с подачи Горчакова, всегда недолюбливавшего Киселева, император Александр II предложил Павлу Дмитриевичу весьма престижный и вместе с тем необременительный пост председателя Государственного совета. Однако семидесятидвухлетний посол сделал вид, что не понял высочайшего намека и отклонил сделанное ему предложение, заверив императора в своей безграничной благодарности и совершенной преданности. Ему хотелось оставаться в Париже, где за проведенные здесь годы Киселев приобрел устойчивый вкус к посольской службе, которая ему нравилась и которую он желал бы продолжать. К тому же в той мере, в какой позволяли его возраст и состояние здоровья, граф привык к удобствам жизни в тогдашней «столице мира».

Император был раздосадован несговорчивостью Киселева, но взял паузу, которая продолжалась почти полтора года. За это время Горчаков нашел средство, способное сделать посла в Париже более покладистым.

А еще сравнительно недавно — в 1856 году — императору стоило немалых усилий и такта, чтобы убедить графа Киселева отправиться в Париж, оставив пост министра государственных имуществ.

Но прежде чем ответить на возникающие вопросы, совершим краткий экскурс в биографию нашего героя.

Павел Дмитриевич Киселев родился в 1788 году. Он принадлежал к числу крупнейших сановников николаевского царствования, входя в узкий круг наиболее доверенных лиц императора, с которым близко познакомился и даже подружился; в 1815 году он был свидетелем на его помолвке с прусской

принцессой Шарлоттой (будущей императрицей Александрой Федоровной).

Николай Павлович всегда отличал героев наполеоновских войн, а Павел Дмитриевич, безусловно, был одним из них. Кавалергардский ротмистр Киселев участвовал в 25 сражениях, включая Бородино. Он был отмечен четырьмя орденами и золотой шпагой с надписью «За храбрость». На него обратил внимание еще император Александр Павлович, сделавший Киселева своим флигель-адъютантом, а затем и генерал-адъютантом.

С юных лет Павел Дмитриевич был близок с П. А. Вяземским и А. И. Тургеневым, познакомившими Киселева с образом мыслей и идеалами лучших представителей тогдашней столичной молодежи. В сознании Павла Дмитриевича до конца дней причудливо соединялись консервативные убеждения, внушенные строгим семейным воспитанием, и либеральные мечтания, вынесенные из общения с друзьями, будущими декабристами.

Киселев не остался равнодушен к веяниям времени, порожденным недавно завершившейся войной против Наполеона. На волне патриотизма в обществе начались разговоры о необходимости ликвидировать постыдное крепостное право. В 1816 году флигель-адъютант полковник Киселев представил императору Александру I записку «О постепенном уничтожении рабства в России», где утверждал, что гражданская свобода есть основание народного благосостояния и что нельзя более мириться с униженным положением миллионов земледельцев в Российской империи. Это был один из первых документов, где обосновывалась необходимость отмены крепостного рабства.

Обращение Киселева к крестьянскому вопросу не было лишь данью модным веяниям времени. Этот вопрос интересовал Павла Дмитриевича глубоко, по-настоящему, что покажет его дальнейшая государственная деятельность.

Записка Киселева была прочитана высочайшим адресатом, но, как и другие аналогичные предложения на эту тему, оставлена без последствий.

В 1828 году за отличия в войне с Турцией Киселев получает чин генерал-лейтенанта. Занявший к тому времени престол император Николай I назначает его временным правителем

оккупированных Дунайских княжеств (Молдавии и Валахии), где за четыре с половиной года Киселев провел целый ряд прогрессивных реформ.

Административная деятельность Павла Дмитриевича в Дунайских княжествах получила полное одобрение Николая I, который в 1834 году вызвал его в Петербург, произвел в генералы от инфантерии и назначил членом Государственного совета, а через год ввел в Секретный комитет по рассмотрению вопроса о крестьянской реформе. Здесь Киселев явил себя поборником освобождения крестьян.

Поскольку столь смелый шаг для многих в окружении императора, да и для самого Николая Павловича, представлялся чреватым непредсказуемыми последствиями, было решено начать с создания особой системы управления для так называемых казенных (государственных) крестьян, составлявших 34 процента российского крестьянства. Организовать это важное дело император поручил Киселеву, назначенному в 1838 году министром государственных имуществ. В 1839 году Николай I возвел своего сподвижника в графское достоинство.

На посту министра, который он занимал без малого двадцать лет, Киселев в 1837–1841 годах провел реформу, получившую его имя. Сам Павел Дмитриевич считал это первым шагом в решении наболевшего крестьянского вопроса. Правда, в конце 1840-х годов, когда под влиянием революционной волны, прокатившейся по Европе, Николай I охладел к делу освобождения крестьян, Киселев, также всерьез опасавшийся крестьянских бунтов, поддержал мнение императора, посчитав преждевременной отмену крепостного права. Тем не менее вся его предшествующая деятельность на этом направлении снискала ему в обществе устойчивую репутацию «эмансипатора».

С воцарением в 1855 году Александра II, обнаружившего твердое намерение покончить с крепостным правом, все ожидали, что дело это будет поручено графу Киселеву. Каково же было всеобщее удивление, когда молодой император, по существу, отказался востребовать богатый административный опыт Киселева, отправив его своим послом во Францию, что сам Павел Дмитриевич воспринял едва ли не как опалу. По всей видимости, Александр II хорошо знал, что к концу пре-

дыдущего царствования «эмансипатор», под влиянием своего августейшего благодетеля, разуверился в возможности положительного и тем более скорого решения крестьянского вопроса. Вместе с верой в нем иссякла и былая энергия, а Александр в то время нуждался именно в убежденных и энергичных помощниках в деле решения крестьянского вопроса.

Удаление Киселева из Петербурга в момент, когда там готовились приступить к тем самым реформам, о которых Павел Дмитриевич мечтал с молодых лет, император обставил со всей возможной деликатностью. Он настойчиво убеждал Киселева в огромной важности возобновления прерванных с 1854 года отношений с Францией и в необходимости сближения с ней, наметившегося в ходе Парижского мирного конгресса. И действительно, в тот период посольство в Париже было первым по значению для российской дипломатии. Александр просил Киселева принять новое назначение как личную услугу, оказываемую государю. В Париже ему нужен доверенный и одновременно такой авторитетный человек, как граф Киселев.

Отставку Киселева с министерского поста Александр II сопроводил выпуском памятной медали в его честь. Он предложил Павлу Дмитриевичу самому назвать своего преемника на посту министра государственных имуществ и утвердил его предложение. Делалось все, чтобы не задеть самолюбия почтенного сановника.

Несмотря на обнадеживания императора, Киселев отправлялся в Париж в невеселом настроении, отчетливо понимая, что пик его карьеры безвозвратно пройден. В одном из писем к брату Николаю Дмитриевичу, служившему тогда посланником при римском и тосканском дворах, он писал перед отъездом в Париж: «Без грусти не могу думать об этом крупном повороте в моей жизни. Достанет ли меня? Буду ли я настолько счастлив, чтобы выполнить мое назначение? Или я должен пасть и кончить мою 50-летнюю карьеру — par un fiasco?». «Мое положение — в тумане, который я не могу рассеять, — писал он брату в другом письме. — Затем меня страшит эта деятельная жизнь, которая не по моим летам»[221].

Видимо, он смутно догадывался о тех трудностях, которые возникнут у него при исполнении возложенной на него миссии. Причем, надо сказать, немалую часть этих трудностей

он будет создавать себе сам. Обласканный двумя предыдущими государями — Александром I и Николаем I, — привыкший за восемнадцать лет пребывания в кресле министра напрямую решать вопросы с императором, граф Павел Дмитриевич с трудом будет мириться с необходимостью подчинять свою посольскую деятельность инструкциям министра иностранных дел князя А. М. Горчакова. Может быть, он рассматривал последнего как лишнего посредника между собой и государем. Кто знает?.. Так или иначе, но отношения между Киселевым и Горчаковым с самого начала приобрели несколько натянутый характер.

2 октября 1856 года Павел Дмитриевич в сопровождении небольшого штата прислуги отправился к новому месту службы.

У посла к тому времени уже не было семьи. Еще в 1829 году он «разъехался», а позднее развелся со своей супругой Софией Станиславовной, урожденной графиней Потоцкой. У них был единственный сын, но он умер в раннем детстве. Да и вообще их уже мало что связывало. К тому же графиня Киселева не простила мужу минутного увлечения ее сестрой. Супруги расстались. С тех пор Павел Дмитриевич более уже не связывал себя брачными узами, предпочтя необременительную жизнь холостяка.

Опережая приезд посла, в Париж был направлен курьер с личным письмом императора Александра к Наполеону III. «Сир, брат мой, — писал Александр, — я не хочу направлять посла Вашему Императорскому Величеству, не удостоверившись, что это именно тот человек, который сможет полностью завоевать Ваше расположение. Граф Киселев будет надежным и верным выразителем моих чувств и мыслей, рассказывая Вам о том, как я верю в преданность Вашей дружбы и как я надеюсь на то, что отношения между нашими империями будут укрепляться и дальше»[222].

26 октября 1856 года граф Киселев прибыл в Париж и уже на следующий день приступил к своим обязанностям. Вскоре он получит личное письмо от князя Горчакова, в котором среди прочего говорилось: «Мы имеем на самом важном для нашей дипломатии посту такого представителя Императора, о котором можно было только мечтать»[223].

Полученная послом инструкция утверждала, что основополагающим принципом внешней политики России являет-

ся следование решениям Венского конгресса 1815 года. В особенности подчеркивалась необходимость противодействия любым «подрывным попыткам» нарушить сложившийся в Европе порядок, долгое время обеспечивавшийся стараниями государств Священного союза[224].

В то же время из инструкции вытекало, что Россия должна руководствоваться новыми реалиями, отбросив былые предубеждения. Прежде всего это касалось Франции, где, вопреки запрету Венского конгресса, к власти вернулась династия Бонапартов. Такова реальность, говорилось в инструкции, и насущные интересы России требуют установления «прочного союза с Францией, который предоставил бы России такие гарантии, коих мы не получили от союзов, определявших до сих пор нашу политику». Здесь содержался явный намек на предательскую позицию Австрии и двусмысленное поведение Пруссии в ходе Крымской войны.

Вместе с тем инструкция предписывала Киселеву осторожную линию поведения. «Император считает, что по отношению к Луи-Наполеону мы не должны делать не слишком много, но и не слишком мало. Слишком много означает возможность нашего невольного вовлечения в такие действия, из которых мы не извлечем никакой пользы, но которые могут ущемлять наши интересы. Слишком мало означало бы разочаровать столь влиятельного государя, побудив его искать другую опору, которую он не нашел у нас».

Киселеву поручалось внимательно и всесторонне изучать характер и образ мыслей Наполеона III. Судя по первоначальным наблюдениям, писал Горчаков, император французов полагает, что сближение с Россией может дать Франции большие преимущества в европейской политике. Необходимо поддерживать и укреплять его в этом убеждении, но при этом не связывать Россию никакими формальными обязательствами перед ним, поскольку нельзя исключать того, что Наполеон способен встать на путь «авантюристичной политики, предполагающей территориальные завоевания». Последние два слова в тексте инструкции были подчеркнуты Горчаковым.

Наполеону следует внушить, что император Александр весьма ценит его лично, как и отношения с Францией, но при этом желает сохранить полную свободу действий.

Резюмируя внешнеполитические устремления России, князь Горчаков констатировал: «Твердое намерение нашего августейшего государя заключается в том, чтобы употреблять силы России в пользу русских интересов»[225]. Таковы были установки, заложенные в основу деятельности в Париже графа Киселева как официального представителя императора Александра II.

С самого начала новому послу удалось установить доверительные отношения с императором Наполеоном, императрицей Евгенией и министром иностранных дел графом Александром Валевским. В Тюильри и на Кэ д'Орсэ к нему относились в высшей степени любезно и даже предупредительно, что во многом облегчало решение поставленных перед Киселевым задач.

Чувствуя заинтересованность императора французов в дальнейшем сближении с Россией, Киселев тактично, но настойчиво побуждал Наполеона и его министра иностранных дел Валевского к согласованным действиям Франции и России в восточных делах, в частности, на Балканах, где в 1858 года совместными усилиями Парижа и Петербурга удалось предостеречь султана от вторжения в Черногорию.

Успехом увенчались старания Киселева и в достижении взаимодействия с Францией по урегулированию спорного вопроса о государственном устройстве Дунайских княжеств (Молдавии и Валахии), остававшихся под протекторатом Оттоманской Порты. Эта проблема более года обсуждалась на международной конференции в Париже, созванной по окончании Крымской войны. Прорыва на переговорах удалось достигнуть лишь после того, как российский и французский представители на конференции (Киселев и Валевский) стали выступать со сходных позиций, предполагавших расширение внутренней автономии объединяемых Дунайских княжеств.

19 августа 1858 года участники конференции подписали согласованный текст конвенции относительно устройства Дунайских княжеств. Этот важнейший документ, заложивший основу для будущей румынской государственности, провозгласил создание свободно управляемых Соединенных княжеств Молдавии и Валахии.

Когда год спустя нависла угроза войны на севере Италии, Павел Дмитриевич Киселев, наряду со своим французским коллегой в Петербурге герцогом де Монтебелло, представителем Наполеона III при Александре II, активно участвовал в процессе согласования позиций двух стран в перспективе развязывания военных действий Франции и Сардинского королевства против Австрии. Общие контуры такого взаимодействия были намечены на встрече царя и императора французов в Штутгарте в сентябре 1857 года и на последующих переговорах Александра II в Варшаве в сентябре 1858 года с принцем Наполеоном, кузеном императора.

В развитие достигнутых в Варшаве договоренностей в ноябре 1858 года в Петербург прибыл эмиссар императора французов, флотский капитан барон де Ла Ронсьер де Нури, уполномоченный для ведения переговоров о заключении двустороннего соглашения относительно взаимодействия в Северной Италии. Стороны обменялись подготовленными проектами соглашения и договорились продолжить переговоры в начале следующего, 1859 года.

Эти конфиденциальные переговоры возобновились в Париже. Со стороны России их поручено было вести графу Киселеву. Францию на переговорах представлял сам министр иностранных дел граф Валевский. Довольно быстро им удалось достигнуть взаимоприемлемых договоренностей и согласовать окончательный текст секретного договора, подписанного Киселевым и Валевским 3 марта 1859 года.

По этому договору Александр II, по существу, благословил Наполеона III на войну с Австрией, обещав благожелательный нейтралитет. Россия обязалась не препятствовать расширению Сардинского королевства, союзника Франции, с последующей передачей последней Савойи и Ниццы в обмен на Ломбардию, из которой предстояло изгнать австрийцев. Устно Наполеону было обещано придвинуть в случае войны к восточным границам Австрии несколько русских корпусов, чтобы помешать переброске австрийских подкреплений на север Италии.

В результате короткой военной кампании 1859 года франко-сардинские войска нанесли австрийцам три решающих поражения — при Монтебелло, Мадженте и Сольферино, вы-

нудив Франца-Иосифа заключить 8 июля 1859 года унизительное для Австрии Виллафранкское перемирие.

В результате послевоенного мирного урегулирования, в ходе которого Франция получила дипломатическую поддержку со стороны России, желанная цель Наполеона III была достигнута. Савойя и Ницца передавались Франции, а Пьемонт в порядке компенсации получил отторгнутую от Австрии Ломбардию.

Все это время — от назревания военного конфликта до его исхода в пользу Франции — граф Киселев был для Петербурга главным источником конфиденциальной информации из Парижа и одновременно — посредником между царем и императором французов в этом деликатном деле.

В качестве уполномоченного России Киселев в 1860–1861 годах участвовал в переговорах представителей шести держав по урегулированию положения в Сирии, куда под предлогом защиты христиан-маронитов от мусульман были направлены французские войска. Когда в Париже была созвана международная комиссия по сирийской проблеме, российский посол граф Киселев действовал в ее составе в тесном контакте с французским представителем.

5 сентября уполномоченные великих держав согласовали конвенцию «относительно европейской оккупации Сирии». От имени России документ подписал граф Киселев.

За годы работы в Париже, куда первоначально он отправлялся с неохотой и даже скрытой обидой на молодого государя, Павел Дмитриевич не только свыкся с порученной ему миссией, но и превратился в убежденного поборника сближения с Францией. С некоторых пор чрезмерное, в глазах Горчакова, франкофильство посла стало вызывать беспокойство в Петербурге, но об этом еще будет сказано.

Посольские функции среди прочего обязывали Киселева подробно информировать Петербург о развитии внутриполитической ситуации во Франции. Время от время он направлял Горчакову подробные записки («мемуары») о раскладе политических сил во Второй империи, особенно накануне выборов в парламент (Законодательный корпус), а также по их результатам. Эти записки готовились для посла его сотрудниками, а он брал на себя их окончательную редакцию, после чего от-

правлял подготовленный документ министру иностранных дел.

Со времен восстания 1830–1831 годов в Польше российское посольство в Париже внимательно следило за активностью многочисленной польской эмиграции во Франции, пытаясь по мере возможностей быть в курсе замыслов ее руководителей, стремившихся поддерживать очаг напряженности в Царстве Польском.

В своих депешах и докладных записках в Петербург Киселев, опираясь на получаемые его сотрудниками разными путями (в том числе и через агентурную сеть) сведения, задолго до восстания 1863 года многократно предупреждал о возможности нового революционного взрыва в Польше, где активно действовали эмиссары польской эмиграции во Франции.

Одновременно российское посольство, во взаимодействии с Третьим отделением Собственной Е. И. В. канцелярии, занималось наблюдением за русскими эмигрантами из числа противников самодержавия. Так, например, в августе 1862 года Киселев направил на имя Горчакова секретную записку о приезде в Париж знаменитого анархиста Михаила Бакунина. Ссылаясь на «секретные сведения, полученные из различных источников», посол сообщал, что цель приезда Бакунина в столицу Франции — добиться объединения усилий «русской демократической партии, представляемой Герценом, с польской революционной фракцией во главе с Мирославским». Речь идет, подчеркивал посол, «о далеко идущем заговоре с целью свержения императорского правительства и установлении республиканского строя в России и Польше»[226]. Заговорщики преисполнены «самых зловещих планов в отношении членов императорской семьи и намереваются в дальнейшем разжечь в Европе пламя всеобщего восстания», предупреждал посол[227].

Среди вопросов, которыми по должности занимался граф Павел Дмитриевич, были не только политические. Он, например, вел предварительные переговоры о возможности участия французского капитала, в частности банкирского дома Ротшильда, в финансировании строительства железных дорог в России, к чему проявляли растущий интерес французские деловые круги[228].

Именно Киселев поставил перед князем Горчаковым вопрос о необходимости приобретения нового здания русского посольства в Париже.

К просьбе графа Киселева в Петербурге отнеслись с пониманием, но средств на реконструкцию старого и тем более на приобретение нового здания в то время изыскать не смогли. Лишь через десять лет, уже после отъезда Киселева из Парижа, русское посольство получит новое, более просторное здание — особняк д'Эстре, на улице Гренель[229].

Одним из последних дел графа Киселева на посольской должности в Париже стало активное содействие в возведении русского православного храма вблизи знаменитой Триумфальной арки на площади Этуаль (Звезды).

3 марта 1859 года посол России граф Киселев заложил первый камень в основание будущего православного собора в Париже. Спустя два с половиной года, 11 сентября 1861 года, он присутствовал на освящении этого храма.

Трудно сказать, чувствовал ли Павел Дмитриевич весной 1862 года, что его посольская миссия в Париже подошла к концу. Ничто, казалось, не предвещало грядущих перемен. В Петербурге, как он искренне полагал, им должны были быть довольны.

В Тюильри он всегда был желанным гостем. Император Наполеон и императрица Евгения неизменно свидетельствовали почтенному графу свое дружеское расположение. Самые добрые отношения связывали российского посла с министром иностранных дел Александром Валевским и сменившим его в январе 1860 года на Кэ д'Орсе Эдуардом Тувенелем.

Действительно, казалось бы, такой посол, как граф Киселев, был для императора Александра и князя Горчакова идеальной фигурой, своеобразным гарантом успешного продолжения сближения с Францией. Однако в Петербурге думали иначе.

В чем же дело?

А дело было в том, что к началу 1860-х годов там пришли к выводу: первоначальные надежды на Францию себя не оправдали. Да, Наполеон III оказал России эффективное содействие при заключении Парижского мирного договора в 1856 году. В дальнейшем он санкционировал определенное согласова-

ние французской политики с линией российской политики на Балканах. Но император французов не спешил исполнить главное свое обещание, данное Александру II, в частности, на их личной встрече в Штутгарте — содействовать отмене дискриминационных в отношении России статей Парижского мира. А именно этого Александр и его министр иностранных дел более всего ожидали от Наполеона, но тот всячески уклонялся от выполнения данного обещания. Зато он энергично добивался поддержки со стороны России в реализации своих планов в Северной Италии и в Германии, где намеревался «округлить» границы в пользу Франции.

Такая поддержка была ему оказана в 1859 году, в ходе франко-сардино-австрийской войны, в результате которой Франция получила Савойю и Ниццу. В 1860 году Россия, как уже говорилось, заняла позицию благожелательного нейтралитета по отношению к Франции в связи с военной операцией последней в Сирии.

Но и после этого Наполеон III не обнаруживал желания помочь России хотя бы в частичном пересмотре условий Парижского договора 1856 года.

На все запросы из Петербурга по этому поводу он давал уклончивые ответы, что в конечном счете привело императора Александра и вице-канцлера Горчакова к определенному выводу: реальной поддержки от Наполеона ожидать не приходится; соответственно и ресурс сближения с Францией исчерпан. Это убеждение к тому же подкреплялось фактическим поощрением французским правительством антироссийской деятельности польской эмиграции во Франции.

А граф Киселев продолжал убеждать царя и министра иностранных дел в обратном — в большом запасе прочности франко-российского сотрудничества, в искренности намерений императора французов в отношении России и ее государя. В донесениях и телеграфных депешах, направляемых Горчакову, он часто (пожалуй, даже слишком часто) рассказывал, с каким радушием его всегда принимает Наполеон, описывал откровенные и дружеские беседы с ним, свидетельствующие, по мнению Киселева, о желании французского императора развивать тесное взаимодействие с Россией.

Павел Дмитриевич не мог, конечно, знать, что его депеши из Парижа с некоторых пор читаются в Петербурге с возра-

ставшим недоверием. На полях одной из них, относившейся к декабрю 1861 года, сохранилась карандашная пометка Горчакова на французском языке: «Все, что он здесь рассказывает, не имеет, на мой взгляд, никакого значения»[230].

Первое время сам Горчаков был сторонником сближения с Францией. Но когда ему стало ясно, что император французов действует исключительно в собственных интересах и не намерен помогать России в отмене или хотя бы ослаблении ограничений, наложенных на нее Парижским мирным договором, Горчаков изменил свое отношение к Франции и ее политике. Он сумел убедить в этом и императора Александра, подталкивая государя к мысли о необходимости замены посла в Париже, не желающего понять, что за ласковым обхождением с ним в Тюильри давно уже нет реального политического содержания, что его сознательно вводят в заблуждение, умело подпитывая франкофильские настроения семидесятилетнего Киселева.

«В Петербурге, — отмечал самый авторитетный биограф Александра II, — давно уже были недовольны Киселевым и помышляли об отозвании его из Парижа, находя, что посол "проведен" Наполеоном, и не полагаясь на его умственные силы, начинавшие, видимо, слабеть от старости»[231].

Согласившись с мнением Горчакова, император Александр долго не мог решиться отозвать из Парижа «друга своего отца», как он аттестовал Киселева Наполеону III. Однажды, в 1856 году, ему не без труда удалось убедить заслуженного ветерана государственной службы сменить министерский пост на должность посла во Франции. И теперь, приняв решение, Александр попытался обставить отзыв Киселева со всеми надлежащими почестями. Отказ Павла Дмитриевича в 1860 году занять пост председателя Государственного совета раздосадовал императора, но он тогда не подал виду.

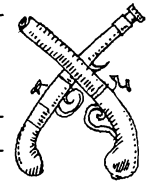
И вот теперь, в мае 1862 года, последовал новый, более явный намек на желательность добровольного ухода посла. Не понять его означало бы потерять лицо, а этого граф Павел Петрович допустить не мог.

На прошении Киселева об отставке император написал карандашом для Горчакова: «Переговорить завтра. Во всяком слу-

чае, я хочу сохранить его на службе в звании Генерал-Адъютанта»[232].

На это высочайшее пожелание, переданное в письме Горчакова, Павел Дмитриевич ответил, что не питает иллюзий относительно своего дальнейшего участия в государственных делах. «В их нынешней сложности, — писал он вице-канцлеру, — они требуют привлечения более молодых сил, чем те, которыми я располагаю...» Киселев поблагодарил министра за выраженные в его последнем письме добрые чувства к нему и заверил Горчакова в своем искреннем желании «сохранить и укрепить наши давние хорошие отношения»[233].

В тот же день (6 июня) Киселев отправил письмо на имя императора с выражением «глубочайшей признательности» за все оказанные ему «милости». «Мое намерение, Государь, — писал Павел Дмитриевич, — состояло в том, чтобы провести остаток жизни на покое, более соответствующем моему возрасту, нежели продолжение активной жизни. Благоволение ко мне, выраженное Вашим Величеством в милостиво адресованных мне пожеланиях, обязывает меня неукоснительно подчиниться им без всякого колебания и с благодарностью»[234].



Одним словом, отставленный посол, смирив уязвленную гордость, согласился продолжить службу в качестве генерал-адъютанта, каковым он стал в далеком 1823 году, еще при императоре Александре I. Впрочем, в его нынешнем положении эта служба носила сугубо формальный характер и не потребовала даже пребывания в Петербурге. Киселеву милостиво было дано высочайшее разрешение на проживание во Франции.

Два дня спустя, 8 июня 1862 года, граф Киселев получил аудиенцию у Наполеона III, которому сообщил о своей предстоящей отставке и скором приезде в Париж нового посла, барона Будберга. Огорчение императора французов сообщенной ему Киселевым новостью было совершено искренним. В свою очередь, и российский посол был искренен в выражении признательности Наполеону за неизменное расположение и доброжелательность, проявлявшиеся к нему на протяжении всех шести лет его посольской миссии в Париже.

Киселев заверил императора французов в том, что его преемник в Париже, барон Будберг, — человек весьма опытный в дипломатии и, несомненно, расположенный к Франции.

Месяц спустя, в середине июля 1862 года, граф Киселев с разрешения князя Горчакова отправился на воды в Германию, где провел полтора месяца.

В начале сентября он вернулся в Париж, куда уже прибыл барон Будберг. Киселев приступил к передаче ему посольских дел, а 16 октября получил прощальную аудиенцию у Наполеона. Вручив императору отзывные грамоты, Киселев официально представил ему советника посольства П. П. Убри, который до вступления в должность нового посла назначен был поверенным в делах при тюильрийском кабинете. Вслед за Наполеоном граф Киселев радушно был принят императрицей Евгенией[235]. Они распрощались как старые добрые друзья.

17 октября стал последним рабочим днем Павла Дмитриевич в качестве посла в Париже. В этот день он составил два донесения и одно письмо, отправленное с курьером в Петербург.

Письмо было адресовано императору Александру. В нем говорилось:

Ваше Императорское Величество,

С чувством глубочайшей признательности я имел счастье получить Всемилостивейший рескрипт, которым Вашему Величеству благоугодно было принять мою просьбу об увольнении от должности Вашего Величества Посла при Императоре французов.

Во исполнение Высочайшей воли я представил отзывные Вашего Императорского Величества грамоты, слагающие с меня звание Посла.

Принужденный состоянием здоровья прекратить служебную деятельность, которой я посвящал доныне все свои силы и помышления, я не престану хранить в своем сердце память о милостях Вашего Величества и Ваших Царственных Предшественников.

Да благословит Всевышний попечения Ваши, Государь, о благе подвластных Вам народов! Да упрочит великое дело, столь искренно желанное Вашим Державным Родителям,

и столь счастливо совершенное Вами, и да утвердится навсегда благоденствие обновленной Вами России!

С благоговением и беспредельною преданностию имею счастие быть

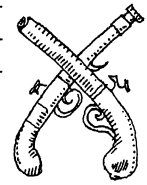
Вашего Императорского Величества
Верноподданный
Граф П. Киселев

Париж 5/17 октября 1862[236].

Две депеши были адресованы князю Горчакову. В первой министр был проинформирован о прощальной аудиенции посла у Наполеона III и о передаче последнему отзывных грамот[237].

Во второй депеше Киселев давал краткие, исключительно лестные, аттестации сотрудникам своей дипломатической миссии в Париже, а также консулам и вице-консулам, работающим в столице Франции и в других городах — Марселе, Бордо и Гавре.

В тот же день граф Киселев сердечно простился с дипломатами, а поутру 18 октября покинул посольскую резиденцию на Фобур-Сент-Оноре, где провел более шести лет. Карета доставила его на приобретенную им квартиру в один из респектабельных кварталов Парижа. Здесь он проведет последние десять лет жизни, продолжая живо интересоваться европейской политикой и, конечно же, тем, что происходило на его родине.



Где-то здесь же, в Париже, доживала свой век и его бывшая, давно забытая им супруга. София Станиславовна переживет Павла Дмитриевича всего на два года. Она умрет в бедности, лишившись средств вследствие неискоренимого пристрастия к азартным играм.

В своей парижской квартире время от времени Киселев принимал немногих оставшихся старых друзей, членов императорской семьи и других гостей из России. Среди последних были и либеральные сподвижники Царя-Освободителя, видные деятели Великих реформ, включая двух именитых племянников Киселева — Дмитрия и Николая Милютиных. Первый, генерал-адъютант Е. И. В., с 1861 года был военным министром России, второй — статс-секретарем.

Анализируя на покое течение европейской политической жизни, Павел Дмитриевич чувствовал грядущие крупные пе-

ремены, сумев даже заглянуть за пределы XIX столетия. «Я убежден, — записал он в дневнике 9 ноября 1866 года, — что наступят большие перевороты в свете и что социальное возрождение изменит в течение XX века настоящее положение дел»[238]. Задолго до Сентябрьской революции 1870 года он предсказал падение режима Наполеона III[239].

Граф Киселев умер в Париже 14/26 ноября 1872 года в возрасте восьмидесяти четырех лет. Он завещал похоронить его на кладбище Донского монастыря в Москве, что и было исполнено.

«Дело Каракозова» глазами барона Талейрана

Иностранных дипломатов, в частности французских, всегда поражало в России сакральное отношение простого народа к особе царя, наделявшегося народным сознанием всеми возможными добродетелями, включая отеческую строгость («с нами, мол, иначе нельзя»). При этом царские чиновники, особенно на местах, почти всегда и везде ассоциировались в том же сознании с несправедливостью и алчностью («царь-то хорош, да бояре плохи»).

С другой стороны, и царская власть по крайней мере с 1613 года, со времен легендарного Ивана Сусанина, видела в народе самую верную свою опору, что бы ни утверждала марксистская историческая наука с ее «классовым подходом». Вера царей в «свой народ» лишь укрепилась, пройдя череду дворцовых переворотов, устраивавшихся дворянской верхушкой после смерти Петра I вплоть до воцарения Александра I.

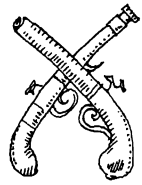
Непонятный для рационально-скептического сознания европейских наблюдателей характер взаимоотношений царя и народа в России отмечали многие иностранцы.

Вот, например, что писал императору Наполеону III из Москвы 15 сентября 1856 года его сводный брат, граф Огюст де Морни, посол Франции в России, приехавший на коронацию Александра II: «...Здесь почти не видно присутствия полиции... Народ повсюду имеет свободный доступ, его можно встретить даже в дворцовых прихожих. Император может свободно и без

всякого сопровождения, утром или вечером, выйти из дворца и отправиться на прогулку — пешком, верхом или в коляске, посреди уличной толпы. Видя такое, невольно начнешь размышлять о том, какими могут быть отношения между правителями и народами»[240], — мечтательно заключил Морни, имея в виду, что такое положение вещей совершенно немыслимо на его родине, где со времен убийства Генриха IV французские монархи никогда не чувствовали себя в безопасности в окружении своих подданных.

Идиллическая картина взаимоотношений самодержца и русского народа была нарушена 4/16 апреля 1866 года, когда человек с внешностью простолюдина выстрелил в императора Александра II, который, как обычно, прогуливался в Летнем саду, недалеко от Зимнего дворца. Потрясение в обществе от этого первого в тысячелетней истории России публичного покушения на жизнь помазанника Божьего было ошеломляющим.

Сам император поначалу подумал, что это месть поляков за подавление им восстания 1863 года. Когда же оказалось, что стрелял русский, назвавшийся после задержания крестьянином, Александр совершенно растерялся. Он искренне и глубоко верил в гармонию своих отношений с народом, которого в 1861 году освободил от крепостной зависимости.



Царь-Освободитель испытал настоящее облегчение, когда ему сообщили, что злоумышленник — вовсе не крестьянин, а бывший студент и даже дворянин Дмитрий Каракозов. Одновременно ему сказали, что замысел террориста был сорван благодаря своевременному вмешательству некоего Комисарова, костромского крестьянина, перебравшегося в Петербург и случайно оказавшегося у места происшествия. Комисаров в последний момент успел отвести руку стрелявшего Каракозова, и пуля пролетела мимо головы самодержца всея Руси.

Комисаров немедленно был объявлен спасителем Царя и Отечества. В его героическом поступке усмотрели Божий перст. Костромской крестьянин Сусанин в 1613 году спас Михаила Романова, основателя правящей династии. Другой крестьянин-костромич, Комисаров, через двести пятьдесят три года спасает жизнь его царствующему потомку. Указом императора новый спаситель был возведен в дворянское достоинство, получив к своей фамилии дополнение — Комисаров-Ко-

стромской. Единство трона и народа, давшее было трещину, официальная идеология постаралась восстановить — как оказалось, не надолго. «Происшествие 4 апреля» стало прелюдией к серии покушений народовольцев на жизнь Царя-Освободителя, в конечном счете павшего их жертвой 1 марта 1881 года.

Обстоятельства «дела Каракозова» достаточно хорошо известны по опубликованным документам и проведенным на их основе исследованиям. Правда, вне поля зрения историков до сих пор оставались такие источники, как свидетельства современников этого события из среды иностранных наблюдателей. В этих свидетельствах, наверное, мало принципиально нового относительно фактической стороны покушения Каракозова, но они интересны именно как взгляд со стороны.

К числу таких свидетельств относятся донесения французского посла в Санкт-Петербурге барона Шарля де Талейрана-Перигора[241], родственника знаменитого государственного деятеля Франции, а также замещавшего его на время отпуска временного поверенного в делах Э. де Фрезаля. В их депешах, адресованных министру иностранных дел Э. Друэн де Люису, а затем — маркизу Л. де Мустье, представлена детальная картина «злоумышления 4 апреля». Ценность этого источника определяется тем, что французские дипломаты имели возможность получать информацию непосредственно от вице-канцлера князя А. М. Горчакова, других петербургских сановников и даже от самого царя.

На следующий день после покушения французский посол отправил в Париж пространную депешу следующего содержания[242]:

«Император Александр избежал вчера смертельной угрозы. Около четырех часов пополудни Его Величество выходил из Летнего сада, где он совершал свою ежедневную прогулку в обществе герцога Лейхтенбергского[243] и своей сестры, принцессы Баденской...[244] Один из двух агентов полиции, встречавший его у ворот, подал императору его шинель. Вокруг собралась многочисленная толпа прохожих. Один из них, одетый как мещанин, извлек из кармана своего пальто пистолет и направил его на императора. Находившийся рядом с ним мужик, увидевший это, закричал: "Ты что делаешь!" Он бросился вперед и резким движением ударил злоумышленника по кисти

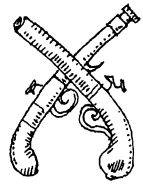
руки, в которой был пистолет, который в этот момент выстрелил. Пуля просвистела мимо уха императора. Толпа набросилась на убийцу, который не успел выстрелить вторично. Его, скорее всего, растерзали бы на месте, если бы не вмешательство императора...

"Зачем вы меня остановили? — кричал этот человек. — Я принес себя в жертву ради вас. Я и сам крестьянин. Император вас обманул. Он не дал вам землю..."

Злоумышленник был тщательно обыскан. В его кармане нашли записку с множеством зачеркиваний, свидетельствующую о том, что ее автор — вовсе не человек из народа. В записке говорилось: "Император нас предал, он не дал нам достаточно земли". Далее содержалась просьба — сжечь эту записку в случае гибели или ареста ее автора.

В кармане задержанного нашли также две революционные прокламации.

Император вернулся в Зимний дворец и отправился к императрице, которая буквально оцепенела от сообщенной ей новости о преступлении, жертвой которого должен был стать ее супруг.



Тем временем у Зимнего дворца стал собираться народ. Плохо осведомленный о последствиях покушения, он желал видеть своего государя. Император появился на балконе, чем вызвал приветственные возгласы, которые становились все более и более громкими. Затем он спустился к ожидавшей его карете и сел в нее вместе со своей дочерью, великой княжной Марией[245]. Карета медленно двинулась вокруг Зимнего дворца. Лошади с трудом продвигались сквозь плотное скопление людей. Завершив объезд, карета направилась к Казанскому собору, где в присутствии императорской семьи был отслужен благодарственный молебен за чудесное спасение императора.

По возвращении во дворец император принял того, кто спас ему жизнь — простого крестьянина из Костромской губернии, работающего здесь шляпником. Его зовут Осип Иванов. Во дворец были срочно приглашены офицеры гвардейского полка и самые знатные представители дворянства. Его Величество обратился к ним со словами: "Вот человек, который спас мне жизнь. За его самоотверженность я хотел бы возвести его в дворянское достоинство. Что вы об этом думаете, господа?"

Эти слова были встречены радостным возгласом — У-р-р-а-а! Император здесь же подписал патент на дворянство крестьянину, который бросился к его ногам, и дал ему фамилию — Костромской — в память о Костромской губернии, откуда он был родом. Предполагается объявить общенациональную подписку, которая должна принести солидное обеспечение этому новому дворянину.

Это уже второй случай, когда выходец из Костромской губернии оказывает подобного рода услугу императорской фамилии. Двести пятьдесят лет назад простой человек из этой провинции спас жизнь первому из Романовых.

Исполнитель покушения — молодой человек 20–22 лет. В течение нескольких часов он отказывался отвечать на задаваемые вопросы. Потом попытался ввести следствие в заблуждение, назвавшись крестьянином из Луги Алексеем Петровым. По другой версии, он уроженец Рязани, но все говорит о том, что он скрывает свое подлинное имя.

В момент задержания злоумышленник был одет в пальто, под которым на нем была русская национальная рубашка, а под ней — белая сорочка. Его речь и его манеры неопровержимо свидетельствуют о принадлежности к более высокому кругу, чем тот, на который указывает его одежда.

Сведения, которые удалось от него получить, говорят о том, что он обучался в гимназии, куда был определен за счет своего отца. Он сознался в том, что в течение последнего года размышлял над планом убийства императора и распространил среди столичных рабочих 80 прокламаций, сходных по содержанию с теми, которые были найдены при нем. Все это указывает на то, что речь идет об эмиссаре некой партии и что его преступление — это не дело рук одинокого фанатика.

Очевидно, что Петров наделен хладнокровием. Он совершил свое преступление безо всяких эмоций, что выражалось и в том, что, будучи задержан, он поужинал в камере с большим аппетитом. Содеянное им преступление карается смертной казнью. Хотя в принципе она здесь отменена, тем не менее эта высшая мера предусмотрена для случаев оскорбления Величества.

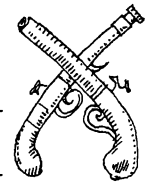
Вчера вечером город был иллюминирован, а в Зимнем дворце был отслужен благодарственный молебен. Такой же молебен отслужили и в Исаакиевском соборе.

В момент совершения покушения, как и после него, император сохранял абсолютное хладнокровие. Когда он вернулся во дворец и принимал своих министров, то сказал им: "По-видимому, господа, я еще на что-то способен, если подвергаюсь нападению".

Наследный великий князь[246], приехавший чуть позже, бросился в отцовские объятия. "Твоя очередь еще не подошла", — сказал император, обнимая сына.

Вчера, по получении известия о покушении, я вместе с послом Англии отправился к князю Горчакову, чтобы выразить ему чувства моего негодования в связи с происшедшим преступлением. Этим утром вице-канцлер должен будет получить от своего августейшего государя уведомление о том, когда он сможет принять выражение чувств дипломатического корпуса.

Имею честь присовокупить к этой депеше номер "Санкт-Петербургских ведомостей"[247], в котором содержится отчет о преступном деянии, жертвой которого мог стать Его Величество [император Александр]. Я приложу все старания, чтобы последовательно сообщать о дальнейшем развитии этого дела».



В следующей депеше, датированной 18 апреля (6 апреля с. с.) 1866 года, Талейран излагал подробности аудиенции, данной накануне Александром II членам иностранного дипломатического корпуса. В отсутствие дуайена корпуса, посла Испании герцога Оссуна, его роль была возложена на барона Талейрана, который приветствовал чудесное спасение царя от имени всех послов и посланников, аккредитованных при петербургском императорском дворе.

Император Александр ответил, что он тронут вниманием и поддержкой дипломатического корпуса в связи с недавним драматическим инцидентом, а также поблагодарил дипломатов за множество полученных им от иностранных государей телеграмм и просил передать своим монархам чувства самой глубокой благодарности за сочувствие и солидарность в трудный для него и его страны момент.

Талейран сообщал, что народный энтузиазм в связи с чудесным спасением царя не утихает. Перед входом в Зимний дворец по-прежнему толпы людей, собирающихся в надежде увидеть своего императора и приветствовать его.

«В том, что касается террориста Петрова, — продолжал Талейран, — я не могу сообщить пока ничего нового, кроме распространившегося по городу слуха, за достоверность которого я не мог бы поручиться. Говорят, будто он пытался повеситься в своей тюремной камере. Этот слух, насколько можно предположить, основан на состоянии глубокой депрессии, в которую впал террорист»[248].

Как видим, подлинное имя стрелка пока не было раскрыто, и Талейран продолжает называть его Петровым. Зато посол на этот раз исправил ошибку в фамилии спасителя царя — не Иванов, а Осип Комисаров.

Новому национальному герою России Талейран посвятил подробную депешу, отправленную им в МИД 22 апреля[249]. «Этот случай можно отнести к тем, когда реальная история становится богаче романа и когда реальность дает нам такие факты, которые под пером писателя представлялись бы неправдоподобными», — писал Талейран.

Далее посол сообщил любопытные факты из биографии Осипа Ивановича Комисарова — простого шляпника, жившего до достопамятного для него 4 апреля на грани нищеты. Комисаров с семьей снимали в Петербурге комнату за один рубль в месяц. В тот день хозяин мастерской, где трудился Осип Комисаров, предоставил ему выходной по случаю его именин, и будущий герой с раннего утра размышлял над тем, как поправить свое финансовое положение и угостить друзей, которые могут прийти поздравить его.

Не найдя удовлетворительного ответа на мучивший его вопрос, он оставил жену дома и в тяжелом настроении отправился бродить по городу, решив вернуться поздним вечером. По пути Осип зашел в маленькую церквушку на левом берегу Невы, чтобы поставить свечку своему небесному покровителю, попросив у него заступничества. Потом он оказался у ворот Летнего сада, где толпа зевак ожидала выхода императора. Здесь же, у ворот, стоял императорский экипаж. Комисаров смешался с толпой и вскоре оказался в первом ряду зрителей.

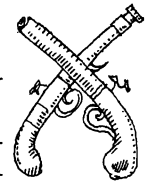
В этот момент человек, стоявший за ним, бесцеремонно отодвинул Осипа Ивановича и встал на его место. Когда император направился к ожидавшему его экипажу, Комисаров увидел, что его сосед извлек из кармана пальто пистолет и направил его в сторону царя. Выстрел мог прозвучать в любой

момент. Разоружить злоумышленника возможности не было, и потрясенный происходящим Осип Иванович, схватив неизвестного за кисть руки с пистолетом, отвел ее вверх. В это время раздался выстрел. Пуля пролетела чуть выше уха императора.

Обомлевшая было толпа набросилась на террориста и повалила его на землю. Несостоявшийся убийца под охраной был отправлен в Третье отделение, а Осипа Комисарова с почетом доставили в Зимний дворец, где его ожидало возведение в потомственное дворянство под фамилией Костромской.

Когда поздним вечером ошалевший от всего пережитого Осип Иванович вернулся к себе домой и рассказал жене о том, что с ним произошло, та решила, что муж выпил лишнего, в одиночку отметив свои именины.

На следующий день бедная женщина услышала от соседей то, что вчера ей рассказывал муж, которого она сочла неадекватным. Весь город уже был полон самых фантастических слухов о чудесном спасении императора и его спасителе из народа. Но окончательно мадам Комисарова поверила в эту невероятную историю только тогда, когда в дверь их убогого жилища постучал офицер с распоряжением срочно доставить ее мужа во дворец.



Последующее развитие событий, как пишет барон Талейран, было похоже на сказочную историю. Император даровал бедному шляпнику дворянство, а «нация сделала его миллионером». Только жители Москвы в рамках объявленной всенародной подписки, по сведениям посла Франции, собрали для Комисарова-Костромского несколько сот тысяч рублей. Сбор средств в пользу спасителя царя и отечества, в котором участвовали все сословия, проводился по всей империи.

Осип Иванович был нарасхват, сообщает барон Талейран. Его приглашают на всевозможные собрания и банкеты, где встречают овациями и исполнением национального гимна. Предводитель московского дворянства граф Орлов-Давыдов сумел заполучить национального героя к себе в Москву, где дал обед в честь новоиспеченного дворянина Комисарова-Костромского с участием самых именитых дворян губернии. Обед сопровождался многочисленными тостами, включая стихотворные, в честь императора, его спасителя и города Москвы.

«Комисарову всего двадцать лет, — пишет Талейран. — Это довольно хрупкий, болезненного вида блондин маленького роста. У него подвижное, выразительное лицо, свидетельствующее о природном уме. В обстановке всеобщего энтузиазма ему удается сохранять меланхоличную безучастность к происходящему. Если верить слухам, он желает только одного — чтобы его оставили в покое...

Его культурный уровень, если позволительно в данном случае употреблять такое выражение, оставляет желать лучшего: белая сорочка и широкий редингот заменили красную рубашку и тулуп; но при этом он по-прежнему носит мужицкие сапоги.

У него совсем маленький ребенок. Его жена, судя по всему, в большей степени, чем он, приспособилась к выпавшей на их долю фортуне. Его родители были высланы в Сибирь за безнравственное поведение. Два его брата стали солдатами. Сам он не умеет ни читать, ни писать.

Таков в нескольких словах, господин министр, этот новоиспеченный дворянин...» — заключал барон Талейран свою характеристику Осипа Комисарова.

Посол счел необходимым отметить, что в обществе уже появляются некоторые признаки скептической реакции на «чрезмерный энтузиазм», проявляемый властью в отношении «спасителя Отечества». Некоторые считают, что он получает намного больше, чем заслужил, и видят в этом определенную опасность для самого героя.

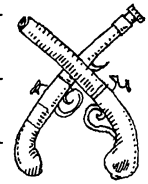
Важное место в информации, отправлявшейся Талейраном в Париж в связи с «делом Каракозова», занимали последовавшие за покушением перемены в высшей полиции и администрации. В отставку был отправлен генерал князь В. А. Долгоруков, возглавлявший Третье отделение и Отдельный корпус жандармов. На его место был назначен граф П. А. Шувалов, генерал-губернатор Балтийских провинций. Заменено было руководство общей полиции во главе с генералом Анненковым. Свой пост потерял и петербургский генерал-губернатор князь А. А. Суворов, должность которого вообще была упразднена. Во главе столичной полиции с самыми широкими полномочиями был поставлен генерал Ф. Ф. Трепов, бывший генерал-полицмейстер в Царстве Польском. На место снятого

министра народного просвещения А. В. Головина был назначен обер-прокурор Святейшего Синода граф Д. А. Толстой.

Все эти замены производились в процессе работы Верховной комиссии по расследованию «дела Каракозова». Комиссию возглавил граф М. Н. Муравьев, бывший до того министром государственных имуществ и генерал-губернатором Северо-Западного края. Барон Талейран называет его «проконсулом в Литве». Именно его французский посол считает инициатором произведенных императором Александром министерских перемещений, в частности, Головина, который по убеждению Муравьева, «распустил студентов», чем способствовал распространению среди них «ниспровергательных настроений».

Одним из первых распоряжений Муравьева в качестве главы Верховной комиссии стало введение жесткой цензуры на публикацию каких бы то ни было материалов о ходе расследования, кроме тех, которые сама комиссия посчитает нужным предать гласности.

Обстановка полной секретности в расследовании, отмечает Талейран, порождает всевозможные, подчас самые невероятные, слухи об исполнителе и организаторах террористического акта. Наряду с этими слухами, по мнению французского посла, существует и вполне обоснованное мнение, что злоумышленник «принадлежит к ультра-социалистической секте нигилистов, вербующих многочисленных сторонников в университетах империи»[250].



В назначении Муравьева главой Верховной комиссии и включение в ее состав графа Берга, также служившего в Польше, барон Талейран усмотрел желание императора Александра отыскать «польский след». Очень не хотелось царю верить, что покушение — дело рук русского человека. Здесь, как мы знаем, его ожидало глубокое разочарование.

Уже к 25 апреля, то есть через девять дней после покушения, стало известно настоящее имя террориста — Каракозов. Талейран сообщал в Париж, что это удалось выяснить после тщательного обыска, проведенного в квартире, где проживал «Петров».

Далее в описании Талейрана правда перемешалась с вымыслом. Впрочем, сам дипломат делает осторожную оговорку — «как меня уверяют...». Он сообщает, что Каракозов хо-

рошо образован и даже имеет степень доктора, полученную якобы в Гейдельбергском университете. Обладая развитой памятью, он свободно говорит на польском, французском, немецком и итальянском языках. У него нашли визитную карточку доктора Боткина, который показал следствию, что имеет привычку давать карточку всем своим пациентам. Когда в Третьем отделении ему скрытно показали арестованного, который не мог в этот момент его видеть, доктор Боткин сразу же признал в нем своего пациента, дважды побывавшего у него на приеме. Больной представился доктору как Владимиров. Когда Каракозову сообщили, что Боткин его опознал, подследственный с улыбкой ответил: «Доктор Боткин не мог меня опознать, так как для него я — Владимиров».

Оказалось, что свою вымышленную фамилию он произвел из отчества, а полное имя террориста — Дмитрий Владимирович Каракозов, уроженец Саратовской губернии, бывший студент Московского университета, подверженный «приступам меланхолии и ипохондрии», из-за чего в течение месяца находился на лечении в университетской больнице. В письме к одному из товарищей он даже просил прислать ему опиум, чтобы свести счеты с жизнью.

Обо всех этих открытиях следствия барон Талейран подробно информировал своего министра иностранных дел. Надо сказать, что депеши Талейрана с интересом читал не только министр, но и император французов Наполеон III, сам переживший несколько покушений на свою жизнь. Наполеон настолько впечатлился подвигом Комисарова, что произвел его в кавалеры Почетного легиона.

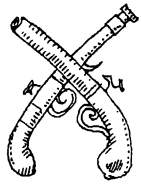
С началом летнего сезона 1866 года сообщения о «деле Каракозова» становятся все более редкими в переписке барона Талейрана, хотя Следственная комиссия продолжала интенсивно работать, стараясь восстановить полную картину преступления и выявить его корни. Было арестовано около 200 человек, заподозренных в причастности к этому делу. Более 30 из них предстанут перед судом.

Сам суд и вынесение приговора состоятся уже в отсутствие барона Талейрана, который 1 сентября покинет Петербург и отправится в отпуск на родину, оставив вместо себя Э. де Фрезаля в качестве временного поверенного в делах. Именно он в дальнейшем будет информировать свое правительство

о развитии «дела Каракозова». Сменится и непосредственный получатель депеш из Петербурга. Новым министром иностранных дел Франции в сентябре 1866 года стал маркиз Леонель де Мустье.

Первую свою информацию о «деле Каракозова» Фрезаль направил в Париж 8 сентября (н. с.) 1866 года[251]. В депеше поверенный в делах сообщил о начале работы Верховного суда над Каракозовым и его сообщниками, которых выявила комиссия Муравьева. Во главе суда был поставлен председатель Государственного совета князь Павел Гагарин, что свидетельствовало о чрезвычайной важности процесса. «Хотя в газетах было объявлено, что заседания по этому печальному делу будут открытыми, — писал Фрезаль, — императорское правительство приняло решение о закрытом характере процесса. Никому, кроме назначенных адвокатов, не было разрешено присутствовать на заседаниях. Это было сделано для безопасности обвиняемых...

Никто здесь не сомневается, что Каракозову и его главным сообщникам будет вынесен смертный приговор, — добавлял французский дипломат. — Преследование лиц, совершивших особо опасные преступления, требует наивысшего наказания. Тем не менее, по всеобщему мнению, император не согласится на казнь. Со времени своего восхождения на трон Его Величество, как мне говорили, очень часто смягчал смертные приговоры за неполитические преступления, заменяя их пожизненным изгнанием в Сибирь. Ожидают, что император, следуя своему природному великодушию, поступит так же, тем более что покушение было совершено лично против него».



Спустя несколько дней Фрезаль сообщил о закладке первого камня будущей часовни у входа в Летний сад, на месте покушения. Это было организовано, как отметил дипломат, с «некоторой помпой», с участием митрополита Санкт-Петербургского и Новгородского Исидора, в присутствии государя и всех членов императорской семьи, при стечении многотысячной толпы горожан. Никто из членов дипломатического корпуса не был приглашен на эту церемонию, которой, по словам Фрезаля, «императорское правительство хотело придать исключительно национальный характер».

Закладка будущей часовни совпала с вынесением приговора Каракозову и его сообщникам, о чем стало известно лишь

на следующий день, 13 сентября. «Как и предполагали, — сообщал об этом событии месье де Фрезаль, — исполнитель покушения Дмитрий Каракозов был приговорен к смертной казни...

Как здесь повсюду говорят, Его Величество намеревался смягчить приговор на пожизненную каторгу. Такое намерение он высказал на заседании Кабинета министров, проходившем в Царском Селе, но государственные соображения, высказанные министрами, взяли верх. В конечном итоге император согласился с их доводами и утвердил смертный приговор»[252].

Ранним утром 15 сентября Каракозов был повешен на Смоленском поле, на дальней окраине Петербурга. Как только о казни стало известно, французский дипломат, перепроверив информацию, поспешил отправить в Париж депешу, в которой, в частности, говорилось: «Этим утром, в 5 часов Каракозов был вывезен из [Петропавловской] крепости, где он содержался, и доставлен на место казни, находящемся вдали от города, в одном из пригородов. Данное обстоятельство не помешало тому, чтобы на месте казни Каракозова собралась многочисленная толпа. Я не слышал, чтобы там были хоть какие-то проявления беспорядка. Приговоренный поднялся на эшафот, сохраняя полное самообладание. Он встал на колени, произнес молитву и безо всякого сопротивления отдался в руки палачей. Его тело оставалось в подвешенном состоянии в течение двадцати минут.

Уже долгие годы в Санкт-Петербурге не проводили смертной казни. Поэтому пришлось вызывать палача из Вильно, для того чтобы он оказал помощь своему столичному сотоварищу, неопытному в этом деле.

Теперь, господин министр, — завершал свое донесение Фрезаль, — остается дождаться процесса над второй группой подследственных, причастных к покушению 4 апреля. Верховный суд на днях должен приступить к изучению этого дела»[253].

Французский дипломат имел в виду группу обвиняемых во главе с Н. А. Ишутиным, двоюродным братом Каракозова. Дело так называемых «ишутинцев» (32 человека) было выделено в отдельное производство. Суд над ними состоялся в первую декаду октября 1866 года. Руководитель революционного кружка был приговорен к смертной казни, которая указом императора перед самым приведением приговора в исполне-

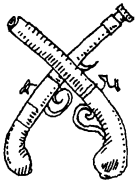
ние была заменена вечной каторгой. К каторжным работам и ссылке были приговорены остальные участники подпольной организации.

Окончание второго процесса совпало с торжествами по случаю бракосочетания наследника-цесаревича Александра Александровича с датской принцессой Дагмарой, ставшей после принятия православия великой княгиней Марией Федоровной.

К этому важнейшему для монархических государств событию в Петербург поспешил вернуться из отпуска и барон Талейран, принявший участие в торжествах, которые он подробно описал в своих донесениях в Париж.

Так уж совпало, что террорист Каракозов ушел из жизни почти одновременно со своим главным «дознавателем». Председатель Верховной следственной комиссии граф Михаил Николаевич Муравьев скончался на семьдесят первом году жизни за два дня до вынесения смертного приговора двадцатипятилетнему Дмитрию Каракозову.

Французский дипломат посвятил покойному Муравьеву специальную депешу с подробным изложением его биографии. «Граф Муравьев, — писал Фрезаль 12 сентября в Париж, — позавчера был найден мертвым в своей постели. Накануне он провел вечер в кругу семьи. Глубокой ночью его поразил сильнейший апоплексический удар. Генералу было около семидесяти пяти лет.



Известие о его смерти немедленно породило слухи об отравлении графа, но, на мой взгляд, они не имеют под собой оснований. Смерть генерала, вне всякого сомнения, была естественной. Тем не менее император Александр, во избежание дальнейшего распространения в прессе всевозможных домыслов, распорядился провести вскрытие тела бывшего губернатора Западных провинций и провести самое тщательное исследование причин его смерти»[254].

Годовщина со дня счастливого спасения императора Александра была отмечена освящением часовни, возведенной на месте террористического акта в Петербурге. Это событие отмечалось на самом высоком уровне с приглашением членов иностранного дипломатического корпуса. Присутствовавший

на церемонии посол Франции барон де Талейран оставил ее описание.

«Вчера, — писал он 17 апреля 1867 года, — в торжественной обстановке состоялось освящение часовни, построенной на общественные пожертвования у входа в Летний сад. Она должна напоминать о покушении на жизнь императора Александра, предпринятом в это время в прошлом году. Хотя пасмурная погода и не благоприятствовала торжеству, тем не менее, оно собрало огромную толпу людей, желающих принять участие в этой церемонии. Император, сопровождаемый великими князьями, находившимися в это время в Санкт-Петербурге, проследовал перед войсками, которые выстроились вдоль набережной и у Летнего сада, приветствуя его прохождение. У часовни император остановился. Рядом с ним — великие княгини и княжны, за исключением императрицы, состояние здоровья которой не позволило ей присутствовать при освящении часовни Здесь же — весь дипломатический корпус в парадных мундирах и сановники двора.

Освящение часовни проводил митрополит Санкт-Петербургский и Новгородский. Рядом с императором стоял его спаситель, господин Комисаров, которого Его Величество тепло обнял. Меня уверяют, будто вчерашним утром император принял Комисарова, вручив ему тридцать тысяч рублей и патент на звание знаменосца гвардейских гусар»[255].

Это сообщение французского дипломата стало последним, относящимся к «делу Каракозова». В дальнейшем будет еще много свидетельств такого рода, но все они относились уже к другим «подвигам» русских революционеров-террористов.

Что же касается часовни у Летнего сада, то она простояла до 1930 года, когда была снесена. Большевистский режим, менявший в массовом порядке исторические названия российских городов, улиц и площадей, переименовывая их не только в честь своих вождей, но и своих предшественников-террористов — Желябова, Перовской, Халтурина, Каляева и др., — не мог долго терпеть существования в «городе Ленина» часовни, у входа в которую имелась вызывающая надпись: «Не прикасайся к Помазаннику Моему».

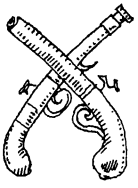
Остается только удивляться, что подобной участи избежал известный всем храм Спаса-на-Крови (Воскресения Христо-

ва), воздвигнутый в Петербурге на месте рокового покушения на Александра II в 1881 году.

И последнее, относящееся к судьбе спасителя царя в апреле 1866 года. Бремя славы оказалось непосильным для Осипа Ивановича Комисарова. Новоиспеченный дворянин постепенно спился и в 1892 году покончил с собой в приступе белой горячки.

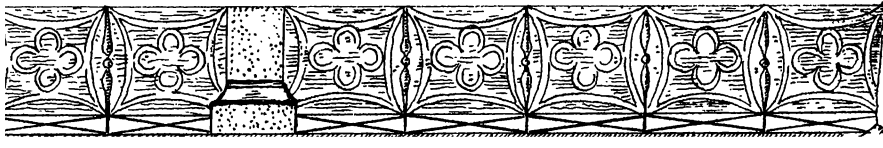
Выстрелы в Булонском лесу

В погожий солнечный день 6 июня 1867 года, около пяти часов пополудни, открытая коляска, в которой находились два императора — Александр II и Наполеон III, — неспешно катила по Булонскому лесу. Вдоль аллей рассредоточились толпы зевак, мешавших временами продвижению экипажа. Парижане радостно приветствовали своего императора и его высокого гостя, русского царя, которые возвращались с военного смотра, состоявшегося на ипподроме Лоншан. Рядом с августейшими особами в коляске находились два сына Александра II — великие князья Александр и Владимир.



Когда экипаж поднялся на Большой каскад Булонского леса, из толпы один за другим раздались два выстрела, произведенные почти в упор. Перед тем как прозвучал второй выстрел, берейтор Наполеона III успел ударить стрелявшего по руке. Одна из пуль задела женщину из толпы, другая — лошадь. К тому же при втором выстреле разорвало ствол пистолета, от чего пострадал сам стрелявший, правая рука и лицо которого были залиты кровью. Толпа набросилась на него, и лишь вмешательство царя спасло террориста от расправы на месте. «Несите его в карету и найдите для несчастного врача», — сказал Александр II, и только когда его просьба была удовлетворена, он согласился продолжить путь, уступая настояниям Наполеона III. «Если это итальянец, то он хотел убить меня, а если поляк — то вас», — мрачно заметил император французов[256], вспомнив, видимо, о трех покушениях на свою жизнь, предпринятых итальянскими революционерами в 1855 и 1858 годах.

Наполеон лично сопроводил царя до Елисейского дворца, выделенного ему в качестве резиденции на время пребывания



в Париже, куда он прибыл на Всемирную выставку 1867 года. Император французов был крайне раздосадован инцидентом в Булонском лесу, грозившим перечеркнуть все его планы по улучшению отношений с Россией, изрядно испортившихся после 1863 года, когда русская армия подавила восстание в Польше, а Франция фактически выступила на стороне восставших поляков. За истекшие с тех пор четыре года в Париже появилось осознание серьезной угрозы со стороны набиравшей силу Пруссии, разгромившей в 1866 году Австрию, свою главную соперницу в Германии, и расширившую границы до Рейна.

Пригласив Александра II в Париж, Наполеон III очень надеялся заручиться его поддержкой против Пруссии. Можно было понять его беспокойство возможными последствиями покушения 6 июня для франко-российских отношений, тем более когда выяснилось, что террористом оказался участник польского восстания 1863 года 20-летний Антоний (Антон) Березовский, который нашел приют во Франции.

Сколько раз князь А. М. Горчаков делал представления французскому послу в Петербурге барону Талейрану относительно антироссийской активности польской эмиграции во Франции! Сколько раз русский посол в Париже барон А. Ф. Будберг делал аналогичные представления и лично Наполеону III, и его министрам! Все эти демарши повисали в воздухе, не находя должного понимания ни в Тюильри, ни на Кэ д'Орсэ. И вот теперь случилось то, чего не без основания опасались в Петербурге.

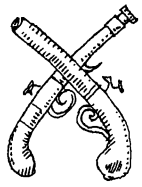
На следующий день после покушения Наполеон отправил в Елисейский дворец свою супругу, императрицу Евгению, которая со слезами на глазах умоляла Александра не прерывать свое пребывание в Париже. Она уверяла царя, что покушение — дело рук одиночки, который понесет самое суровое наказание.

Император Александр внял мольбам Евгении, заверив ее, что программа визита не будет сокращена из-за этого прискорбного инцидента. Помимо политических соображений у Александра были и личные мотивы остаться в Париже еще некоторое время. Здесь находилась его любимая Катя, княжна Екатерина Долгорукова, примчавшаяся по первому же зову из

Неаполя, куда в конце 1866 года она была отправлена в «ссылку» по настоянию императрицы Марии Александровны.

Перед приездом в Париж император распорядился снять для своей возлюбленной, с которой не виделся долгие шесть месяцев, небольшой особняк на улице Бас-дю-Рампар, по соседству с Елисейским дворцом, куда Екатерина Долгорукова тайком проникала каждый вечер в течение всего десятидневного пребывания царя в столице Франции. «Еще более сблизившись вследствие произошедших событий и долгой разлуки, имея большую свободу для встреч, чем в российской столице, вдалеке от двора и сплетен, они, практически не таясь, дали развитие своим романтическим отношениям», — отмечает Элен Каррер д'Анкосс, современный биограф Александра II[257].

Первым, кого Александр пожелал увидеть после инцидента в Булонском лесу, была его Катя. Короткие, полные страсти парижские ночи окончательно и бесповоротно превратили Екатерину Долгорукову в самого близкого для Александра человека. По возвращении в Петербург их отношения перестанут быть тайной. Император обеспечит своей возлюбленной официальный статус при дворе, и с тех пор они уже никогда не расстанутся.



Приглашение посетить Париж Александр II получил от императора Наполеона III накануне открытия там Всемирной выставки в апреле 1867 года. Для Наполеона это был удобный повод попытаться возобновить прежде дружественные отношения двух стран, расстроившиеся, как уже говорилось, во время восстания 1863 года в Польше. Царь, конечно же, негодовал на императора французов за его недвусмысленную поддержку поляков, но все же внял совету вице-канцлера А. М. Горчакова принять протянутую Наполеоном III руку. В Петербурге все еще питали некоторые надежды на содействие Франции в отмене ограничений Парижского мира 1856 года, хотя весь предшествующий опыт общения с ненадежным французским партнером и не давал к этому серьезных оснований. Вполне возможно, что на решение императора Александра поехать в Париж в большей степени повлияло простое человеческое любопытство — ведь о Всемирной выставке по всей Европе так много говорили и побывать на ней

считалось, чуть ли не обязательным для всякого просвещенного человека. Существовал и еще один мотив, быть может, самый важный для Александра Николаевича — возможность встретиться с Екатериной Долгоруковой, с которой его разлучила императрица.

Так или иначе, Александр II принял предложение императора французов и 28 мая 1867 года из Царского Села по железной дороге отправился в дальний путь. Императора сопровождали два старших сына — великие князья Александр и Владимир, вице-канцлер князь А. М. Горчаков, генерал-адъютант князь В. А. Долгоруков, министр Императорского двора граф А. В. Адлерберг и граф П. А. Шувалов, начальник Третьего отделения, шеф корпуса жандармов.

Французский посол в Петербурге барон де Талейран-Перигор сообщал в Париж, что в окружении Александра II раздавались голоса, предостерегавшие его от этой поездки[258]. Кое-кто прямо говорил о возможности покушения на его жизнь в Париже, где укрылись многие участники польского восстания 1863 года. Однако царь был непреклонен в своем решении. «Его Величество, — докладывал Талейран министру иностранных дел маркизу де Мустье, — остался безразличен ко всем этим внушениям, с достоинством ответив, что подобные опасения не могут заставить его волноваться, так как он целиком полагается на гостеприимство Франции»[259]. Наверное, эти слова не раз потом вспомнят и в Петербурге, и в Париже...

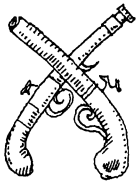
Хорошо понимая, куда он едет и с какими требованиями может столкнуться в Париже, Александр II, сделав остановку на пограничной станции Вержболово (Царство Польское), 29 мая подписал указ об амнистии участников восстания 1863 года. «По существующему здесь единодушному мнению, — сообщал из Петербурга барон Талейран, — среди мотивов, которыми продиктован этот великодушный акт императора Александра перед его приездом в Париж, несомненно, есть и желание сделать приятное Его Величеству [Наполеону III], избежав тем самым тягостных воспоминаний о Польше в беседах двух монархов»[260].

Французский посол высказал также мнение, что объявленная царем амнистия, безусловно, будет одобрительно встречена в Польше, где на обратном пути из Парижа Александр II

намерен сделать остановку и встретиться со своими польскими подданными[261].

Еще ранее, в середине марта 1867 года, император Александр амнистировал французов, участвовавших в польском восстании и отправленных в Сибирь. Прощения этих французских волонтеров давно и тщетно добивалось посольство Франции в Петербурге. На все просьбы герцога де Монтебелло и сменившего его на посольском посту в России барона де Талейрана вице-канцлер Горчаков неизменно ссылался на то, что французы были взяты с оружием в руках и осуждены в законном порядке, как это принято в любом современном европейском государстве. «Валуев[262] проинформировал меня, что император Александр только что помиловал всех французов, замешанных в последних событиях в Польше, депортированных в Сибирь или заключенных в тюрьмы в других провинциях империи», — телеграфировал шифром Талейран министру иностранных дел Мустье 14 марта 1867 года[263].

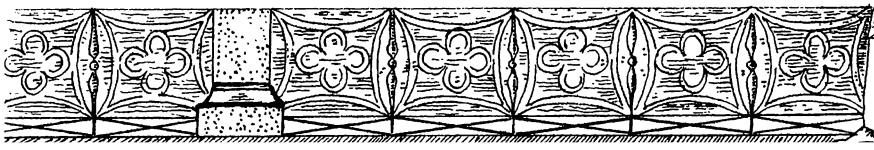
В Петербурге рассчитывали на то, что этот жест доброй воли будет должным образом воспринят как в Тюильри, так и во французском обществе. Если в отношении официальной Франции расчет в целом оправдался, то с настроениями в обществе все было иначе.



Александр I и его свита поняли это сразу же, как только покинули Северный вокзал Парижа, где царя встречал сам император Наполеон III. На пути следования кортежа от вокзала до императорской резиденции Тюильри из толпы, как обычно в торжественных случаях собравшейся на улицах, неоднократно слышались возгласы: «Vive la Pologne!» То же самое повторилось на следующий день, когда Александр II посетил Сен-Шапель. Здесь, у Дворца правосудия группа адвокатов встретила его появление тем же возгласом: «Да здравствует Польша!» А еще через день юный поляк Антоний Березовский стрелял в царя в Булонском лесу.

Ко всем этим враждебным выпадам Александр II оставался внешне безучастным, он сохранял полное спокойствие и достоинство, а в отношении раненого Березовского проявил даже сострадание, потребовав прямо на месте преступления оказать террористу медицинскую помощь.

Что он чувствовал в душе? Может быть, досаду на самого себя за то, что поддался искушению побывать в Париже. Но ведь



здесь ему предстояли не только непростые переговоры с императором Наполеоном и содержательные экскурсии по павильонам Всемирной выставки, но и встречи с любимой женщиной... Кто знает, о чем он думал?.. Во всяком случае, всю намеченную программу визита Александр выполнил до конца.

А вот в Петербурге и Москве, во всей России покушение в Булонском лесу вызвало бурю возмущения — быть может, даже более сильного, чем год назад, когда у Летнего сада в царя стрелял Дмитрий Каракозов. Поначалу здесь сочли, что в императора стрелял француз, и это было чревато подъемом ксенофобии, как после падения Севастополя в 1855 году. Правда, вскоре последовало разъяснение, что злоумышленником оказался поляк, и все стало на свои места. Временный поверенный посольства Франции в России маркиз Жозеф де Габриак, замещавший находившегося в Париже Талейрана, сообщал из Петербурга, что здесь сразу же активизировались противники поездки императора в Париж[264].

Габриак и весь состав французского посольства 7 июня присутствовали в Исаакиевском соборе на благодарственном молебне по случаю спасения императора Александра от пуль злоумышленника. Французский дипломат в донесении в Париж отметил огромное стечение народа в соборе и вокруг него. Вечером весь город был иллюминирован.

10 июня Габриак присутствовал на приеме, который устроила для дипломатического корпуса императрица Мария Александровна. Подойдя затем к французскому поверенному в делах, она взволнованно сказала: «Я глубоко тронута проявлением чувств Ее Величества императрицы [Евгении] и французского народа по отношению к императору Александру в этих грустных обстоятельствах, послуживших нашему сближению»[265].

Что же касается Александра II, то остававшиеся до отъезда в Россию дни он аккуратно посещал в Париже все определенные программой официальные мероприятия и балы. Его видели неизменно спокойным, вежливым и открытым. Перед отъездом царь поблагодарил французскую императорскую чету за теплый прием. Он щедро вознаградил и берейтора, возможно спасшего ему жизнь в Булонском лесу.

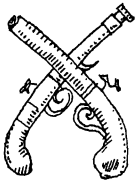
11 июня Александр II покинул столицу Франции. «При воспоминании о нашем пребывании в Париже меня охватыва-

ет дрожь... — писал великий князь Александр Александрович, будущий император Александр III, своему другу князю Мещерскому. — Да, нам пришлось там нелегко. Ни единой минуты я не чувствовал себя спокойно. Никто не мог гарантировать, что это (покушение) не повторится...

У меня было единственное желание: уехать из Парижа. Я послал бы все к дьяволу, лишь бы император мог целым и невредимым как можно скорее вернуться в Россию. Каким счастьем было покинуть этот вертеп»[266].

После продолжительной остановки в Варшаве Александр II 30 июня вернулся в Царское Село. При первой же встрече с бароном Талейраном император подтвердил то, что ранее императрица сказала маркизу Габриаку, добавив, что оказанный ему в Париже Наполеоном и Евгенией прием был поистине сердечным и дружеским. «Он мне сказал, — докладывал Талейран в Париж, — что вынес из поездки во Францию исключительно приятные воспоминания и впечатления»[267].

А в Париже в это время начинался судебный процесс над террористом. Следствие подтвердило, что Березовский действовал в одиночку, на свой страх и риск. Обвинение сразу же исключило личные мотивы в его поступке, сославшись на то, что Березовский стал жертвой политических страстей вокруг польской проблемы, что могло бы послужить некоторому смягчению его безусловной вины. Эмманюэль Араго, адвокат подсудимого, упирал на политическую подоплеку действий Березовского, мстившего за свою порабощенную родину и за сосланную после подавления восстания семью. Сам же он — человек благородный и добрый, что подтверждают привлеченные адвокатом свидетели.



Березовский, к которому за прошедшее после покушения время вернулось спокойствие и уверенность, говорил, что действовал исключительно во имя независимости униженной Польши и сожалеет лишь о том, что все случилось в «дружественной» полякам Франции. Он категорически утверждал, что покушение на царя задумал давно и не имел сообщников ни среди французов, ни среди польских эмигрантов.

Страстная речь защитника, обрушившего град критики на царя, залившего кровью несчастную Польшу, произвела впечатление на присяжных. В своем вердикте, вынесенном 15

июля, они признали Березовского виновным, но по некоторым обстоятельствам заслуживающим снисхождения. В результате террорист избежал смертной казни, получив пожизненный срок, который он должен был провести на каторжных работах в Новой Каледонии. «Александр [II] был уязвлен дважды, — заметил по этому поводу его биограф, — во-первых, этот приговор свидетельствовал об извращенном общественном мнении французов; во-вторых, он лишил его возможности обратиться к Наполеону III с просьбой о помиловании осужденного на смерть в качестве жеста милосердия»[268].

О том, как восприняли приговор Березовскому в России, сообщал в Париж барон Талейран. «Вердикт суда департамента Сена, который приговорил Березовского к пожизненным каторжным работам с учетом смягчающих обстоятельств, — отмечал посол, — был встречен большей частью общественного мнения в России с неодобрением»[269].

Талейран ссылался при этом на отклики в петербургской и московской прессе, в частности на «Московские ведомости» и «Голос», которые выступили с острой критикой решения парижского суда. «Эти атаки русской прессы... — писал Талейран, — довольно точно отражают общее настроение в стране. Что касается князя Горчакова и лиц из его окружения, — добавил он, — то они предпочли не входить со мной в объяснения по данному вопросу, сохраняя сдержанность»[270].

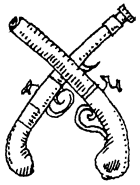
В то же время французский посол вынужден был констатировать, что за всеми теми любезными словами, которые он услышал от императора Александра по возвращении из Парижа, скрывается его разочарование во Франции, в возможности сотрудничать с ней. После инцидента в Булонском лесу и реакции на него французского общества, проявившейся и в приговоре Березовскому, в царе, по наблюдениям Талейрана, произошла перемена его отношения к Франции. «Поездка императора Александра в Париж, которая могла открыть новую эру в наших отношениях с Россией, мало что дала, — признавался Талейран в личном письме маркизу де Мустье. — Конечно, произошло очевидное улучшение личных отношений между двумя монархами, даже сближение между ними, что само по себе хорошо. Но, к сожалению, происшествие в Булонском лесу и последующее развитие событий... вызвали в душе

императора Александра горькое чувство относительно нынешнего состояния общественного мнения в нашей стране...

Я нисколько не сомневаюсь в том, — продолжал посол, — что вся эта горечь не относится лично к императору Наполеону, и лишь косвенно она может затрагивать его правительство. Я уверен, что в скором времени это пройдет, и надеюсь, что через два месяца, когда император Александр вернется из Крыма, куда он уехал, я буду иметь возможность сообщить вам, что его настроение изменится в лучшую сторону»[271].

Барон Талейран ошибся в своих ожиданиях. Перелом в отношении Александра II к Франции после поездки в Париж был окончательным и бесповоротным. «Много раз между Францией и Россией вставала тень Польши, — отмечал авторитетный французский историк. — В этом отношении поездка царя в Париж, которая могла бы стереть еще свежие воспоминания о вражде, лишь оживила их»[272].

Важнейшим следствием этой, оказавшейся неудачной, поездки стало сближение России с Пруссией, что определило фактическую изоляцию Франции перед нараставшей прусской угрозой. После 1867 года Александр II, всегда тянувшийся к Пруссии и одновременно всегда подозрительно относившийся ко Второй французской империи, сделал окончательный выбор в пользу Берлина.



Ну а «дело Березовского», послужившее детонатором для крутого поворота во внешней политике Александра II, имело свое логичное продолжение. После вынесения приговора Антоний Березовский был отправлен на каторгу, которую отбывал на острове Ну, в Новой Каледонии.

На рубеже 1869 и 1870 годов пошли слухи о том, что Березовский якобы возвращен с каторги. По этому поводу Горчаков направил тогдашнему послу России в Париже графу Э. Г. Стакельбергу шифрованную телеграмму следующего содержания: «Выясните у французского правительства, действительно ли Березовский в настоящее время находится по месту отбывания наказания»[273]. Стакельберг получил на Кэ д'Орсэ заверения в том, что Березовский по-прежнему пребывает на каторге в Новой Каледонии.

Когда в результате седанской катастрофы и последующей Сентябрьской революции 1870 года в Париже пала Вто-

рая империя, в демократических кругах Франции заговорили о возможности реабилитации или хотя бы помилования Березовского. Эти слухи в искаженном виде дошли и до Петербурга. Французский поверенный в делах в России Ж. де Габриак 21 февраля 1871 года сообщал в Париж по телеграфу: «Здесь утверждают, что Березовский, стрелявший в императора Александра II, был помилован А. Кремьё[274] перед тем, как тот оставил пост министра юстиции. Это решение, если оно соответствует действительности, произведет здесь очень плохое впечатление»[275].

Но и в этот раз слух оказался ложным. Когда 17 февраля 1871 года в Бордо было сформировано правительство А. Тьера, вновь пошли разговоры о пересмотре «дела Березовского». Габриак вновь обратился с запросом в свое Министерство иностранных дел, откуда 26 февраля получил телеграфное уведомление о том, что слухи о помиловании Березовского не соответствуют действительности. Действительно, Березовский обращался к новым властям с просьбой о помиловании, но эта просьба была отклонена[276]. Временный республиканский режим, установившийся во Франции как никогда нуждался во внешней поддержке и уже по этой причине не желал обострять отношений с Россией из-за томившегося на каторге поляка.

Перемены в судьбе Березовского начались только в 1886 году, когда укрепившаяся Третья республика сочла возможным заменить ему каторгу пожизненной ссылкой, а в 1906 году правительство Ж. Клемансо амнистировало 59-летнего Антония Березовского, который отказался возвращаться из Новой Каледонии, где и умер десять лет спустя.

Становой пристав

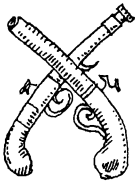
Индивидуальные штрихи к обобщенному портрету полицейского дореволюционной России

Если бы не инициатива президента России Д. А. Медведева о преобразовании милиции в полицию, я, скорее всего, никогда бы не извлек на всеобщее обозрение архивные документы, имеющие отношение к нашей семье. Но, просмотрев

эти документы еще раз, решил, что какая-то их часть может быть интересна тем читателям, кто желал бы получить «нелитературное», по М. Е. Салтыкову-Щедрину или В. Г. Короленко, представление о фигуре служащего русской дореволюционной полиции, работавшего преимущественно в сельской глубинке, и о характере его профессиональной деятельности.

В данном случае речь идет о старшем брате моего деда, Ферапонте Федоровиче Черкасове, шестнадцать лет, до самой Февральской революции, прослужившем в полиции. Из этих шестнадцати лет десять он провел в должности станового пристава в различных уездах Саратовской губернии. Но прежде чем продолжить рассказ, необходимо, как говорят в науке, определиться с понятиями.

Стан — административно-полицейский округ в составе нескольких волостей — появился в России в результате принятия в 1837 году Положения о земской полиции и проведенной тогда же реформы крестьянского самоуправления (учреждение волостных и сельских сходов). Органы сельского самоуправления были поставлены под контроль государственной власти в лице станового пристава, заседавшего в земском суде и ведавшего полицией на подопечной ему территории. В подчинении станового пристава находились урядники (конные и пешие) и низшие полицейские чины. В обязанности станового входило исполнение решений земского суда и предписаний центральной власти, ведение следствия, осуществление полицейских и хозяйственно-распорядительных функций.



Создавая институт становых приставов, правительство помимо прочего имело в виду обеспечение постоянного контакта с населением огромной империи, выяснение его нужд, потребностей и, конечно же, настроений. Поэтому становой половину времени проводил в разъездах по подведомственной ему территории, а по возвращении в свой кабинет принимал посетителей и «отписывался» вышестоящему начальству по самому широкому кругу вопросов — от расследования уголовных дел и прекращения, упаси Бог, имевших место беспорядков до видов на урожай, хода уборки хлебов и случаях эпизоотии среди домашнего скота в крестьянских хозяйствах. Таким образом, помимо собственно полицейских функций становой пристав, говоря современным языком, осуществлял функции сельскохозяйственного и ветеринарного надзора.

Непосредственным начальством для станового пристава с 1862 года было уездное полицейское управление во главе с уездным исправником. Количество и территория станов в пределах уезда определялись в зависимости от конкретных условий, в том числе от численности проживавшего там населения. Число и границы станов могли меняться по высочайше утвержденному представлению местного губернатора. Так, например, в 1899 году Саратовская губерния в административном отношении делилась на 10 уездов, 25 станов и 278 волостей[277]. Уже к началу 1914 года картина несколько изменилась: уездов в Саратовской губернии оставалось по-прежнему 10, а вот число станов возросло вдвое — до 40. Число волостей увеличилось незначительно — с 278 до 293[278].

Кто мог претендовать на занятие должности станового пристава?

По положению 1837 года, уточненному циркуляром министра внутренних дел в 1838 году, становой пристав назначался губернатором от имени императора «преимущественно из местных, имеющих в той губернии недвижимую собственность, дворян», предварительно отбираемых губернским дворянским собранием, подававшим список кандидатов на утверждение губернатору[279]. Такой порядок просуществовал до Великих реформ 1860-х годов. Потребности в полицейских кадрах низшего и среднего звена на местах возрастали и уже не могли удовлетворяться лишь за счет дворян, все более неохотно поступавших на службу в полицию. Правительство вынуждено было расширить социальную базу полицейских служащих, допустив в их ряды представителей других сословий — крестьянства и мещанства. Выходцы из этих сословий и раньше принимались на службу в полицию, но только на низшие должности, не выше унтер-офицерских (полицейских урядников). Предварительным условием для кандидата на должность станового пристава не из дворянского сословия на рубеже XIX–XX веков, разумеется, помимо гражданской и политической благонадежности стала достаточная грамотность и определенный уровень культуры.

Среди становых приставов появились две категории. К первой относились лица, имеющие «классный чин» в системе петровской Табели о рангах — коллежского регистратора, губернского секретаря или даже коллежского секретаря (то есть

от прапорщика до штабс-капитана или штаб-ротмистра, если сравнивать с военными чинами). Представители этой категории полицейских служащих могли рассчитывать на успешную карьеру. Для получения первого «классного чина» необходимо было представить аттестат о среднем (гимназическом) образовании. Те, кто такого аттестата не имел, принимались на службу в полицию по категории — «не имеющие чина» (в формулярных списках их часто отмечали как «н.ч.»). Они, как правило, не поднимались выше должности станового.

Для иллюстрации вышесказанного обратимся к фигуре Ферапонта Федоровича Черкасова, одного из сорока становых приставов Саратовской губернии, типичного представителя этой категории полицейских служащих предреволюционной России.

Замечу при этом, что никаких документальных свидетельств о нем в семье, по понятным причинам, не сохранилось. Родство с «прислужником самодержавия» дорого могло обойтись (и таки обошлось его младшему брату, моему деду) другим членам семьи в беспощадные годы сталинского режима. О нем никогда не вспоминали, и лишь незадолго до смерти мой отец, кадровый офицер Советской армии, в написанных для своих детей и внуков воспоминаниях осмелился осторожно упомянуть о родном дяде, бесследно сгинувшем после 1917 года. И только в начале 1990-х, когда естественное любопытство (а главное — открывшиеся возможности) привело меня в Государственный архив Саратовской области (ГАСО), я получил возможность узнать много интересного о своих предках и родственниках, включая станового пристава Ферапонта Черкасова. Отмечу заодно, что документы, обнаруженные в ГАСО, помогли мне добиться посмертной реабилитации моего родного деда, пострадавшего в середине 1930-х годов.

Родившийся 23 мая (с.с.) 1872 года в семье крестьянина-собственнника слободы Романовка Балашовского уезда Саратовской губернии, Ферапонт Черкасов никогда не обнаруживал интереса к земледелию. В возрасте 28—29 лет, к явному неудовольствию родителей, он определился на «государеву службу», получив должность полицейского стражника в родной слободе. К тому времени Ферапонт уже обзавелся семьей.

В его Формулярном списке за 1915 год записано: «Из крестьян, вероисповедания православного, воспитание получил

домашнее. Имеет деревянный дом в с. Романовке. Женат первым браком на дочери крестьянина — девице Клавдии Ивановой, урожденной Нечаевой, родившейся 17 апреля 1876 года; вступил в брак 25 июня 1897 года; имеет детей: сыновей — Виталия, родившегося 20 апреля 1897 года, Дмитрия, родившегося 20 апреля 1899 года, и дочь Клавдию, родившуюся 28 марта 1904 года. Жена и дети вероисповедания православного и находятся при нем»[280].

В скором времени, к началу революции 1905 года, грамотный и толковый Ферапонт дослужился до унтер-офицерской должности конного урядника, став, если употреблять современную терминологию, участковым уполномоченным в Романовке, достаточно крупном сельском населенном пункте. По данным на 1 января 1901 года, в Романовке числилось 1133 двора и 6873 жителя[281]. Можно предположить, что забот у местного урядника было достаточно, как серьезных, так порой и трагикомичных. К числу последних можно отнести «Дело об избиении крестьянами учителя 1-й Романовской земской школы Балашовского уезда Меньшова Александра Константиновича, заподозренного в шпионаже»[282].

Дело было в июне 1905 года, на исходе русско-японской войны. Перевозбужденные патриотической пропагандой романовцы, никогда не видевшие живого японца, обвинили местного учителя в шпионаже в пользу Японии и жестоко избили, сдав в участок. В деле пришлось разбираться уряднику и приехавшему приставу, оправдавшим в результате расследования несправедливо пострадавшего учителя.

В должности урядника Ферапонта Федоровича и застали «аграрные беспорядки», как в полицейских документах предпочитали называть революцию 1905 года в деревне. Судя по документам, составленным балашовским уездным исправником, «аграрные беспорядки» в Романовской, как и в других волостях уезда, выражались главным образом в грабежах и разгромах помещичьих имений.

В фондах ГАСО сохранился рапорт уездного исправника саратовскому губернатору Петру Аркадьевичу Столыпину от 26 февраля 1906 года. К рапорту приложен «Список нижних чинов Балашовской полиции, проявивших особенно выдающуюся деятельность во время бывших забастовок и беспорядков по восстановлению порядка»[283]. В разделе «По 3-му стану»

перечислены девять отличившихся чинов полиции, в том числе «конный урядник в с. Романовке Ферапонт Федоров Черкасов».

«В ночь на 20 октября 1905 года, — читаем мы в рапорте, — с этими чинами Пристав 3 стана разогнал крестьян слободы Романовки в лесу князя Волконского, которые скопом и вооруженные топорами начали было рубить лес; из них 46 человек там же в лесу были пойманы и от них было отобрано 285 деревьев, стоящих более 500 руб. 29 октября, — читаем мы далее, — с помощью этих же чинов на Новом хуторе дворянина Н. Н. Львова было отражено нападение крестьян с. Малой Шатневки, которые приблизительно на трехстах подводах подъезжали грабить хутор; по крестьянам один за другим были даны из револьверов залпы, и только после третьего залпа крестьяне повернули лошадей и поскакали обратно. Затем все эти чины во время погромов в сл. Романовке, несмотря на большую опасность для жизни, предупреждали крестьян не грабить казенные винные лавки и другое имущество; вообще каждый из них не терял присутствия духа, твердо и смело стоял на своем посту и выполнял свою служебную обязанность; кроме того, все они после погромов в продолжение месяца, с раннего утра и до вечера, отбирали обратно от крестьян награбленное имущество. В одной Романовке было отобрано до 30 000 пудов хлеба и масса другого имущества»[284].

Эту информацию дополняет рассказ моего покойного отца, услышанный им в конце 1920-х годов от его отца, родного брата урядника Черкасова. Тогда, в октябре или ноябре 1905 года, романовские «революционеры» во главе с Алексеем Бондаренко были захвачены полицией во время разгрома казенного винного склада. Погромщиков можно и нужно было передать судебным властям, но то ли становой пристав, руководивший полицейской операцией, то ли местный урядник Ферапонт Черкасов, не желавшие, по-видимому, «выносить сор из избы», распорядились иначе. Они приказали публично выпороть Бондаренко, чтобы впредь неповадно было, а затем отпустили и его, и его сообщников. Эта, безусловно, варварская унизительная акция с установлением советской власти аукнется моему деду. Жертва полицейского произвола Алексей Бондаренко станет одним из руководителей комбеда и членом Романовского поселкового совета. Не имея возможности ото-

мстить самому уряднику, с марта 1917 года не появлявшемуся в Романовке, он будет упорно преследовать его брата — до тех пор, пока не добьется своего — раскулачивания Гордея Федоровича Черкасова.

Ферапонт же Черкасов со времени описываемых событий, можно сказать, «пошел в гору». Для начала его отметили денежной наградой в размере 50 рублей. А 15 марта 1906 года, как следует из его Формулярного списка, распоряжением губернатора П. А. Столыпина он был переведен из Романовки «зауряд околоточным надзирателем 1-го участка гор. Саратова». Тогда же он получил серебряную медаль на анненской ленте «За безпорочную службу в полиции», которой награждались нижние полицейские чины, отслужившие пять лет без взысканий и нареканий. Правда, в Саратове Ферапонт Федорович прослужил чуть более трех месяцев.

28 июня 1906 года распоряжением нового губернатора, графа Сергея Сергеевича Татищева, сменившего Столыпина, назначенного к тому времени министром внутренних дел, Черкасов был «командирован к временному исполнению должности пристава 1-го стана Вольского уезда»[285]. Назначение, пусть и временное, на офицерскую должность Ферапонт Черкасов должен был воспринять как подарок судьбы, как шанс, который нельзя упустить.

И он, судя по всему, проявил максимум энергии и распорядительности, чтобы быть замеченным начальством. О результатах его стараний свидетельствует рапорт вольского уездного исправника саратовскому губернатору графу С. С. Татищеву, датированный 5 декабря 1906 года: «Во исполнение предписания от 2 ноября с/г за № 290 доношу Вашему Сиятельству, что Вр. и.д. Пристава 1-го стана вверенного мне уезда Черкасов вполне заслуживает поощрения денежной наградой, в виду проявленной им особой энергии и деятельности, благодаря которым в течение 4-х месяцев службы привел в надлежащий порядок как делопроизводство стана, так и стан и очистил всю недоимку окладных сборов, числившуюся по этому стану»[286].

Вскоре последовала денежная награда, но самое главное — 35-летний Ферапонт Федорович Черкасов, как гласит запись в его формуляре, «распоряжением саратовского губернатора от 3 мая 1907 года, ввиду воспоследовавшего в 9 день марта того же года ВЫСОЧАЙШЕГО соизволения, назначен приста-

вом 1-го стана Вольского уезда»[287]. В карьерной лестнице была взята очень важная ступенька.

На этом посту Ферапонт Федорович пробыл три с половиной года — до ноября 1910 года, когда приказом губернатора был перемещен приставом 1-й части города Царицына, входившего тогда в состав Саратовской губернии. Это будет второй и последний случай его городской службы.

13 января 1912 года он получает извещение от саратовского уездного исправника. «Приказом и. д. Губернатора, г. Вице-губернатора, от 12-го сего января, — говорилось в извещении, — Вы перемещены на должность пристава 4-го стана вверенного мне уезда, почему предлагаю Вам, Милостивый Государь, немедленно прибыть к месту новой службы для принятия дел от бывшего пристава Тимофеева...»[288]

Воспользовавшись переменой места службы, Ферапонт Федорович просит у начальства очередной «отпуск внутри империи». Предоставленный отпуск он использовал для подготовки к экзаменам на получение первого классного чина. 9 марта Черкасов успешно сдал экзамены за полный курс царицынской Александровской мужской гимназии и получил соответствующий аттестат, что открывало перед ним новые возможности карьерного роста.

По возвращении из Царицына он, как гласит рапорт Саратовского уездного исправника в губернское правление, «вступил в отправление своих служебных обязанностей» пристава 4-го стана пригородного Саратовского уезда.

Полтора года спустя высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 20 августа 1913 года за № 52 за выслугу лет не имеющий чина пристав Ф. Ф. Черкасов был произведен в коллежские регистраторы со старшинством с 9 марта 1912 года (дата выдачи образовательного аттестата). В том же, 1913 году он был удостоен «права ношения на груди ВЫСОЧАЙШЕ учрежденной в память 300-летия царствования Дома Романовых светло-бронзовой медали».

Спустя еще два года, 16 ноября 1915 года, Ферапонт Федорович был произведен в губернские секретари, что в то время соответствовало армейскому чину подпоручика. В период с 1912 до февраля 1917 года он неоднократно перемещался по службе из одного стана Саратовской губернии в другой. За

это время пристав Черкасов неоднократно отмечался начальством.

В марте 1914 года исполняющий обязанности губернатора объявил ему благодарность за «энергичные действия по розыску и задержанию преступника, совершившего кражу вещей и денег»[289]. Вторично, уже в августе 1914 года, Ферапонту Федоровичу была объявлена благодарность министра внутренних дел «за добросовестное исполнение обязанностей и образцовый порядок в Кузнецком уезде[290] во время прошедшей мобилизации войск»[291].

Но в его служебной карьере, разумеется, бывали не только благодарности. Случалось получать и выговоры. Так, в мае 1913 года пристав 1-го стана Аткарского уезда Черкасов получил выговор «за промедление взыскания сборов». Ему и самому приходилось наказывать своих подчиненных. Среди прочих выговор от него получил некий урядник «за промедление в прописке паспорта еврейки Рабинович», пытавшейся устроиться на работу на новом месте жительства. По всей видимости, урядник вымогал у госпожи Рабинович взятку за оформление прописки, за что и был наказан по ее жалобе.

Каково было материальное положение станового пристава в предреволюционной Российской империи?

Это можно установить из нескольких Формулярных списков Ф. Ф. Черкасова, составлявшихся на протяжении его службы. В разные годы его совокупный годовой доход, причем в одной должности, колебался от 1400 до 2200 рублей. Эти колебания, как видно из сопоставления списков, объяснялись тем, что в отдельные годы становой получал дополнительные средства на служебные разъезды (400–500 рублей), канцелярские расходы (до 300 рублей) и оплату рассыльных (до 200 рублей), а в другие годы таких доплат не получал. Иногда дополнительные расходы (например, канцелярские) включались в жалованье.

Если же взять наиболее высокий показатель (за 1915 год), то мы получим следующую картину: собственно годовое жалованье Ф. Ф. Черкасова составило 800 рублей; к этому добавлялись «столовые» в сумме 880 рублей и квартирные — 440 рублей. Итого совокупный доход станового пристава Черкасова, имевшего первый классный чин и выслугу лет, в 1915 году составил 2200 рублей[292]. Если разделить эту сумму на привычную

нам ежемесячную зарплату, то она составляла чуть более 183 рублей. Много это или мало?

Приведу несколько сопоставлений. Месячное жалованье земского врача в это время составляло 80 рублей; учителя старших классов мужской или женской гимназии — от 80 до 100 рублей; начальника почтовой, железнодорожной или пароходной станции — от 150 до 300 рублей; депутата Государственной думы — 350 рублей; армейского подпоручика в мирное время — 70 рублей; поручика — 90 рублей; штабс-капитана — от 93 до 123 рублей; капитана — до 145 рублей; подполковника — от 185 до 200 рублей Для сравнения — зарплата рабочего-металлурга на заводах Петербурга или Москвы составляла от 25 до 35 рублей; профессиональные токари, слесари, мастера и бригадиры — те, кого принято было называть «рабочей аристократией», — зарабатывали от 50 до 80 рублей в месяц.

Как видим, уровень жалованья станового был выше среднего среди государственных служащих и намного выше, чем у наемных работников. Любопытно, что его жалованье существенно превышало оклады армейских обер-офицеров и было сопоставимо с материальным содержанием подполковника.

А теперь сопоставим жалованье станового с ценами на отдельные продукты и услуги (перед 1914 годом). Батон черного ржаного хлеба (400 граммов) стоил 4 копейки; белого сдобного — 7 копеек; 1 килограмм молодого картофеля — 15 копеек; картофель старого урожая — 5 копеек; 1 литр свежего молока — 14 копеек; 1 килограмм сыра отечественного производства — 70 копеек; иностранного — 1 рубль 40 копеек; 1 килограмм вырезки из парной телятины — 70 копеек; 1 килограмм говядины — 45 копеек; свинины — 30 копеек; рыба свежая речная — от 28 до 50 копеек за килограмм; 1 килограмм мороженой горбуши — 60 копеек; семги — 80 копеек; 1 килограмм черной зернистой икры — 3 рубля 20 копеек; черной паюсной икры 1-го сорта — 1 рубль 80 копеек, 2-го сорта — 1 рубль 20 копеек. Бутылка «казенной» водки (0,61 л), в зависимости от сорта, стоила от 40 до 60 копеек; разливное пиво (1 литр) — от 6 до 10 копеек; обед в дешевом трактире обходился посетителю в 10 копеек; в более дорогом — 30–50 копеек; в приличном ресторане, с двумя стопками водки и десертом, — 1,5–2 рубля.

Проезд из Петербурга в Москву в спальном вагоне 1-го класса стоил 16 рублей, в «общем» вагоне с сидячими местами — 6 рублей 40 копеек. Номер в гостинице стоил от 70 копеек до 2 рублей в сутки. Меблированные комнаты — от 15 до 60 копеек в сутки. Стоимость съемной квартиры в Москве составляла в среднем 15 рублей в месяц. Билет в первые ряды партера Большого театра стоил от 3 до 5 рублей, а на «галерку» — от 30 до 60 копеек[293].

Наверное, обремененным семьей становым получаемого жалованья могло и не хватать, хотя следует учитывать, что в глубокой провинции, где проходила их служба, уровень цен был несопоставимо ниже, чем в столицах и крупных городах. К тому же можно предположить, что становые (и нижестоящие чины сельской полиции) могли, как издавна водилось на Руси, дополнительно «кормиться» от своих мест.

Что представлял собой сельский полицейский участок, каков был его кадровый состав и какими вопросами занимался становой пристав? Это можно выяснить из архивных документов, относящихся к службе Ферапонта Федоровича Черкасова.

Типичное становое управление состояло из восьми — двенадцати служащих: сам становой пристав, делопроизводитель (или столоначальник), конные и пешие урядники, а также стражники, обычно проживавшие в волостях и крупных селах, образующих стан. Становой пристав располагался в самом крупном населенном пункте подведомственного ему стана, в специально оборудованном под участок доме. Из сохранившейся в фондах ГАСО «Описи [февраль 1912 года] законам, казенному имуществу, книгам и нарядам, сданным приставом 2-го стана Саратовского уезда Ивановым приставу Черкасову»[294] можно составить представление о том, что находилось в кабинете станового, в канцелярии и других помещениях полицейского участка.

Первыми в описи по порядку перечислены — икона св. Георгия Победоносца (видимо, этот святой призван был покровительствовать полиции в ее охранительной деятельности), печать и шкаф для хранения оружия. В шкафу хранились 13 винтовок и 282 патрона к ним, 6 револьверов и 140 патронов к ним, 18 шашек.

Далее в описи перечислены 12 томов законодательства, а также 5 томов ведомственных Уставов и Руководств, на-

стольные и секретные реестры, книга описания стана на 120 листах, журналы для прописки паспортов, приходно-расходные книги, перечни вещественных доказательств по различным делам, книги по учету нижних чинов запаса и ратников Государственного ополчения, перечень текущим и прекращенным дознаниям, списки содержащихся под стражей, состоящих под надзором полиции и находящихся в розыске, отчеты о взыскании казенных, земских и других сборов, справки «о произрастании хлебов и трав», «об эпидемических и эпизоотических болезнях», «о болезнях на людях холеры», «о появлении на полях саранчи и других вредителей», «о пригульном и пропавшем скоте», «об устройстве благотворительных спектаклей, вечеров и других веселительных зрелищ», «о дачниках и иногородних лицах». Даже этот выборочный перечень из описи, составляющей 12 листов, дает представление о том, какими разнообразными вопросами должны были ежедневно заниматься становой пристав и его помощники.

С началом Первой мировой войны к этой работе прибавились заботы о проведении мобилизации и контроле за иностранцами (главным образом германскими и австрийскими подданными), проживавшими или находившимися на территории стана. Приходилось присматривать и за собственными немцами, обосновавшимися в Саратовской губернии со времен Екатерины II, но они в подавляющей массе демонстрировали примерный русский патриотизм.

Последним местом службы пристава Ферапонта Черкасова стал 4-й стан Саратовского уезда, куда он был назначен 1 ноября 1916 года приказом саратовского губернатора «на основании Высочайше утвержденного 23 октября 1916 года положения Совета Министров об усилении полиции в 50 губерниях и об улучшении служебного положения полицейских чинов»[295]. Здесь его и застала Февральская революция с последующим отречением императора Николая II.

Участь служащих царской полиции после революции была незавидной. Об этом достаточно хорошо известно. Многие из них, прежде всего в обеих столицах, пали жертвами революционного насилия со стороны матросов, студентов и мальчишек-гимназистов, линчевавших городовых и околоточных прямо на улицах. Другим повезло больше — их судили революционным же судом за «совершенные преступления».

К числу последних, судя по сохранившимся отрывочным документам, принадлежал и становой пристав, губернский секретарь Ферапонт Федорович Черкасов. Последняя запись в его служебном деле гласит: «Приказом Саратовского губернского Комиссара Временного правительства от 23 марта 1917 года за № 29, уволен от службы 23 марта 1917 года»[296].

Сохранился лишь один документ, имеющий отношение к дальнейшей его судьбе, — представление и.д. комиссара Саратовского губернского правления А. Минха прокурору Саратовского окружного суда от 22 августа 1917 года. В представлении говорилось: «На основании 9 ст. постановления Временного Правительства и гражданской ответственности служащих, при сем препровождаю на Ваше распоряжение переписку о действиях Пристава 1 стана Кузнецкого уезда Черкасова, в виду указания в этих действиях на признаки преступления, предусмотренные 342 ст. Уложения о наказаниях, наказание за которое налагается по суду»[297].

Осталось неизвестным, успели ли временные власти осудить (и за что конкретно?) станового Черкасова, так как уже через два месяца они сами вынуждены были скрываться от «карающего меча» большевистской диктатуры. Неизвестна и дальнейшая судьба Ферапонта Федоровича и его семьи.

А вместо упраздненной в марте 1917 года царской полиции общественный порядок в России тщетно пыталась навести милиция, стихийно возникшая на волне Февральской революции. Надо сказать, что сменившая ее в ноябре 1917 года рабоче-крестьянская милиция оказалась предусмотрительнее: в отдельных случаях она привлекала специалистов из царской полиции к борьбе с волной уголовщины, захлестнувшей страну.

Великий князь «под колпаком» французской контрразведки

По материалам архива «Сюрте Насьональ»

С началом Второй мировой войны правительство Франции, опасаясь германского наступления на Париж, приняло решение о перемещении важнейших государственных архивов из столицы в более безопасное место. В результате тщатель-

ных поисков такое место было найдено в районе Леденона (департамент Гар). Туда и свезли более 20 тонн архивов Военного министерства, Второго бюро (разведка) Генерального штаба, Главного управления национальной безопасности («Сюрте Насьональ») и других центральных ведомств Французской Республики[298].

В июне 1943 года в результате предательства французского унтер-офицера, знавшего о местонахождении архивов, они попали в руки германских оккупационных властей, которые вывезли их на территорию оккупированной Чехословакии, в лагерь СС Хердишко, где весной 1945 года архивы (два товарных вагона) были обнаружены наступавшими частями Красной армии. Немцы не успели даже начать разбор доставшихся им архивных богатств Франции. Этим занялись органы НКВД—МВД—КГБ, которых в первую очередь интересовали документы французской разведки и контрразведки, включая бесценные картотеки секретных агентов и осведомителей.

В 1946 году приказом тогдашнего министра внутренних дел СССР С. Н. Круглова был создан Особый архив МВД, в который были переданы все трофейные архивы из Германии и других стран, обнаруженные Красной армией на территории Восточной и Центральной Европы. Немецкие военнопленные в короткий срок построили на Выборгской улице в Москве здание для Особого архива, в котором оказался и комплекс документов французского происхождения.

Вплоть до конца 1980-х годов советские и тем более зарубежные историки не допускались к работе в Особом архиве, хотя он и перешел со временем из МВД в ведение Главного архивного управления при Совете Министров СССР. До 1991 года в Особом архиве посчастливилось работать лишь немногим военным историкам (генералам и офицерам Советской армии), которых в порядке исключения допускали к изучению трофейных архивов. Двери Особого архива широко открылись для исследователей лишь после крушения советского режима. Сам архив был переименован в Центр хранения историко-документальных коллекций (ЦХИДК), а в конце 1990-х годов вошел в состав Российского государственного военного архива (РГВА).

Подавляющая часть материалов французского происхождения, в соответствии с российско-французским межправитель-

ственным соглашением (ноябрь 1992 года), была возвращена во Францию[299]. Предварительно эти материалы были изучены российскими экспертами: все важные для наших историков документы были микрофильмированы за счет французской стороны, а микрофильмы остались в РГВА. Тогда-то автору этих строк и довелось подробно изучить, среди прочих материалов, фонд Главного управления национальной безопасности («Сюрте Насьональ») — всего 909 684 «дела», в том числе дела «о проверке благонадежности», персональные досье на французских и иностранных граждан, включая тысячи русских эмигрантов во Франции.

Среди тех, кто удостоился пристального внимания французских спецслужб, оказался и «Хранитель Российского Трона» великий князь Владимир Кириллович Романов (1917—1992). На обложке его досье за № 451 написано: «WLADIMIR CYRILLOVITCH DE RUSSIE, GRAND DUC (1937—1940)»[300]. Указанные даты означают год заведения и прекращения полицейского «дела». Впрочем, последнюю дату (1940 год) не следует принимать буквально, так как она лишь совпадает с эвакуацией архива Сюрте из Парижа. Вполне вероятно, что негласное наблюдение за великим князем велось и в последующие годы.

Прежде чем пролистать досье Владимира Кирилловича, вспомним основные вехи его биографии.

Родился он 30 августа 1917 года в Финляндии, куда после Февральской революции выехали из Петрограда его родители; его отцом был великий князь Кирилл Владимирович, старший сын великого князя Владимира Александровича, брата императора Александра III, и великой княгини Марии Павловны, урожденной принцессы Мекленбург-Шверинской.

После убийства царской семьи в Екатеринбурге летом 1918 года Кирилл Владимирович приходит к решению взять в свои руки упавшее знамя русской монархии. 8 августа 1922 года он заявил о том, что принимает на себя блюстительство императорского престола, а 13 сентября 1924 года возложил на себя титул императора всероссийского под именем Кирилла I.

Этот акт поначалу не был одобрен теми монархистами-эмигрантами, которые ориентировались на великого князя Нико-

лая Николаевича, а также некоторыми спасшимися от революционного террора членами семьи Романовых. Тем не менее до конца своих дней Кирилл Владимирович продолжал именоваться императором Кириллом I и обеспечивать в своем лице сохранение династии Романовых и идеалов старой русской монархии.

С 1921 года Кирилл Владимирович с семьей обосновался во Франции, проживая в основном на Лазурном берегу. Большое значение для них имела материальная поддержка со стороны шведского финансиста Нобеля, во многом обязанного Романовым своим огромным состоянием, нажитым в дореволюционной России. Благодаря этой поддержке Кириллу Владимировичу удалось в 1925 году приобрести собственный двухэтажный дом (вилла «Кер Аргонид») в приморском городке Сен-Бриак, в Бретани. «Это был настоящий традиционный дом, — вспоминал Владимир Кириллович. — Его пришлось долго благоустраивать, потому что там не было даже водопровода, и только спустя два года мы смогли окончательно туда переехать. Постепенно он сделался нашим родовым гнездом. С ним связана почти вся моя жизнь, да и наши документы, паспорта беженцев, выданы местной мэрией»[301].

Здесь, в Сен-Бриаке, Владимир Кириллович завершил домашнее образование. В 1935 году он сдал экзамены на аттестат зрелости в русской гимназии в парижском пригороде Нейи. После смерти отца в октябре 1938 года Владимир Кириллович был объявлен Главой Российского Императорского Дома, но не стал именоваться императором, как Кирилл Владимирович. Он попытался выступить объединителем разобщенной русской эмиграции.

Осенью 1937 года Владимир Кириллович становится студентом экономического факультета Лондонского университета, но продолжает часто наведываться в Сен-Бриак. Его учеба будет прервана начавшейся в сентябре 1939 года мировой войной...

Французская служба безопасности заинтересовалась двадцатилетним Владимиром Кирилловичем незадолго до смерти его отца.

Полицейское досье великого князя начинается с докладной записки префекта департамента Иль-э-Вилэн министру

внутренних дел и директору «Сюрте Насьональ» от 12 июня 1937 года, в которой содержится информация об образе жизни и поведении Владимира Кирилловича. В записке говорится, что он проживает в Сен-Бриаке на вилле «Кер Аргонид» и «ведет очень уединенный образ жизни». Великий князь обладает нансеновским паспортом, с которым совершает частые поездки за границу, особенно в Германию, а также в Румынию. «Его поведение, достоинство и порядочность не дают оснований к каким-либо неблагоприятным отзывам о нем, — отмечал префект в докладной записке в Париж. — Тем не менее, — продолжал префект, — он никогда не проявлял подлинных франкофильских чувств. В этих условиях, а также по причине отсутствия у него контактов в регионе у меня не было возможности узнать его отношение к возможному вступлению в ряды французской армии».

В Сюрте очень интересовались, не последует ли Владимир Кириллович примеру своего умершего в октябре 1938 года родителя и не возложит ли на себя императорский титул?

В служебной полицейской записке от 23 ноября 1938 года отмечалось, что под давлением влиятельных монархистов — князя Горчакова, Александра Крупенского, Николая Маркова и генерала Нечволодова, «инспирируемых из Берлина», — великий князь отказался воспринять звание «императора всероссийского», ограничившись титулом «хранителя российского трона». Подобное решение, по мнению аналитиков Сюрте, было продиктовано стремлением объединить вокруг великого князя «как можно большее число русских патриотов».

В Сюрте полагали, что определенные круги в нацистской Германии рассчитывают поставить юного великого князя во главе прогерманского Русского национального фронта, но этому якобы мешают отношения императорской семьи с просоветской партией младороссов, возглавляемой Александром Казем-беком. «Из-за этого, — посчитали в Сюрте, — великий князь Дмитрий Павлович, вдохновитель “молодых русских”, покинул ряды этой партии». Данное обстоятельство, по мнению аналитиков Сюрте, должно было ослабить советское влияние, ощущаемое с некоторых пор в императорской фамилии.

Французская контрразведка подготовила для министра внутренних дел справку о Казем-беке, с которым и связывалось это советское влияние. Казем-бек, отмечалось в справке, «считается в кругах русской эмиграции агентом ГПУ». Далее говорилось, что Казем-бек тесно связан с бывшим царским военным атташе во Франции генералом А. А. Игатьевым, перешедшим на советскую службу, а через своего заместителя по партии младороссов Григория Чапчикова — с неким Хомутовым, входящим в окружение великого князя Владимира Кирилловича. Казем-бек, как утверждалось в справке, публично отстаивает правомерность для России советско-германского пакта, по которому ей были возвращены Прибалтика, Бессарабия и другие территории, составлявшие часть Российской империи.

По всей видимости, информация, сообщенная Сюрте относительно Казем-бека, произвела должное впечатление на министра внутренних дел. Осенью 1939 года Сюрте получила приказ положить конец деятельности младороссов и изъять всю партийную документацию, хранившуюся на квартире Казем-бека в Париже. Впоследствии архив партии младороссов, включая переписку Казем-бека с великим князем Дмитрием Павловичем, оказался в Москве вместе с другими документами «Сюрте Насьональ». В Москву же после войны перебрался и сам Александр Львович Казем-бек, принявший в 1957 году советское гражданство. До своей кончины он работал в Московской патриархии.

В полицейском досье великого князя сохранилась записка Сюрте (от 5 января 1939 года) о связях с великим князем части украинской эмиграции, возглавляемой Андреем Мельником.

Постоянной заботой «Сюрте Насьональ» стало выявление просоветских и прогерманских настроений в окружении Владимира Кирилловича. Подозрение в связях с НКВД пало даже на супругу одного из дядьев великого князя.

В досье Владимира Кирилловича содержится докладная записка инспектора мобильной полиции (подпись неразборчива) дивизионному комиссару 13-й региональной бригады (г. Ренн) от 10 февраля 1939 года, содержащая подробные сведения о ближайшем окружении Владимира Кирилловича на его вилле в Сен-Бриаке с указанием возраста и обязанностей того или иного лица. Из непосредственных помощни-

ков названы личный секретарь адмирал Гарольд (Густав) Граф (1885 года рождения) и второй секретарь Дмитрий Сенявин (1886 года рождения), друг великого князя. Четыре человека составляли охрану Владимира Кирилловича, находившуюся при нем (по два человека днем и ночью): Вольдемар Хельстовский (1877 года рождения), Анатолий Хельстовский (1917 года рождения), Михаил Говорухо-Отрок (1898 года рождения) и Вольдемар Раутман (1894 года рождения), по совместительству личный шофер великого князя.

Столь солидная охрана не представлялась специалистам из Сюрте чрезмерной, так как там считали вполне вероятной возможность убийства или похищения агентурой НКВД претендента на русский престол. Еще свежи были воспоминания о таинственном исчезновении из Парижа генералов Кутепова и Миллера, лидеров военной эмиграции.

«По моим сведениям, — докладывал вышестоящему начальству инспектор мобильной полиции, — вблизи виллы великого князя и в Сен-Бриаке за последнее время не было замечено никаких иностранцев, в том числе русских и других подозрительных лиц».

По мере нарастания в Европе военной угрозы особое внимание Сюрте вызывали германские связи великого князя, старшие сестры которого были замужем за офицерами вермахта: великая княжна Мария Кирилловна еще в 1925 году стала супругой наследного князя Карла-Фридриха Лейнингенского, а великая княжна Кира Кирилловна в 1938 году вышла замуж за принца Луи-Фердинанда Прусского, внука кайзера Вильгельма II.

Судя по документам Сюрте, возраставший интерес к великому князю проявляли и в Лондоне, где он учился в университете. В записке от 15 марта 1939 года, анализировавшей настроения в кругах русской монархической эмиграции, сообщалось, что английское правительство интересуется возможностью сотрудничества русской демократической эмиграции, возглавляемой П. Н. Милюковым и А. Ф. Керенским, с великим князем Владимиром Кирилловичем. При этом, правда, автор записки добавляет, что Милюков категорически отказался даже обсуждать такую возможность.

Тем не менее с началом Второй мировой и сопутствовавшей ей советско-финской войны Владимир Кириллович, как

полагали в Сюрте, активизировал усилия по объединению разобщенной русской эмиграции, которой предстояло определиться как в отношении Германии, так и в отношении советско-германского пакта Молотова — Риббентропа.

Что касается самого великого князя, то он, вопреки первоначальным сомнениям французских спецслужб, занял совершенно определенную позицию на стороне западных демократий против нацистской Германии и ее фактического союзника — сталинского СССР.

24 января 1940 года Владимир Кириллович выступил с новогодним обращением к русской эмиграции, в котором резко осудил нападение СССР на маленькую Финляндию и выразил надежду на неизбежное освобождение России от коммунистической диктатуры. Чиновники Сюрте уже на следующий день, то есть 25 января, поспешили перевести на французский язык текст новогоднего обращения великого князя и вложили перевод в досье Владимира Кирилловича, где оно хранится по сей день. Вот текст этого документа в его полицейском варианте (приводится в обратном переводе с французского языка на русский):

[Штамп:
Сюрте Насьональ — 24 января 1940 г.
Административная полиция — 25 января 1940 г.]

Информация о манифесте,
выпущенном Великим князем Владимиром

По случаю Нового года Великий князь Владимир направил из Сен-Бриака следующий манифест, адресованный русским беженцам:

Я направляю сердечное приветствие всем русским по случаю наступившего Нового года, который должен принести большие перемены для нашей Родины.

Прошедший год завершился абсолютно неоправданной агрессией, которую советские власти осуществили против мирного финского народа. Эта агрессия сопровождается варварскими актами по отношению к гражданскому населению, что усиливает отвращение, которое она внушает всему миру.

Эти власти столь же бесчеловечно обходятся и со своими собственными войсками, которые они принуждают воевать полураздетыми и полуголодными. В отсутствие хорошей организации и компетентного высшего командования эти солдаты обречены на гибель.

Русский народ не хочет войны с Финляндией. Он не желает, чтобы она была порабощена. Императорская власть в будущей России всегда будет уважать ее независимость.

Советское правительство, несущее гибель европейским народам, проливает кровь во имя мировой революции. Но эта невинная кровь приведет к гибели [само] это правительство. Пришел час Божьего суда, чтобы нанести удар этому атеистическому правительству.

Я твердо верю, что в этом году рассеянные [по миру] русские преуспеют в деле освобождения их родины.

ВЛАДИМИР
(Сен-Бриак)

А 27 февраля 1940 года на стол министра внутренних дел Франции легла информационная записка «Сюрте Насьональ». Она целиком была посвящена великому князю Владимиру Кирилловичу, незадолго перед этим вернувшемуся из Англии, где он учился в Лондонском университете.

Составители записки с удовлетворением констатируют, что «великий князь совершенно очевидно лоялен по отношению к союзникам (Англии и Франции. — *П. Ч.*); он пошел даже на разрыв со своей сестрой Кирой, которая состоит в замужестве с Гогенцоллерном».

В записке говорится о принимаемых мерах по усилению безопасности Владимира Кирилловича «от угрозы со стороны советских агентов». Здесь же содержатся сведения о ближайших сотрудниках великого князя, среди которых «генерал Левшин и молодой граф Остен-Сакен, а также некий Хитрово».

Финансовое положение великого князя, по мнению авторов записки, «вполне нормальное», чему способствует помощь шведского финансиста Нобеля.

Великий князь, говорится в записке, «всеми силами старается не стать инструментом в чужих руках... Немцы предлага-

ли ему украинский трон под протекторатом Германии, но великий князь категорически отверг эту идею, заявив, что он будет либо императором всероссийским, либо простым смертным. Легитимисты в своем большинстве придерживаются такой же политики выжидания и не хотят себя ни с кем связывать».

Констатируя антигерманскую политическую ориентацию великого князя в условиях начавшейся войны, составители информационной записки в то же время отмечали, что «в ближайшем окружении претендента есть несколько германофилов, в частности некий Николай Кузнецов, входящий в охрану великого князя». В записке уточнялось, что Николай Кузнецов в годы Первой мировой войны был офицером для поручений у тогдашнего генерала русской армии барона Карла Густава Маннергейма, ставшего впоследствии главнокомандующим финской армией, с которым Кузнецов поддерживает контакты до сих пор. «Некоторое время тому назад, — говорилось в записке, — он (Кузнецов. — *П. Ч.*) получил от маршала (Маннергейма. — *П. Ч.*) письмо, в котором тот предупреждает о нежелательности направления в Финляндию белых офицеров, чтобы не спровоцировать большевиков на превращение нынешней войны в войну классовую».

Самому же великому князю в «Сюрте Насьональ» в тот момент, безусловно, доверяли.

Этот документ по дате его написания стал последним в полицейском досье великого князя Владимира Кирилловича. Поспешная эвакуация государственных архивов из Парижа как бы обрывает это досье, которое, скорее всего, продолжало пополняться в другом виде и хранилось где-то в другом месте.

Возникает закономерный вопрос: откуда Сюрте могла получать информацию о повседневной жизни и умонастроениях великого князя, отличавшегося сдержанностью и не склонного к излишней общительности?

Разумеется, Сюрте имела своего человека в непосредственном окружении Владимира Кирилловича. Именно этот осведомитель и поставлял нужную информацию французской службе безопасности.

Содержание полицейского досье великого князя позволяет определить его имя, называть которое, думаю, все же не стоит. Другой вопрос: в какой степени информация, собранная

Сюрте, была достоверной? На этот вопрос могли бы ответить только сам покойный великий князь, его родные и близкие.

Тем не менее полицейские материалы могут быть полезны для будущего биографа покойного Главы Российского Императорского Дома, прожившего достойную жизнь. Во всяком случае, в этих документах нет ничего, что могло бы как-то скомпрометировать его политически или нравственно.

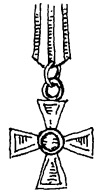
О последующей жизни Владимира Кирилловича достаточно хорошо известно[302]. До весны 1944 года он проживал в семейном имении «Кер Аргонид». Незадолго до высадки союзников в Нормандии вынужден был покинуть Сен-Бриак, перебравшись сначала в Париж, затем в Германию, к своей старшей сестре Марии, княгине Лейнингенской. а оттуда — в Австрию. После окончания войны оказался у испанских родственников в Мадриде, где в 1947 году встретил свою будущую супругу — Леониду Георгиевну, урожденную княжну Багратион-Мухранскую, на которой женился в августе 1948 года. От этого брака в 1953 году родилась дочь — Мария Владимировна, возглавившая после кончины отца Российский Императорский Дом. В ноябре 1991 года Владимир Кириллович совершил свой первый визит в Россию. 21 апреля 1992 года он скоропостижно скончался в г. Майами (США). Погребен в великокняжеской усыпальнице Петропавловского собора в Санкт-Петербурге.

И последнее. В середине 1990-х годов обсуждалась идея о придании официального статуса Российскому Императорскому Дому. Готовился даже соответствующий президентский указ, о чем была поставлена в известность семья покойного Владимира Кирилловича. Об этом мне рассказывала великая княгиня Леонида Георгиевна на одной из наших встреч в Париже.

Это, разумеется, никак не было связано с планами реставрации в России монархии. Дело в том, что после крушения советского режима поднялась очередная волна самозванства. Один за другим объявлялись «дети лейтенанта Шмидта» — «потомки» наследника-цесаревича Алексея, великой княжны Анастасии и других представителей царской семьи, убитых в Екатеринбурге. Тогда же начал издавать «указы» некий «герцог» Брумель, называвший себя местоблюстителем вакантного российского престола. Объявился и «император» Павел II.

За рубежом неожиданно заволновались потомки Романовых, давным-давно отказавшиеся от монархической «химеры». Они с нескрываемой ревностью отнеслись к попыткам «Кирилловичей» восстановить тесные контакты с Россией, где с конца 1991 года их радушно принимали и где возникла идея узаконить статус Российского Императорского Дома. Официальное признание Российским государством правопреемников династии Романовых в лице потомков великого князя Кирилла Владимировича (речь идет только об этом, а не о восстановлении монархии) положило бы конец всем спекуляциям на эту тему, в частности, со стороны многочисленных самозванцев. Этот акт должен был символизировать преемственность российской истории и государственности.

В России многие уже забыли, что после крушения тысячелетней российской монархии и убийства царской семьи нашелся лишь один человек, который взял на себя бремя ответственности за судьбу монархической идеи в России. Этим человеком был великий князь Кирилл Владимирович Романов, внук императора Александра II Освободителя и двоюродный брат убитого большевиками императора Николая II. Именно он еще при жизни императора считался третьим по старшинству возможным наследником престола после Алексея Николаевича и Михаила Александровича. Именно он (других не нашлось) поднял затоптанное в грязь монархическое знамя, достойно пронес его и передал своему сыну, великому князю Владимиру Кирилловичу. Это только в постсоветской России стало модным вздыхать о монархии и искать у себя дворянские корни, а тогда, в 1920-е — 1930-е годы, русскую монархию («гнусное самодержавие») в СССР принято было поносить последними словами, как принято было гордиться своим рабоче-крестьянским происхождением. Весьма нелицеприятно в 1920-е, да и в последующие годы поминали Российскую империю («жандарма Европы») и западные демократии.



Как бы ни относиться к манифесту о принятии великим князем Кириллом Владимировичем императорского титула, но именно он и его семья были признаны всеми царствующими и находящимися в изгнании европейскими домами как единственно законные представители Российского Императорского Дома. Права Кирилла Владимировича с нисходящим

потомством в 1924 году были признаны Русской Зарубежной Церковью, как впоследствии признала его наследников и Московская патриархия. Кстати, признание со стороны родственных царственных домов и Православной Церкви — важнейший элемент той самой легитимности, в которой недоброжелатели с некоторых пор отказывают семье покойного Владимира Кирилловича.

Что же касается обещанного в 1997 году президентом Ельциным указа о статусе Российского Императорского Дома, то он так и не был подписан. Впрочем, это было далеко не единственное обещание, которое не выполнил Борис Николаевич...

Стрелял ли в Сталина лейтенант Данилов?

По материалам архива «Сюрте Насьональ»

В 1993 году мне в качестве эксперта Российской академии наук довелось участвовать в обработке французских архивных документов из бывшего Особого архива, которые в соответствии с договоренностью между правительствами России и Франции должны были быть возвращены их законному владельцу, то есть Французской Республике. Напомню, что речь идет о французских государственных и частных архивах, а также архивах различных политических и общественных организаций, захваченных немцами во время оккупации Франции, а затем после 1945 года оказавшихся в Москве в фондах тогда секретного Особого архива МВД СССР. К слову сказать, реституция французских архивов, начавшаяся в середине 1990-х, была полностью завершена в начале 2000-х.

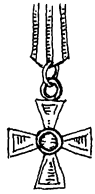
Итак, в числе экспертов, представлявших различные заинтересованные ведомства — Министерство культуры, Министерство обороны, Службу внешней разведки, РАН и др., — я занимался изучением французских документов на предмет выявления их ценности для российской исторической науки (с последующим микрофильмированием, на что французской стороной было выделено более 1 млн. франков).

При знакомстве с фондами Главного управления национальной безопасности («Сюрте Насьональ»), составляющими более 900 тыс. дел (в основном досье на французских и ино-

странных граждан, а также на различные общественные организации, в том числе и белоэмигрантские), мое внимание привлекло Дело № 2686 (нумерация советской описи) — «Лейтенант Данилов». Самое удивительное — дело это касалось не бывшего белого офицера и даже не разоблаченного советского агента во Франции, а скромного командира Красной армии из провинциального тульского гарнизона. Именно это обстоятельство и вызвало мой интерес к Делу № 2686.

Собственно, все досье на лейтенанта Красной армии состояло из двух кратких документов, относящихся к апрелю 1938 года. Но речь в них шла ни много ни мало, как о покушении на жизнь товарища Сталина, предпринятом якобы неким лейтенантом Даниловым 11 марта 1938 года на территории Кремля.

Составителем этих документов был тогдашний руководитель французской разведки, а адресатами — генеральный директор «Сюрте Насьональ» и генеральный инспектор криминальной полиции (в документах их фамилии не указаны). Привожу здесь в русском переводе полный текст первого документа («Записки»):



Кабинет генерального директора
Сюрте Насьональ.
Центральная картотека.
Архив. F.0.7.
Париж, 13 апреля 1938 года

Надежный источник из Финляндии сообщает, что 11 марта с.г., в то время, когда Сталин совершал вечернюю прогулку по двору Кремля, человек в форме офицера войск ГПУ предпринял попытку его убийства.

Покушавшийся был обезоружен, арестован и обыскан. Найденные при нем документы, позволившие ему проникнуть в Кремль, оказались поддельными.

Следствие установило, что автором покушения был некий лейтенант Данилов. Он показал, что намеревался отомстить за маршала ТУХАЧЕВСКОГО.

ГПУ установило, что ДАНИЛОВ, прибывший в Москву из Тулы, где он служит в местном гарнизоне, состоит в тайной террористической организации.

Его четверо сообщников успели покончить с собой, когда полиция пыталась их арестовать.

Их имена:

1. АСТАХОВ, гражданский инженер;
2. ВОЙТКЕВИЧ, штабной майор;
3. Капитан ОДИВЦЕВ;
4. Капитан ПОНОМАРЕВ.

Второй документ, адресованный генеральному инспектору криминальной полиции, датированный 21 апреля 1938 года, представляет собой выжимку из предыдущего.

Что можно сказать по поводу информации, почерпнутой в архиве столь серьезной организации, какой была довоенная «Сюрте Насьональ» — предшественница нынешней французской контрразведки (ДСТ)?

Надо признаться, у меня лично она вызвала недоверие. Слишком хорошо мы знаем, как любил «вождь и учитель» инспирировать заговоры и даже «покушения» против себя, дабы еще сильнее зажать советский народ в «ежовых рукавицах». После каждого подобного рода псевдопокушения неизбежно следовала очередная волна репрессий. В сущности, подобные инсценировки «покушений» и «заговоров» осуществлялись с совершенно конкретными целями: поддерживать в стране обстановку перманентного страха и стимулировать «всенародную любовь» к большевистским вождям, ежедневно подвергающимся смертельной угрозе со стороны «озверевшего классового врага».

Можно предположить, что в сталинском руководстве существовала своего рода разнарядка на инсценированные «покушения». Чем ближе стоял к вождю тот или иной соратник, тем больший интерес он должен был представлять для «террористов» в качестве мишени. Считалось хорошим тоном, чтобы каждый из членов сталинского Политбюро хотя бы однажды подвергся угрозе покушения со стороны «врагов народа». Само собой разумеется, что все эти «покушения» вовремя предотвращались «доблестными чекистами». Член Политбюро или нарком, «не заинтересовавший» «троцкистско-фашистских террористов», не мог считаться «верным учеником и соратником товарища Сталина» и по этой причине рисковал даже подпасть под подозрение. Отсюда нескончаемая череда рас-

крытых «заговоров», свидетельствующих, помимо прочего, о бдительности «славных наркомвнудельцев». Молотов и Каганович, Ворошилов и Калинин, Жданов и Щербаков, Маленков и Хрущев... — все они в разное время были объектами «покушений» со стороны «террористов» или становились жертвами «врачей-убийц».

Не был исключением и сам «железный нарком» Ежов, большой любитель по части инсценировок «покушений» на самого себя. Следы одной из таких инсценировок я обнаружил в фондах все той же «Сюрте Насьональ», где есть досье (всего один лист) и на Ежова. В Записке от 9 февраля 1938 года, адресованной директору Сюрте руководством французской разведки, говорится:

«Надежный источник, находящийся в Финляндии, сообщает, что, по сведениям, поступающим из Москвы, шеф ГПУ Ежов 24 декабря 1937 года стал жертвой покушения в тот момент, когда он выезжал из Кремля. В него стреляли из револьвера, но не попали. Полиция тотчас же установила, что покушение осуществил мотоциклист из личной охраны Ежова, которому удалось скрыться вместе с начальником автомобильной службы Кремля».

Прочитав эту Записку, я вспомнил один эпизод, рассказанный мне ныне покойным отцом. По окончании Пушкинского (бывш. Царское Село) военного автотехнического училища в мае 1941 года ему, как отличнику учебы, сделали предложение служить на автобазе Кремля (в так называемом гараже Особого назначения, размещавшемся до войны в историческом здании Манежа). Спецгараж обслуживал членов высшего государственного и военного руководства СССР.

Вызвав полное недоумение начальства, отец тогда категорически отказался от столь высокого доверия и попросил направить его в один из западных военных округов, где он и встретил войну.

На мой недоуменный вопрос, почему он так поступил, отец ответил: «Я просто испугался. Внезапно заглохнувший мотор, поломка карбюратора, вообще любая техническая неисправность автотранспорта Спецгаража могли быть истолкованы как диверсия. НКВД во всем видел происки врагов. Я ведь регулярно читал газеты, где часто писали об этих самых происках. Однажды я прочитал, что автомобиль председателя Сов-

наркома Молотова где-то за городом, на одном из поворотов попал в кювет и едва не перевернулся. В газете сообщалось, что это была попытка покушения на жизнь товарища Молотова. Водитель, разумеется, был арестован и сознался, что является участником заговора... Я же убежден, что он, следуя на большой скорости, как и полагалось при перемещениях больших начальников, элементарно не вписался в поворот. Зачем мне все это? Потому я и отправился вместо Москвы в Харьков, а оттуда — уже прямо на фронт».

Возвращаясь к последнему сообщению французской разведки, можно напомнить, что Ежов незадолго до описываемого события был назначен руководить НКВД вместо репрессированного Ягоды. Тогда станет понятнее желание «железного наркома» доказать Сталину свою преданность и ценность столь странным, но лишь для человека с нормальной психикой, способом.

Обращает на себя внимание одно, по всей видимости, не случайное совпадение — информация французской разведки о покушении на Сталина 11 марта 1938 года и о покушении на Ежова 24 декабря 1937 года поступила от одного и того же «надежного источника» — из Финляндии. Можно предположить, что эта информация (или скорее — дезинформация) могла быть подброшена французскому «источнику» людьми Ежова из внешней разведки (или контрразведки) НКВД.

Но тогда встает закономерный вопрос — зачем, с какой целью? Ведь совершенно очевидно, что если бы неудачное покушение на Сталина 11 марта 1938 года действительно имело место, то «железный нарком» уже в тот же день был бы отстранен и репрессирован. Между тем Ежов задержался на своем посту вплоть до 25 ноября 1938 года, да и после ухода из НКВД он возглавлял Наркомат водного транспорта СССР до самого своего ареста 10 апреля 1939 года.

И все же, на мой взгляд, не следует заранее отвергать информацию о лейтенанте Данилове, тем более что названы конкретные фамилии, за которыми, возможно, стоят трагические судьбы наших соотечественников. Поэтому, прежде чем дать ответ на вынесенный в заглавие этой заметки вопрос, необходимо было бы попытаться ответить на другой вопрос: а существовали ли в действительности лейтенант Данилов и его единомышленники из тульского гарнизона?

Ответ на оба эти вопроса можно было бы найти в архивных фондах ФСБ.

P. S.

Ответ был найден лишь двадцать лет спустя. Случай свел меня в кабинете директора Института всеобщей истории РАН академика Александра Огановича Чубарьяна с доктором юридических наук, генерал-лейтенантом Василием Степановичем Христофоровым, начальником Управления регистрации и архивных фондов ФСБ.

Генерал любезно согласился прояснить интересовавшие меня вопросы. Некоторое время спустя я получил ответ, который, признаться, не стал для меня неожиданным. Тщательная проверка по фондам Центрального архива ФСБ не выявила ни одного упоминания о лейтенанте Данилове и его подельниках.

Остается лишь предположить, что «надежный источник в Финляндии», по-видимому, почерпнул эту информацию из слухов, постоянно циркулировавших в кругах белой эмиграции, где часто желаемое выдавали за действительное. Вольно или невольно, но он ввел в заблуждение не только руководство французской разведки и контрразведки, но и позднейших историков.

Сибирское эхо «дела Галанскова — Гинзбурга»

Иногда бывает, что архивная находка получает неожиданный отклик участников событий, о которых говорится в обнаруженном в фондах документе. Редко, но такое бывает.

В течение нескольких месяцев мне довелось работать на Ильинке, в бывшем архиве ЦК КПСС (теперь это Российский государственный архив новейшей истории — РГАНИ), собирая материалы для книги по истории Института мировой экономики и международных отношений АН СССР. Бывшее хранилище тайн партийной «кухни» теперь открыто как для российских, так и для зарубежных исследователей. Правда, ознакомиться можно далеко не со всеми фондами и не за все годы. На то время, когда я там работал (2002 год), рас-

секречена была лишь часть материалов — за 1954–1984 годы. (Материалы ЦК ВКП (б) — КПСС за предыдущие, «ленинско-сталинские» годы хранятся на Большой Дмитровке, в Российском государственном архиве социально-политической истории — РГАСПИ.) В доступных ныне фондах РГАНИ встречаются интереснейшие документы, раскрывающие малоизвестные страницы нашей недавней истории.

Среди таких документов мне встретился один, относящийся к нашумевшему в свое время «делу» Юрия Галанскова, Александра Гинзбурга, Алексея Добровольского и Веры Лашковой (январь 1968 года).

Существует мнение, согласно которому деятельность правозащитников и вообще инакомыслящих была в СССР уделом отчаянных одиночек, полностью изолированных от общества, которое их не понимало, не принимало и даже решительно отвергало. Документ, обнаруженный мною в бывшем архиве ЦК КПСС, в какой-то мере реабилитирует если не все общество, то, по крайней мере, его лучшую часть, сочувствовавшую правозащитникам.

Речь идет о докладной записке (от 8 января 1970 года) председателя КГБ Ю. Андропова члену Политбюро ЦК КПСС М. Суслову, главному идеологу режима. В этой записке, направленной «в порядке информации», говорится о том отклике, который «московский процесс» Галанскова — Гинзбурга получил в Новосибирске.

Прежде было известно лишь о протесте (в виде коллективного письма, направленного в феврале 1968 года в высшие правительственные инстанции) 46 сотрудников Сибирского отделения АН СССР против осуждения группы московских правозащитников. Докладная записка Андропова открывает нам новые имена — на этот раз уже не маститых ученых, а совсем молодых людей, студентов Новосибирского университета, выразивших солидарность с осужденными на третий день после вынесения им приговора в Москве.

На двух страницах этого секретного документа имеются пометки Суслова, направившего записку Андропова для ознакомления «т. Демичеву, т. Трапезникову». Первый из них в тот период был правой рукой Суслова, секретарем ЦК по идеологии; второй — заведовал отделом науки и вузов ЦК, контролируя ученых, университетских преподавателей и студентов.

Демичеву и Трапезникову была поставлена задача — принять надлежащие меры для усиления «политико-воспитательной работы» в подведомственных им «приходах».

Но обратимся к самому документу[303].

Секретно
КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

ЦК КПСС
«8» января 1970 г.
№ 73-А гор. Москва

15 января 1968 года на некоторых общественных зданиях Сибирского отделения Академии наук СССР были обнаружены надписи, выполненные масляной краской, содержащие клевету на Советскую Конституцию и правосудие и призывы к защите осужденных ДАНИЭЛЯ, ГИНЗБУРГА и ГАЛАНСКОВА. Одновременно в зале ожидания железнодорожного вокзала Новосибирска на полу был найден рулон бумаги с лозунгом аналогичного содержания.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что авторами и исполнителями надписей и лозунга являются:

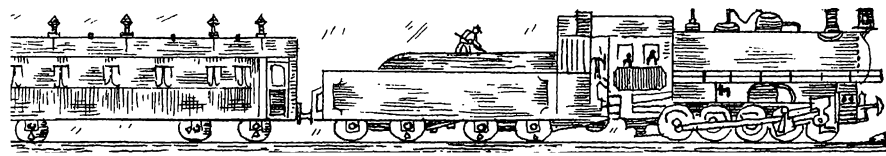
— ПЕТРИК, 1948 года рождения, студент 1 курса гуманитарного факультета Новосибирского университета, член ВЛКСМ, отчисленный в марте 1968 года за неуспеваемость, проживающий в настоящее время у родителей в Киеве, болен шизофренией;

— МЕШАНИН, 1948 года рождения, студент 3 курса того же факультета, член ВЛКСМ;

— ПОПОВ, 1947 года рождения, студент 5 курса физического факультета, член ВЛКСМ;

— ГОРБАНЬ, 1952 года рождения, студент 1 курса того же факультета, член ВЛКСМ.

Студенты 5 курса гуманитарного факультета КОЛНЕНСКИЙ и ЖЕРНОВАЯ знали о совершенном преступлении и принимали меры к сокрытию его следов.



По согласованию с Советским РК КПСС гор. Новосибирска и парткомом университета было принято решение к уголовной ответственности виновных не привлекать, а ограничиться профилактическими мероприятиями.

В октябре 1969 года проведено расширенное заседание комитета ВЛКСМ университета с участием членов парткома, секретарей партийных и комсомольских организаций факультетов, а также секретарей Советского РК КПСС и РК ВЛКСМ города Новосибирска. Выступавшие на заседании подвергли резкому осуждению преступные действия указанных студентов. Комитет ВЛКСМ принял решение исключить из рядов ВЛКСМ МЕШАНИНА, ПОПОВА, ГОРБАНЯ, КОЛНЕНСКОГО и ЖЕРНОВУЮ, вместе с тем обратился с ходатайством к ректору университета об отчислении всех их, кроме ЖЕРНОВОЙ, из числа студентов.

В процессе разбора дела и из объяснений виновных установлено, что одной из основных причин появления у некоторых студентов политически неверных суждений о событиях, происходящих внутри страны, является недостаточная воспитательная работа на факультетах Новосибирского университета (подчеркнуто в тексте М. Сусловым. — *П. Ч.*). В результате отдельным лицам, в частности, преподавателю литературы гуманитарного факультета ГОЛЬДЕНБЕРГУ И. С. (который в феврале 1968 года в числе 46 сотрудников Сибирского отделения Академии наук СССР подписал письмо в правительственные органы с протестом против осуждения ГИНЗБУРГА и др.) удавалось оказывать идеологически вредное влияние на неустойчивую часть студенчества (подчеркнуто в тексте М. Сусловым. — *П. Ч.*).

В целях улучшения политико-воспитательной работы среди студентов и активного участия в ней профессорско-преподавательского состава проведено заседание ученого совета, на котором приняты конкретные решения.

По согласованию с Советским РК КПСС г. Новосибирска принимаются меры к отстранению преподавателя ГОЛЬДЕНБЕРГА И. С. от работы в университете.

Сообщается в порядке информации.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
АНДРОПОВ

Интересно было бы узнать, как сложилась дальнейшая жизнь этих смелых ребят и их преподавателя, И. С. Гольденберга. Архивные документы, хранящиеся на Ильинке, по этому поводу молчат.

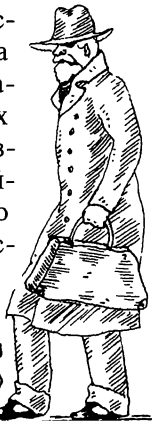
P. S.

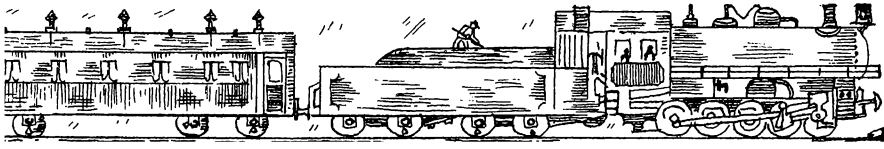
Неожиданный ответ на мой риторический вопрос последовал вскоре после публикации этого небольшого очерка в парижской газете «Русская мысль», где, кстати, в конце 1990-х годов я познакомился с работавшим там до самой своей смерти в июле 2002 года известным правозащитником Александром Ильичом Гинзбургом.

Мой очерк появился в «Русской мысли» в ноябре 2002 года. Редакция сопроводила публикацию следующей справкой: «В 5-м выпуске "Хроники текущих событий" (31 декабря 1968), в списке внесудебных репрессий, мы нашли следующую информацию: ИОСИФ ГОЛЬДЕНБЕРГ, литературовед, преподаватель Новосибирского университета, отстранен от преподавания. Больше никаких сведений ни в "Хронике", ни в других материалах "Мемориала" обнаружить нам не удалось...»

Месяц спустя в редакцию поступило письмо Александра Горбаня, бывшего «фигуранта» той новосибирской истории, который рассказал о последующей судьбе своих товарищей. Привожу это письмо в том виде, как оно было опубликовано в середине декабря 2002 года в № 4435 «Русской мысли» в рубрике «По следам наших публикаций» под заголовком «Жизнь сложилась так»:

«Есть в городке Бюр-сюр-Иветт под Парижем замечательный институт. Работают в нем всего пять постоянных профессоров, но их имена известны всем математикам и физикам-теоретикам. Со всего мира приезжают ученые в Бюр — общаться, учиться, работать вместе с этими профессорами. Повезло и мне — по приглашению Миши Громова (именно Миши, а не Михаила Леонидовича, он на этом настаивает) вот уже в третий раз я приезжаю в Институт высших научных исследований. А за несколько дней до моего приезда в "РМ" № 4431 Петр Черкасов опубликовал интереснейший (ну, по крайней мере, для меня) документ — секретную докладную записку Андропова в ЦК КПСС с пометками Сус-





лова. Говорится в этой записке о протесте студентов Новосибирского университета против процесса Гинзбурга — Галанскова 15 января 1968 года. То есть о нашем протесте. Я и есть тот самый Горбань, организовавший эту раскраску стен лозунгами протеста, из-за исключительной молодости которого (в момент деяний мне, студенту, 1 курса было 15 лет) судебное преследование было затруднительно. Именно это стоит за андроповским: "По согласованию с Советским РК КПСС гор. Новосибирска и парткомом университета было принято решение к уголовной ответственности виновных не привлекать..." Не то было время чтобы судить малолетних за политику с нарушением закона, но и не было особого либерализма — за подобные действия в Ленинграде осудили ребят строго, приговорили к немалым срокам.

Кончается статья П. Черкасова вопросом: "Интересно было бы узнать, как сложилась дальнейшая жизнь..." И вот судьба, я как раз в Париже и могу ответить.

Иосиф Захарович Гольденберг (тут в КГБ недоработали — инициалы не И. С., а И. З.) был от преподавания отлучен, живет в Пущине, работал до последнего времени библиотекарем в академическом институте. (И все же слава Академии: всегда там находились порядочные люди, которые могли приютить.) Прекрасный знаток словесности, недавно опубликовал книгу интересных стихов.

Мешанин и Попов после некоторых мытарств все же построили свою жизнь, сохранив специальность. Мешанин — знаток языков, переводчик. Попов — физик. Несколько лет назад встречал их в Новосибирском Академгородке.

Алик Петрик... Не знаю почти ничего. Через несколько лет после событий прочитал в "Новом мире" записки Виктора Некрасова, в одном из персонажей которых безошибочно узнал Алика. Они в Киеве встретились и подружились. Помню отрывочно только несколько стихов.

В нашей компании был еще Вадим Делоне. Мы не стали его брать с собой и вообще посвящать в дело, потому что на нем висел условный срок. Но свою судьбу он все равно нашел через полгода на Красной площади.

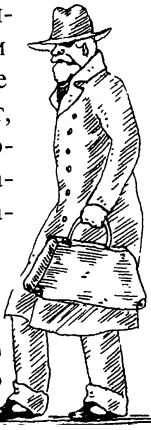
Я... Мой отец, украинский историк и писатель Николай Васильевич (Микола) Горбань, проведший много лет в ссылке, сидевший в тюрьмах, рассказывал как-то, что в тобольской

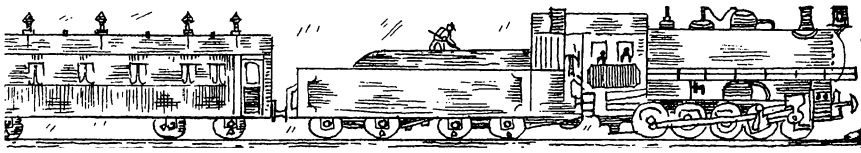
ссылке вместе с ним ходил отмечаться один анархист — с дочкой — и подшучивал: "Микола, я помру — за меня дочка отмечаться будет, а ты помрешь — кто за тебя пойдет отмечаться?"

Пришлось мне не сладко, но не ужасно тоже. Везло все время на хороших людей. Жалко, не обо всех есть место сказать. Но вот два имени. В. К. Арзамасцев был директором профтехучилища в Омске, которое я после изгнания из университета закончил. Рекомендовал меня к восстановлению в Новосибирском университете. На его характеристику пришел оскорбительный ответ: дескать, не вам о Горбане судить (дело в том, что я никогда не каялся, нет, не из какой-нибудь особой идейности, а просто, чтобы не потерять целостность души — потом бы себе не простил). А он тем временем стал секретарем горкома комсомола, и ответ вернулся к нему. Собрал горком, приняли решение — рекомендовать в местный пединститут. Опять же без покаяний — просто считал, что способному человеку надо учиться.

Другой, Г. С. Яблонский, — сам "подписант" (письмо 46-ти, против процесса Гинзбурга и Галанскова, Новосибирский Академгородок), сам с проблемами, четырежды устраивал меня на работу. И три раза выгоняли все по тем же причинам. Кем только я не был — и токарем, и актером, и ночным сторожем, но в основном научным "негром": писал чужие статьи и диссертации.

Сейчас все в порядке, сотни статей, полтора десятка книг, есть уже литература "о". Меня иногда спрашивают: "Не жалко ли: ведь если всю энергию, затраченную на поиски работы, на работу не по специальности, — да на науку, то где бы ты сейчас был?" Отвечаю: не жалко. Я по убеждению не вполне правозащитник и не вполне демократ. Сократа приговорили вполне демократично — и что? Но я считаю, что человек может не повиноваться власти, если власть терзает людей. И если тошнит, и если ты не с ними, то можешь и на площадь — потом дышать легче будет. Зачем, ведь не изменишь ничего, ведь не думали же мы, что Гинзбурга с Галансковым освободят. Нет, но что-то мы изменили — другие увидели, что можно быть собой и встать против. И в августе 68-го в Новосибирском Академгородке уже другие повторили протест. И снова все узнали, что власть над духом не властна».





Вторая жизнь «Гомера»

Дональд Маклэйн в Советском Союзе

В мае 2013 года исполнилось бы 100 лет одному из самых известных агентов советской внешней разведки Дональду Маклэйну[304], входившему в знаменитую «кембриджскую пятерку». Он умер в Москве 7 марта 1983 года на семидесятом году жизни. О работе Д. Маклэйна на советскую разведку известно гораздо больше[305], нежели о «советском» периоде его жизни. Между тем более тридцати лет из прожитых им шестидесяти девяти Маклэйн провел в СССР. Об этой второй жизни бывшего разведчика, ставшего крупным ученым, и пойдет речь в данном очерке, написанном на основе документов из архива Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО РАН), где он проработал более двадцати лет.

6 июля 1961 года в ИМЭМО появился новый научный сотрудник — высокий представительный мужчина лет пятидесяти, с хорошими манерами. Звали его Марк Петрович Фрейзер. По-русски он говорил с заметным акцентом, выдававшим иностранца. В институте быстро поняли, кто он на самом деле. Все западные СМИ начиная с 1951 года, когда руководитель американского департамента МИД Великобритании Дональд Маклэйн бежал в СССР, часто писали о нем, публиковали его фотографии. За десять лет, истекших со времени его бегства, на Западе было выпущено несколько книг о Маклэйне и его кембриджских товарищах — Киме Филби и Гае Берджессе, тоже агентах советской внешней разведки. Разумеется, многие сотрудники ИМЭМО, бывая на Западе, были знакомы с этими публикациями.

Из автобиографии Дональда Маклэйна, написанной им в 1972 году:

«Родился 25 мая 1913 г. в Лондоне, Англия. Отец, шотландского происхождения, был юристом и политическим деятелем от партии либералов. Он занимал пост министра просвещения Англии в 1931–1932 гг. Умер в 1932 г. Мать умерла в 1964 г. в Англии. Старший брат погиб на войне в 1942 г. Второй брат

умер в Новой Зеландии в 1970 г. Сестра и младший брат живут в Англии.

Я учился в платной средней школе-интернате в 1920–1931 гг. и в Кембриджском университете в 1931–1933 гг. Вступил в Коммунистическую партию Великобритании студентом в 1932 г. Учился в Лондонском университете в 1933–1934 гг. По образованию — специалист по Франции и Германии. В 1934 г. вступил в английскую дипломатическую службу, в которой служил до 1951 г. Служил заведующим отделом США МИД Англии. С 1948 г. имел ранг советника.

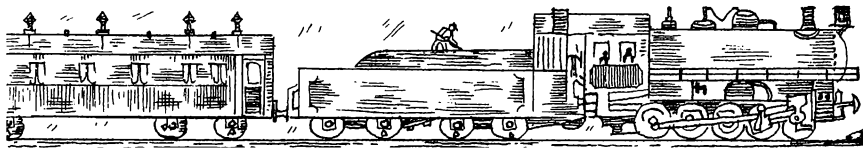
Женился в Париже 10 июня 1940 г. в период службы в английском посольстве в Париже на Марлинг Мелинде, американского гражданства. Сыновья родились в 1944 и 1946 гг. в Нью-Йорке, США, в период службы в английском посольстве в Вашингтоне. Дочь родилась в Лондоне в 1951 г.

Приехал в СССР в 1951 г. Жена и дети — в 1953 году. По просьбе компетентных инстанций принял фамилию Фрейзер Марк Петрович...»[306]

Сын видного британского политика Дональд Маклэйн, увлекавшийся коммунистическими идеями, был завербован советской разведкой в августе 1934 года, при посредстве своего студенческого приятеля Кима Филби, в свою очередь завербованного в июне того же года[307]. Поначалу он получил агентурный псевдоним «Вайзе», затем — «Стюарт», а впоследствии — «Гомер».

Сам Маклэйн объяснял свое решение отчетливо сознававшейся им нараставшей угрозой фашизма. Маклэйн видел, что правительство его страны не только не понимает всю степень этой угрозы, но даже пытается заигрывать с нацистской Германией и фашистской Италией. К тому же и в самой Англии в то время наблюдался подъем фашизма, влиянию которого подверглась даже часть британского правящего класса.

На этом фоне, еще более омраченном глубоким экономическим кризисом, поразившим ведущие страны Запада, Советский Союз, где еще не развернулись массовые репрессии, имел весьма привлекательный имидж в глазах европейских интеллектуалов, многие из которых воспринимали СССР как вторую родину.



Маклэйн вспоминал, с каким огромным успехом в Англии проходили гастроли Камерного театра Таирова, показавшего новое, революционное искусство, разительно отличавшееся от затхлых мещанских поделок, ставившихся в лондонских театрах. Именно со знакомства с передовым советским искусством того времени (театрами Таирова и Мейерхольда, авангардной живописью и конструктивистской архитектурой) началось приобщение юного Дональда Маклэйна к идеям коммунизма. Его симпатии к Стране Советов, которую студент Маклэйн воспринимал в значительной степени идеалистически, крепли по мере того, как он осознавал, что СССР — единственное государство в Европе, способное остановить фашизм. В этом смысле согласие Маклэйна работать на советскую разведку было осознанным и искренним. Это подтверждает и один из близких друзей Маклэйна.

Из воспоминаний Джорджа Блейка, другого знаменитого советского разведчика:

«Важно понять причины, по которым Дональд согласился работать на советскую разведку. В то время, когда он был завербован, когда на советскую разведку стали работать другие члены "кембриджской пятерки", все они видели свой долг в том, чтобы помочь Советскому Союзу, потому что они видели в нем единственную надежду на лучшее будущее человечества в условиях подъема фашизма в Германии. Они видели, что западные державы не в состоянии остановить этот процесс. Все их надежды были обращены на Советский Союз, обладавший необходимой мощью. Следует вспомнить, что начало 30-х годов — это еще и время глубокого кризиса капитализма, породившего массовую безработицу. Дональд и его соратники, как выходцы из благополучных и даже богатых семей, чувствовали себя виноватыми, ответственными за нищенскую жизнь большинства людей. Они были совестливые люди, и по этой причине готовы были посвятить свои жизни светлому, как им казалось, будущему других людей. Это будущее они связывали с Советским Союзом, с идеями коммунизма»[308].

После окончания учебы в университете Маклэйн намеревался заняться изучением истории христианства (он усматривал много общего между христианскими и коммунистическими идеалами), а одновременно активно работать

в коммунистическом движении Британии. Однако в Москве по-другому смотрели на дальнейшую судьбу выходца из верхушки британского общества.

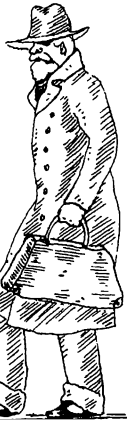
Маклэйну было настоятельно рекомендовано выйти из компартии и постараться устроиться на службу в Министерство иностранных дел Англии, где он мог рассчитывать на блестящую карьеру.

В 1934 году Маклэйна зачисляют в Форин офис, откуда в Москву вскоре начинает поступать ценная информация, нередко докладывавшаяся лично Сталину.

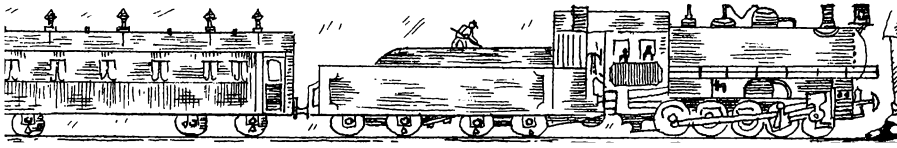
В 1938 году Маклэйна отправляют секретарем английского посольства в Париж. Там он получает возможность собирать дополнительную информацию от своих французских и американских коллег-дипломатов. Это был критический для всего мира период предвоенного кризиса и последовавшей за ним «Странной войны», завершившейся разгромом Франции и эвакуацией остатков англо-франко-бельгийских войск под Дюнкерком в начале июня 1940 года.

Накануне вступления немцев в Париж Маклэйн возвращается в Лондон, где возобновляет работу в центральном аппарате британского МИД. В 1944 году его назначают 1-м секретарем английского посольства в Вашингтоне, где он работает до 1948 года, после чего едет в Каир в ранге советника посольства. Все это время он активно снабжает советскую разведку ценной информацией.

В 1950 году Маклэйн получает назначение на должность руководителя отдела США в Форин офис. В этом качестве ему нередко приходится бывать в Вашингтоне и заниматься согласованиями позиций двух стран в связи с начавшейся войной в Корее, а также по вопросу возможного использования американского атомного оружия для удара по Северной Корее. Полученная в это время от Маклэйна информация имела первостепенное значение для Москвы, которая была в курсе всех планов и намерений США и Англии в отношении КНДР.



Вскоре Маклэйн попал под подозрение, о чем был вовремя предупрежден Кимом Филби, служившим в британской контрразведке (МИ-5). Предупреждение о грозящем аресте побудило Маклэйна искать убежище в Советском Союзе. Вслед за Маклэйном в Москве оказался и Гай Берджесс, сотрудник Британской секретной службы (СИС), завербован-



ный советской разведкой с помощью Маклэйна еще в 1935 году. В Англии и США разразился громкий скандал.

В Москве Маклэйн пробыл недолго. Тогдашний глава МГБ С. Д. Игнатьев распорядился «в целях безопасности» отправить Гая Берджесса и Дональда Маклэйна, срочно переименованного в Марка Фрейзера, в закрытый для посещения иностранцев г. Куйбышев (Самара). Там Маклэйн-Фрейзер и Берджесс оказались в полной изоляции, наедине со своими невеселыми мыслями и появившимися сомнениями. А в это время в западных СМИ фантазировали, будто бы Маклэйн обосновался в роскошном кабинете на Лубянке и консультирует Сталина и Вышинского по вопросам внешней политики.

Чтобы как-то занять внезапно вырванного из привычной среды дипломата-разведчика, Куйбышевское УМГБ трудоустроило Маклэйна, не говорившего по-русски, в местный пединститут преподавателем английского языка. Приезд в 1953 году жены и детей, несомненно, облегчил положение страдавшего от одиночества Маклэйна. Три с лишним года, проведенные в Куйбышеве, были, наверное, самыми тяжелыми в его жизни. Непосредственное знакомство с жизнью советской глубинки лишило его многих иллюзий, а разгоравшаяся тогда в СССР кампания борьбы с «буржуазными космополитами и сионистами» вызывала у выпускника Кембриджа, убежденного интернационалиста Маклэйна недоумение, перераставшее в возмущение. Постепенно он приходит к выводу о персональной ответственности Сталина за творимые в стране преступления и за неприглядную в своей нищете и убогости жизнь советских людей[309].

Смерть вождя в марте 1953 года была воспринята Маклэйном с надеждой на перемены к лучшему. Действительно, новое советское руководство взяло курс на реформы, люди начали дышать свободнее. Но в положении самого Маклэйна ничего не менялось. Он по-прежнему томился в куйбышевской ссылке, общаясь по большей части с местными чекистами.

Наконец летом 1955 года ему разрешили обосноваться в Москве, предоставили хорошую по тем временам квартиру в центре столицы, на Большой Дорогомиловской улице, небольшую дачку в поселке Чкаловский, и даже трудоустроили

консультантом в недавно созданный журнал «Международная жизнь», официоз МИД СССР.

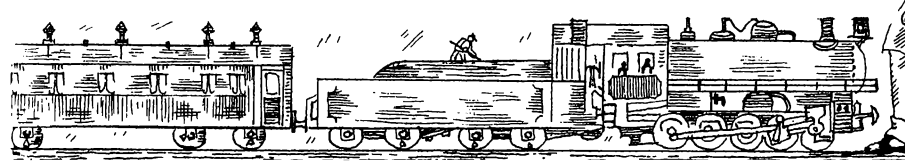
Здесь он встречает двух своих будущих друзей — Д. Е. Меламида и А. А. Галкина, с которыми впервые за годы пребывания в Советском Союзе получает возможность свободно обсуждать интересующие его вопросы международной и внутренней жизни. В журнале Маклэйн-Фрейзер консультирует редакцию и авторов по английской проблематике, а также пробует перо журналиста-международника под очередным псевдонимом — С. Мадзоевский.

С искренним воодушевлением воспринял Маклэйн XX съезд и развенчание «культа личности» Сталина, которого считал предателем дела социализма. Он надеялся на развитие процесса десталинизации и демократизации советского режима. Еще в 1951 году, оказавшись в СССР, Маклэйн попытался восстановить свое членство в компартии Великобритании, прерванное по настоянию его кураторов из внешней разведки НКВД. Однако ему этого не позволили, как не позволили вступить в ВКП (б). И только в 1956 году, после XX съезда партии, Марка Петровича Фрейзера приняли в ряды КПСС.

Когда в начале 1961 года Д. Е. Меламид переходил на работу в ИМЭМО, где ему предстояло возглавить Европейский сектор, он уговорил своего друга последовать за ним, поставив перед Маклэйном амбициозную и вместе с тем достойную цель — стать ведущим и главное — официально признанным советским экспертом по вопросам внешней политики Англии. Меламид обещал решить этот вопрос с директором ИМЭМО А. А. Арзуманяном, а Маклэйну предстояло убедить «товарищей» из КГБ в необходимости его перехода в институт. Окончательное же право принятия такого решения принадлежало ЦК КПСС.

2 марта 1961 года президент АН СССР академик А. Н. Несмеянов обратился в ЦК КПСС с просьбой разрешить зачислить в ИМЭМО английского политэмигранта, члена КПСС с 1956 года «тов. Фрейзера М. П.».

Обращение президента АН СССР было рассмотрено в Отделе науки и в Международном отделе ЦК, получивших одобрительную визу КГБ. 11 апреля 1961 года член Президиума, секретарь ЦК КПССС Н. А. Мухитдинов и секретарь ЦК КПСС О. В. Куусинен наложили положительную резолю-



цию на представление руководства двух отделов — «Согласиться»[310].

После завершения всевозможных согласований Марк Петрович Фрейзер 6 июля 1961 года приступил к работе в ИМЭМО. Он сразу же включился в исследовательскую работу по английской и европейской проблематике, на ходу осваивая русский литературный язык. Поначалу он писал свои работы по-английски, но постепенно перешел на русский. Одновременно с написанием статей, глав и разделов в коллективные труды Маклэйн работал над диссертацией «Проблемы внешней политики Англии на современном этапе», которую успешно защитил осенью 1969 года.

Ученый совет ИМЭМО счел, что характер и содержание этой фундаментальной работы далеко выходят за рамки, предусмотренные для диссертаций кандидатского уровня. Такого же мнения придерживались и официальные оппоненты. В результате тайного голосования Ученый совет ИМЭМО единогласно присудил Маклэйну ученую степень доктора исторических наук. Год спустя эта диссертация была опубликована в виде монографии в Англии[311], а затем и в СССР[312].

Постепенно Д. Маклэйн расширял тематику своих исследований, занявшись изучением политических аспектов интеграционного процесса в Западной Европе, взаимоотношениями в «треугольнике» Лондон — Париж — Бонн, отношениями объединяющейся Западной Европы с США, СССР, Китаем и третьим миром. Он непременный участник многих коллективных работ ИМЭМО по этой проблематике. Его статьи (под псевдонимом С. Мадзоевский) часто появлялись в журналах «Мировая экономика и международные отношения» и «Международная жизнь». У Маклэйна появляются ученики из числа выпускников МГИМО и МГУ, специализирующиеся по современной Англии.

Его друг и соратник Д. Е. Меламид, «переманивший» Маклэйна на научную работу, мог быть полностью удовлетворен. К началу 1970-х годов Дональд Маклэйн превратился в ведущего советского политолога-англоведа, одного из самых авторитетных специалистов по проблемам Западной Европы. К его компетентным оценкам и рекомендациями прислушивались и в Международном отделе ЦК КПСС, и в МИД СССР.

Аналитические записки Маклэйна направлялись в самые высокие инстанции, включая Л. И. Брежнева и А. А. Громыко.

Еще с конца 1960-х годов он уверенно предсказывал неизбежное вхождение Англии в ЕЭС, вопреки мнению большинства аналитиков, настаивавших на приоритете для Лондона возглавляемой им ЕАСТ[313] и «особых отношениях» с США. Маклэйн активно отстаивал идею формирования в лице Западной Европы нового «центра силы», автономного от «американского империализма». Он уже в начале 1970-х годов настоятельно рекомендовал «директивным инстанциям» всерьез отнестись к процессу политической интеграции Западной Европы, отказаться от устаревших представлений о возможности и впредь решать все важные вопросы европейской политики отдельно с Лондоном, Парижем или Бонном, не считаясь с тенденцией к согласованию внешнеполитических курсов в рамках ЕС. Он считал необходимым, чтобы советская дипломатия развивала диалог с европейскими институтами в Брюсселе и Страсбурге в перспективе неизбежного, как он полагал, установления официальных отношений между СССР и ЕС. Маклэйн был убежденным и последовательным сторонником политики разрядки.

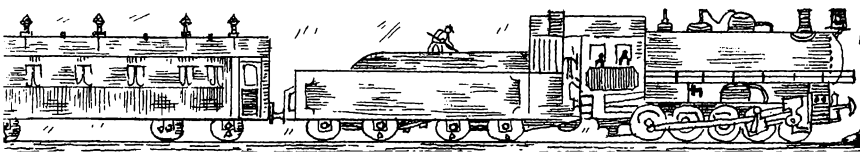
Долгие годы он добивался от руководства КГБ возвращения себе своего подлинного имени и фамилии. В конечном счете его настойчивость возымела результат.

16 июня 1972 года он направляет в Дирекцию ИМЭМО заявление следующего содержания: «Прошу впредь числить меня под фамилией Маклэйн Дональд Дональдович». В последний раз он подписывается как «Фрейзер»[314].

19 июня заместитель директора института Е. М. Примаков издает приказ № 6, в котором говорится: «Ст. научного сотрудника ФРЕЙЗЕРА Марка Петровича впредь числить под фамилией, именем и отчеством МАКЛЭЙН Дональд Дональдович»[315].

Свое 60-летие, тепло отмеченное в Институте в мае 1973 года, Д. Маклэйн встретил под собственным именем.

По представлению ИМЭМО, поддержанному Академией наук СССР, Д. Маклэйн в связи с 60-летием был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Это был его второй орден, полученный теперь уже за мирный труд.



Первым (Боевое Красное Знамя) он был награжден в ноябре 1955 года. Учитывая его выдающиеся заслуги перед СССР, единственный орден за 16 лет нелегальной работы на советскую внешнюю разведку многим казался очевидной несправедливостью. К тому же наградили его только спустя четыре года после вынужденного приезда в Советский Союз. Сталинский НКВД—МГБ явно не жаловал своих даже самых ценных агентов, ежедневно рисковавших жизнью.

У Маклэйна, видимо, были не простые отношения с КГБ. В тяжелейших условиях 16-летней нелегальной работы он до конца оставался верным своему добровольному выбору, сделанному в юности. Со временем он пришел к печальному выводу о расхождении своих коммунистических идеалов с советской действительностью. Как уже отмечалось, ответственность за грубое искажение марксизма, который сам он исповедовал до конца дней, Маклэйн возлагал сначала на Сталина, а потом на «клуб старых джентльменов», как он называл брежневское Политбюро. Маклэйн с надеждой встретил XX съезд партии, а потом болезненно переживал крушение своих надежд на обновление социализма, на его «очеловечивание».

Оказавшись в СССР, он никогда не скрывал своих взглядов и сомнений как в отношении хрущевского волюнтаризма, так и брежневского застоя. Он не раз поднимал свой голос в защиту инакомыслящих, подвергавшихся преследованиям КГБ. Особое негодование Маклэйна вызывало использование психиатрии для борьбы с инакомыслием.

Когда 29 мая 1970 года в г. Обнинске был арестован и помещен в калужскую психиатрическую больницу известный диссидент, биолог Жорес Медведев, Маклэйн, знавший обоих братьев Медведевых — Жореса и Роя, обратился с личным письмом к председателю КГБ Ю. А. Андропову, указав ему на недопустимость подобных действий его подчиненных в отношении честного, искреннего и, безусловно, психически здорового человека.

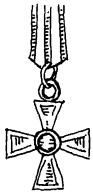
Действия калужских чекистов, по убеждению Маклэйна, роняли престиж Советского Союза за рубежом, в частности среди друзей СССР. Это мнение нашло подтверждение уже через несколько дней, когда в мире развернулась широкая кампания протеста в связи с «делом Жореса Медведева». Через две

недели власти вынуждены были освободить Жореса Медведева из психбольницы[316].

В январе 1972 года Маклэйн выступил с письмом в защиту осужденного на семь лет лагерей и пять лет ссылки правозащитника Владимира Буковского, протестовавшего против использования психиатрии для подавления диссидентского движения[317]. Это письмо, как и предыдущее, было адресовано Юрию Андропову.

Маклэйн и впоследствии выступал в защиту тех, кого, как он считал, несправедливо преследуют. Он открыто возмущался позорной практикой лишения советского гражданства неугодных режиму лиц — А. И. Солженицына, М. Л. Ростроповича, Г. П. Вишневской и других, а также ссылкой академика А. Д. Сахарова в г. Горький.

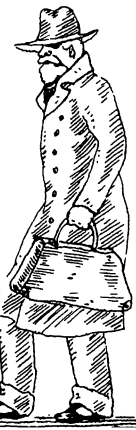
Принципиальная позиция заслуженного ветерана советской разведки в вопросе борьбы с инакомыслием не могла не раздражать 5-е («идеологическое») управление КГБ, занимавшееся политическим сыском. При этом Маклэйна глубоко уважали профессионалы из внешней разведки.



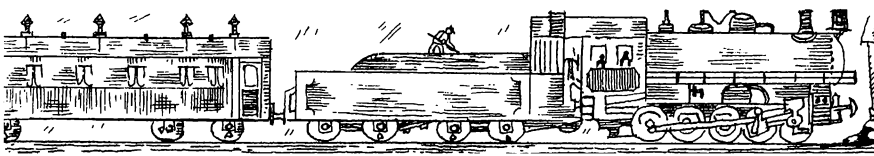
Из воспоминаний друга Маклэйна, Джорджа Блейка:

«Он, конечно, был человеком со своими взглядами, строгим в оценках, и в этом смысле — тоже настоящим коммунистом. Он осуждал в советской действительности все то, что не соответствовало его представлениям о коммунизме и об интернациональном обществе.

Как известно, одна из причин, по которой он начал сотрудничать с советской разведкой, состояла в том, что он испытывал ненависть к фашизму, крайнему национализму, антисемитизму и милитаризму. Всю свою жизнь, где бы он ни находился, если он видел признаки этих болезней, то очень твердо выступал против любых их проявлений. Поэтому, особенно в последние годы, были случаи, когда он совсем не соглашался с официальной политикой»[318].



Растущее беспокойство у Маклэйна начиная с 1976 года вызывали действия советского руководства, подрывавшие едва достигнутую, неустойчивую еще разрядку международной напряженности. Развертывание ядерных ракет средней дальности в Европейской части СССР вскоре после подписания Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, вмешательство в вооруженные конфлик-



ты на африканском континенте (Ангола, Мозамбик, Эфиопия и др.) и военная интервенция в Афганистане, усиление давления на восточноевропейских союзников в связи с политическим кризисом в Польше и ужесточившиеся идеологические нападки КПСС на «еврокоммунизм» — все это глубоко травмировало Маклэйна, продолжавшего свято верить в дело социализма.

Из воспоминаний Джорджа Блейка:

«Я помню, что когда советским руководством было принято решение о размещении в европейской части СССР ядерных ракет средней дальности (СС-20), вызвавшее ответное развертывание в Западной Европе американских "Першингов", Дональда попросили написать статью с обоснованием правильности действий СССР. Он ответил на это предложение: "Я отказываюсь принимать участие в антисоветской пропаганде".

Он считал, что решение о развертывании ракет СС-20 было ошибочным и наносило большой вред интересам СССР. Вообще он видел много ошибок в действиях советского руководства, наносивших ущерб государственным интересам страны, и никогда не скрывал свое несогласие с подобными ошибочными решениями»[319].

В 70-е годы существовала обязательная для всех членов КПСС подписка на партийную периодику. Маклэйн выписывал много газет и журналов, но категорически отказывался от навязываемого ему журнала «Коммунист». Мотивируя отказ, он говорил: «Я с удовольствием подпишусь на этот журнал, но не раньше, чем он поднимет свой крайне низкий уровень».

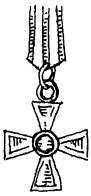
Коллегам из ИМЭМО Маклэйн запомнился как человек не только демократических убеждений, но и не менее демократичных привычек. Заядлый курильщик, он имел возможность получать недоступные советским людям «Мальборо» или «Кэмел», но признавал только «Дымок» и «Приму», крепчайший табак которых отпугивал все живое. Обедать он ходил не в соседний с институтом ресторан «Золотой колос», а в расположенную рядом с ИМЭМО пельменную, которую не всякий младший научный сотрудник института рисковал посещать, даже будучи очень голодным. Он был одинаково вежлив и приветлив с академиком и аспирантом.

В середине 1970-х годов у него появляются первые признаки тяжелого онкологического заболевания. Время от времени он ложился в больницу, где проходил курсы лечения. Врачи сумели замедлить течение болезни, подарив Маклэйну еще семь лет жизни. Все эти годы он продолжал интенсивно работать. «Я не алкоголик, я — трудоголик», — шутил Маклэйн[320].

В это же время он старался устроить будущее своих детей. Отчетливо сознавая, что доживать ему придется в полном одиночестве, Маклэйн добивался для двоих сыновей и дочери, а также любимой внучки, в которой души не чаял (все они были советскими гражданами) разрешения на выезд из СССР. В конечном счете ему это удалось. На родину в США вернулась и жена Маклэйна, Мелинда. Теперь он мог считать, что выполнил свой последний долг перед семьей.

Вспоминает Джордж Блейк:

«Часто говорят, что семья оставила его наедине с тяжелой болезнью (раком предстательной железы). Это не совсем так. Дональд всегда страдал от чувства своей вины перед женой и детьми, которым он, из-за работы на советскую разведку, совершенно изменил всю их жизнь. Ведь его семья могла рассчитывать совсем на другую жизнь. Мелинда, например, знавшая о работе Дональда на советскую разведку, при других обстоятельствах могла бы быть супругой британского посла в Соединенных Штатах или во Франции, а их дети — получить соответствующее воспитание. Все они не чувствовали себя полностью счастливыми в Советском Союзе, — может быть, за исключением младшей дочери, которая выросла здесь. Конечно же, они хотели бы жить на своей родине.



При этом надо сказать, что все дети получили в СССР хорошее образование, что помогло им найти в Америке и Англии хорошие места. Советская система образования была не так плоха, как теперь утверждают некоторые. Одним словом, на Западе у детей Дональда не было проблем с трудоустройством»[321].

В конце августа 1982 года Маклэйн отправился в путешествие по Волге на теплоходе «Климент Ворошилов», однако внезапное обострение болезни вынудило его прервать поездку. Он был эвакуирован с теплохода, доставлен в Москву и госпитализирован в Кремлевскую больницу, откуда будет еще ненадолго выходить, а потом опять туда возвращаться.

Из воспоминаний Джорджа Блейка о последних днях Маклэйна:

«Последнее время я бывал у него почти ежедневно. Еще за два дня до смерти он был на ногах, писал какую-то большую работу. 6 марта 1983 года он почувствовал себя очень плохо, и мы вызвали "скорую помощь". Дональд был доставлен в Кремлевскую больницу, куда в свое время, еще в начале болезни, его устроил Примаков. С тех пор он неоднократно лежал там — то месяц, то три недели. В тот последний раз я сопровождал его в клинику.

Дональд оделся сам. В это время выяснилось, что лифт почему-то не работал. Мы посадили его на стул и вместе со стулом вынесли во двор, усадив в машину "скорой помощи". В больнице его приняли и отвезли в палату, а я вернулся к себе домой, сказав, что приду его навестить 8 марта.

Когда в назначенный день я пришел в ЦКБ, то на проходной не оказалось пропуска на мое имя. Ничего не сумев выяснить, я вынужден был вернуться домой, а на следующий день узнал, что еще 7 марта Дональд умер. В последний день он уже потерял сознание, и с ним никого не было, кроме врачей»[322].

После похорон, организованных институтом, где он проработал без малого двадцать два года, прах Маклэйна был доставлен для захоронения в семейную усыпальницу в одном из пригородов Лондона.

Через несколько дней после его смерти лондонская «Санди таймс» поместила на своих страницах последнее (и единственное) интервью Маклэйна, которое он дал иностранному журналисту после 1952 года. Поводом к этому интервью, в частности, стал арест КГБ в апреле 1982 года двух молодых научных сотрудников ИМЭМО — Андрея Фадина и Павла Кудюкина, обвиненных в антисоветской деятельности.

Перед лицом надвигавшейся смерти Дональд Маклэйн обратился к Юрию Андропову, к тому времени занявшему пост генерального секретаря ЦК КПСС, с публичным призывом прекратить «дело Фадина — Кудюкина» и освободить этих двух идеалистов, мечтавших, как и он, Маклэйн, о «социализме с человеческим лицом». По всей видимости, у старого коммуниста были какие-то надежды на «просвещенность» Андропова, выгодно отличавшегося от своих престарелых коллег по Политбюро. К этой-то просвещенности и здравому смыс-

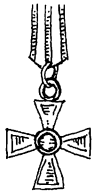
лу Маклэйн и апеллировал в своем посмертном обращении к бывшему шефу КГБ.

Трудно сказать, что именно повлияло на Андропова — призыв ветерана советской разведки или какие-то другие соображения, — но оба молодых человека были освобождены, а их «дело» прекращено.

Маклэйн умер убежденным коммунистом-интернационалистом, о чем свидетельствуют записи, сделанные им за два года до смерти, весной 1981 года. В этих предсмертных «соображениях» откровенно выражено не только жизненное кредо Маклэйна, но и его вера в дело социализма, на обновление которого он надеялся до последней минуты[323].

Из предсмертных записей Д. Маклэйна:

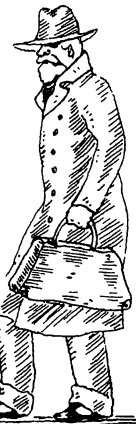
«В моем представлении Советский Союз — это социалистическое общество, общество, развивающееся на качественно новой базе отношений собственности, общество, которое в переживаемый нами исторический период создало такой потенциал для обеспечения благосостояния и счастья людей, каким капиталистический строй не обладает.



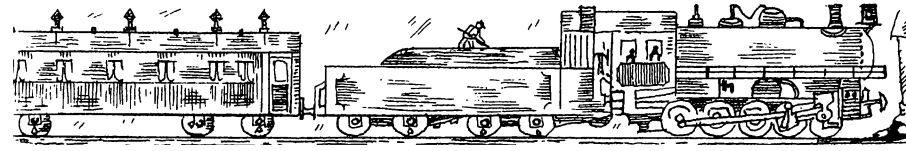
Я продолжаю считать, что Октябрьская революция ознаменовала собой такой же радикальный и необратимый поворот на долгом пути перехода человеческого общества от капитализма к социализму, какими были Английская революция XVII в. и Французская революция XVIII в. на не менее долгом пути перехода от феодализма к капитализму...

...Вместе с тем это такое общество, в котором сохраняется глубокий разрыв между потенциальными возможностями его социалистической базы и практическим их претворением в жизнь.

Причиной разрыва является то обстоятельство, что после ухода Ленина и его соратников — этих кромвелей, пимов и хэмпденов Русской революции — и особенно после массового уничтожения советской интеллигенции во второй половине 30-х годов политический и культурный уровень правящей элиты, этой верхушки надстройки, оказался чрезвычайно низким...



По существу, правящая элита временами в таких широких масштабах действовала вопреки интересам советского общества, что можно без большого преувеличения утверждать, что



социалистический строй в этой части мира выжил, несмотря на низкий уровень руководства и его деяния, подобно тому как капитализм пережил возвращение Стюартов в Англии, Бурбонов и двух наполеоновских империй во Франции...

Как мне представляется, практическая деятельность нынешнего руководства и сопровождающие ее последствия свидетельствуют о неуклонной тенденции к замене поисков путей реализации энергии общества, которым оно правит, стремлением сохранить свою собственную власть. В частности, оно продемонстрировало твердую решимость воспрепятствовать как у себя в стране, так и за ее пределами (Чехословакия, 1968 г.) осуществлению давно назревших реформ в окостенелых политических и социальных структурах Советского Союза и других европейских социалистических государств...

Повторяю, это не означает, что советское общество более не продвигается вперед, — оно продвигается. Однако главным тормозом его поступательного движения теперь служит олигархический консерватизм руководства...

Вместе с тем я полагаю, что... Советский Союз вынужден будет рано или поздно стать на путь, предлагаемый еврокоммунистами. В эпоху XX съезда мы уже на протяжении нескольких лет быстро продвигались в этом направлении, и, возможно, в наступающем десятилетии нам предстоит снова наблюдать нечто подобное...

Этот сравнительно оптимистический взгляд (кстати, отнюдь не разделяемый большинством моих друзей) базируется отчасти на историческом прошлом и отчасти на анализе современной обстановки в СССР. Прожив и проработав здесь в последние годы сталинского террора и в эру XX съезда, я на собственном опыте убедился в том, что такие перемены возможны, что советская разновидность социализма содержит в себе мощный потенциал созидательных реформ...

В этой стране непосредственная инициатива созидательных преобразований, скорее всего, будет исходить не извне высших эшелонов партийно-государственной иерархии, как в сегодняшней Польше, а изнутри, как это имело место в Китае, Венгрии и в ходе "пражской весны".

Я предвижу, что после неизбежного ухода в отставку нынешней правящей узкой группы по мотивам возраста и здоровья рано или поздно последует довольно затяжной сдвиг

внутри структуры власти в пользу группы руководителей более высокого политического, культурного и интеллектуального уровня...

Мне представляется наиболее вероятным, что в следующие 5 лет в результате благоприятных изменений в высшем руководстве мы окажемся свидетелями улучшения политического, культурного и интеллектуального климата в Советском Союзе в развертывании целого комплекса реформ, которые затронут самые важные сферы жизни советского народа...

Одним из важнейших элементов изложенной здесь концепции является убеждение в том, что советский народ не только не воспротивится конструктивным переменам, а, напротив, готов к таким переменам в гораздо большей степени, чем когда-либо прежде в истории страны...»

Дональду Маклэйну, к сожалению, не суждено было дожить до точно предсказанной им горбачевской перестройки. К счастью, ему не довелось увидеть и последующее крушение его заветной мечты о социализме «с человеческим лицом». Судьба уберегла его от этого страшного удара[324].

Примечания

[1] А. А. Биценко (1875—1938) была приговорена судом к смертной казни, замененной пожизненной каторгой, откуда она освободилась после Февральской революции 1917 года. Впоследствии Биценко — член ЦК Партии левых социалистов-революционеров, затем — член ЦК отколовшейся от левых эсеров Партии революционного коммунизма (ПРК). В ноябре 1918 года по рекомендации Я. М. Свердлова она была принята в РКП (б). По окончании учебы в Институте красной профессуры находилась на преподавательской и партийной работе. В феврале 1938 года была арестована по ложному обвинению. В июне 1938 года по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР расстреляна на подмосковном полигоне «Коммунарка».

[2] В ходе многочисленных научных командировок в Париж мне довелось работать в Национальном архиве, в Архиве Министерства иностранных дел Франции, в Отделе рукописей Национальной библиотеки и в Архиве Префектуры парижской полиции.

[3] В разные годы они публиковались на страницах газеты «Русская мысль» (Париж), журнала «Родина» (Москва) газеты «Известия» и других российских периодических изданий.

[4] Письмо датировано 22 октября 1760 года. Перевод сопроводительного письма на русский язык был сделан в Иностранной коллегии по получении корреспонденции из Парижа 15 ноября. Стихотворение Марешаля с сопроводительным письмом сразу же было передано императрице Елизавете. По прочтении она вернула стихи и письмо в Иностранную коллегию канцлеру графу М. И. Воронцову, о чем есть соответствующая запись, датированная 19 ноября // Архив внешней политики Российской империи. Ф. 93/1. Сношения России с Францией. 1760 г. Д. 2. Л. 7—11 об. Немаловажная деталь — автор стихотворения не ожидал и тем более не просил, как это часто бывало в подобных

случаях, какого-то материального вознаграждения от высочайшего адресата, что свидетельствовало об искренности и чистоте его намерений.

[5] Стихотворный перевод с *фр.* Надежды Александровой.

[6] Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de France depuis les Traités de Westphalie jusqu'à la Révolution française. T. 9. Russie (1749—1789). Paris, 1890. P. 213—215.

[7] АВПРИ. Оп. 93/6. Д. 240. Л. 82—83.

[8] Там же. Л. 90—91б.

[9] Там же. Д. 244. Л. 17.

[10] Собственноручные письма императрицы Екатерины II к графу Ивану Григорьевичу Чернышеву // Русский архив. 1871. № 8. С. 1319.

[11] Там же. С. 1318.

[12] Там же. С. 1331.

[13] Сборник Императорского Русского Исторического Общества. СПб., 1872. Т. 10. С. 309.

[14] Цит. по: *Соловьев С. М.* Сочинения в 18 книгах. М., 1994. Кн. XIV. Т. 28. С. 302.

[15] Сборник РИО. Т. 10. С. 342—343.

[16] *Соловьев С. М.* Указ. соч. Кн. XIV. Т. 28. С. 302.

[17] АВПРИ. Ф. Сношения России с Францией. Оп. 93/6. Д. 249. Л. 63—63об.

[18] Там же. Л. 89об.

[19] Там же. Д. 292. Л. 21—21об.

[20] Там же. Л. 38—39.

[21] Archives des Affaires Étrangères. Correspondance politique. Russie. Vol. 93, 96, 97, 98, 100.

[22] Le Faux Pierre III ou la vie et les aventures du rebelle Iemelian Pugatschew. D'après l'original russe de Mr. F. S. G. D. B. L., 1775.

[23] АВПРИ. Ф. Сношения России с Францией. Оп. 93/6. ДД. 276, 289, 291, 292, 293, 297; Ф. Сношения России с Австрией. Оп. 32/6. Д. 557.

[24] АВПРИ. Ф. Сношения России с Францией. Оп. 93/6. Д.394. Л. 68—71об. *Барятинский — Екатерине II, 19 (30) ноября 1783 г.*

[25] Там же. Л. 94об. — 95об. *Барятинский — Екатерине II, 30 ноября (11 декабря) 1783 г.*

[26] Русский архив, 1878. № 9. С.94.

[27] Там же.

[28] АВПРИ. Ф. Сношения России с Францией. Оп. 93/6. Д. 411. Л. 1—2об. *Барятинский — Екатерине II, 4 (15 июля) 1784 г.*

[29] Там же. Л. 199об — 200об. *Барятинский — Екатерине II, 30 июня (11 июля) 1784 г.*

[30] Цит. по: Новый энциклопедический словарь // Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. Т. 4. Ст. 465.
[31] Там же. Ст. 455–456.
[32] Там же. Ст. 456.
[33] АВПРИ. Ф. Сношения России с Францией. Оп. 93/6. ДД. 490, 498, 501.
[34] Mémoires ou souvenirs et anecdotes par M. le Comte de Ségur. Deuxième édition. Paris, 1826. T. 3. P. 532.
[35] Цит. по: Французская революция 1789 г. в донесениях русского посла в Париже И. М. Симолина. // Литературное наследство. Т. 29/30. М., 1937. С. 430.
[36] АВПРИ. Ф. Сношения России с Францией. Оп. 93/6. Д. 502. Л. 161–164об.
[37] АВПРИ. Ф. Сношения России с Францией. Оп. 93/6. Д. 489. Л. 14–15. *Симолин — Остерману, 23 июля (3 августа) 1791 г.*
[38] Там же. Л. 16. Прошение З. Чернявского И. М. Симолину, 16 (27) июля 1791 г.
[39] Там же. Д. 510. Л. 5. Прошение в Государственную Коллегию иностранных дел от священника миссии Чернявского из Парижа, 1792 июля 26 дня.
[40] Там же.
[41] Там же. Д. 506. Л. 166—166об. Прошение о. Павла Криницкого графу И. М. Симолину от 6 (17) сентября 1792 г.
[42] Там же. Л. 165. *Симолин — Остерману, 6 (17) сентября 1792 г.*
[43] Там же. Д. 515. Л. 100—100об. *Симолин — Остерману, 1 (12) мая 1793 г.*
[44] Archives des Affaires Étrangères (далее: AAÉ). Correspondance politique. Russie. 1791. Vol. 135.
[45] AAÉ. Correspondance politique. Russie. 1762. Vol. 68.
[46] Ibid. 1792. Vol. 138.
[47] РГВИА. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1402. Л. 27.
[48] Там же. Л. 1.
[49] Там же. Л. 2.
[50] Там же. Л. 3.
[51] Там же. Л. 6.
[52] Там же.
[53] Там же. Л. 9—9об.
[54] Там же. Л. 12.
[55] Там же. Л. 17–18.
[56] Там же. Л. 19.
[57] Там же. Л. 20.
[58] *Солженицын А. И.* Двести лет вместе (1795—1995). Часть I. М., 2001. Главы 2 и 3.

[59] *Гинзбург С. М.* Отечественная война 1812 года и русские евреи. СПб., 1912. С. 52–53.
[60] Цит. по: Гинзбург С. М. Указ соч. С. 59–60.
[61] Там же. С. 74.
[62] Там же. С. 126.
[63] Цит. по: *Солженицын А. И.* Указ соч. С. 65.
[64] РГВИА. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1402. Л. 21.
[65] Там же. Л. 23—23об.
[66] Там же. Л. 25—26об.
[67] Из письма Канцелярии Главного штаба министру финансов Е. Ф. Канкрину от 26 февраля 1825 г. // Там же. Л. 42.
[68] Там же. Л. 43.
[69] Там же. Л. 44.
[70] Там же. Л. 45—45об.
[71] Там же. Л. 46.
[72] Николай Первый и его время. Документы, письма, дневники, мемуары, свидетельства современников и труды историков. Т. 2. М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2002. С. 25–27.
[73] Там же. С. 32.
[74] AAÉ. Correspondance politique. Russie. Vol. 169. Fol. 315.
[75] Ibid. Fol. 245 recto verso.
[76] Ibid. Fol. 273 verso — 274 recto verso.
[77] Ibid. Fol. 312 recto verso.
[78] Ibid. Fol. 293.
[79] Ibid. Fol. 313 recto verso.
[80] Ibid. Fol. 344 recto verso.
[81] Ibid. Vol. 170. Fol. 12–17 verso.
[82] Ibid. Fol. 21 recto verso.
[83] Ibid. Fol. 24 recto verso.
[84] Ibid. Vol. 170, Fol. 198 verso — 199 recto.
[85] Ibid. Vol. 171, Fol. 113 verso.
[86] Ibid. Fol. 182 verso.
[87] «Исторический журнал полка 16 марта 1799–19 июня 1815 гг.» // РГВИА. Ф. 2581. Оп. 2. Д. 549. Л. 5 об.
[88] «Выписки о важнейших событиях и военных действиях полка в кампаниях 1805, 1806, 1807, 1812 гг., сведения по истории полка и об участии в подавлении волнения в Петербурге. 21 августа 1844 г. — 25 февраля 1850 г.» // РГВИА. Ф. 2581. Оп. 2. Д. 557. Л. 1—2об.
[89] Его служебное досье см.: AAÉ. Personnel. 1-re série. № 783.
[90] АВПРИ. Ф. Канцелярия. Оп. 469. 1849 г. Д. 125. Л. 375 об. — 376. *Киселев — Нессельроде, 2/14 декабря 1849 г.*
[91] Там же. Л. 376–376 об.

[92] AAÉ. Correspondance politique. Russie. 1850. Vol. 206. Fol. 62–63 verso. *Кастельбажак —Лаитту, 27 апреля 1850 г.*

[93] Ibid. Fol. 64.

[94] Ibid. Fol. 64 verso-65 recto.

[95] Ibid. Fol. 65 recto-verso.

[96] Ibid. Fol. 65 verso-66 recto-verso.

[97] Ibid. Fol. 66 verso-67 recto.

[98] Ibid. Vol. 209. Fol. 35. *Кастельбажак — Друэн де Люису, 30 апреля 1853 г.*

[99] Полный текст Записки см.: AAÉ. Correspondance politique. Russie. 1853. Vol. 209. Fol. 220–234. *Рейзе — Друэн де Люису, 2 июля 1853 г.*

[100] Никола Жозеф Мэзон (1771–1840) начинал карьеру в 1789 году в Национальной гвардии, где к 1791 году дослужился до капитана. Активный участник революционных войн, он с 1797 года служил под началом будущего маршала Бернадотта. С учреждением империи Мэзон занимает командные посты в Великой армии, приняв участие в сражениях под Аустерлицем и Йеной, в военной экспедиции в Испанию и в походе в Россию, когда он был удостоен чина дивизионного генерала. После перехода через Березину Мэзон заменяет получившего ранение маршала Удино на посту командира 2-го корпуса. В 1813 году, командуя 5-м корпусом, он наносит поражение прусским войскам и занимает город Галле. За доблесть, проявленную в Лейпцигском сражении, где он был ранен, Мэзон получает Большой крест Почетного легиона и графский титул. После отречения Наполеона Мэзон переходит на службу к Людовику XVIII и сохраняет верность Бурбонам во время Ста дней, за что был удостоен титула маркиза и звания пэра Франции. Вместе с тем Мэзон отказался войти в состав Военного трибунала, судившего маршала Нея, перешедшего на сторону Наполеона во время Ста дней. За это он был временно подвергнут опале. В 1829 году Карл X присваивает Мэзону звание маршала Франции. С началом Июльской революции 1830 года Мэзон поддержал Луи-Филиппа, за что получил пост министра иностранных дел, а затем возглавил посольство в Вене. В 1832 году король Луи-Филипп доверил ему ответственный пост своего посла в Санкт-Петербурге.

[101] AAÉ. Correspondance politique. Russie. 1834. Vol. 188. Fol. 252 recto verso.

[102] Ibid. Vol. 189. Fol. 128.

[103] Ibid.

[104] Ibid. Fol. 133 recto verso.

[105] Ibid. Fol. 133 verso — 134 recto.

[106] Ibid. Fol. 134 recto — 135 verso.
[107] Ibid. Fol. 156 verso.
[108] Ibid. Fol. 158 recto.
[109] Ibid. Fol. 158 verso — 159 recto.
[110] Ibid. Fol. 178.
[111] АВПРИ. Ф. Канцелярия. Оп. 469. Т. 1. 1834 г. Д. 146. Л. 169—169об.
[112] Там же. Д. 144. Л. 346—346об.
[113] Там же. Л. 347—348об.
[114] РГВИА. Ф. 395. Оп. 35. Д. 356. Л. 3.
[115] Там же. Л. 5.
[116] Там же. Л. 1
[117] Там же. Л. 5
[118] АВПРИ. Ф. Канцелярия. Оп. 469. Т. 1. 1834 г. Д. 146. Л. 287—288об.
[119] Там же. Д. 145. Л. 280—280об.
[120] Там же. Ф. Генеральное консульство в Париже. Оп. 561. 1878 г. Д. 390. Л. 1—15об.
[121] «Формулярный список о службе, состоявшего в Главном Штабе Его Императорского Высочества, в Бозе почивающего Государя Цесаревича, Комиссариатского штата 5-го класса Сагтынского. Сентября 22-го дня 1832 года» // ГАРФ. Ф. 109 (III Отделение Собственной Е. И. В. канцелярии). Оп. 62. 2-я экспедиция. 1832 г. Д. 711. Л. 10—11.
[122] ГАРФ. Ф. 109 (III Отделение Собственной Е. И. В. канцелярии). Оп. 62. 2-я экспедиция. 1832 г. Д. 711. Л. 4—5.
[123] Там же. Л. 7.
[124] Там же. Л. 7об.
[125] См.: там же. Оп. 77. 2-я экспедиция. 1839 г. Д. 599; Оп. 85. 2-я экспедиция. 1855 г. Д. 508.
[126] *Герцен А. И.* Былое и думы. М., 1983. Т. 2. С. 46, 49.
[127] Там же. С. 47.
[128] *Чукарев А. Г.* Тайная полиция России 1825—1855 гг. М., 2005. С. 234.
[129] См. о нем: *Черкасов П. П.* Русский агент во Франции. Яков Николаевич Толстой 1791—1867. М., 2008.
[130] *Cadot M.* La Russie dans la vie intellectuelle française 1839—856. Paris, 1967. P. 64.
[131] ГАРФ. Ф. 109 (III Отделение Собственной Е. И. В. канцелярии). Оп. 62. 2-я экспедиция. 1856 г. Д. 711. Л. 76—76 об.
[132] Напомним, что до поступления в Третье отделение в 1835 году А. А. Сагтынский состоял «для особых поручений» в Военном министерстве.

[133] ГАРФ. Ф. 109 (III отделение Собственной Е. И. В. канцелярии). Оп. 62. 2-я экспедиция. 1856 г. Д. 711. Л. 76, 78, 94.
[134] Там же. Л. 112.
[135] Там же. Л. 128.
[136] Дело петрашевцев. Т. 1–3. М.; Л., 1937–1951. См. также: *Дьяков В. А.* Освободительное движение в России 1825–1861 гг. М., 1979; *Семевский В. И.* М. В. Буташевич-Петрашевский и петрашевцы. М., 1922; *Усакина Т. И.* Петрашевцы и литературно-общественное движение 40-х годов XIX века. Саратов, 1965; *Федосов И. А.* Революционное движение в России во второй четверти XIX в. М., 1956.
[137] AAÉ.. Correspondance politique. Russie. 1849. Vol. 203. Fol. 114–116.
[138] Ibid. Fol. 116 verso.
[139] Ibid. Fol. 116 verso — 117 verso.
[140] Ibid. Fol. 167.
[141] Ibid. Fol. 117 verso — 118.
[142] Ibid. Fol. 167–168.
[143] Николай Кашкин — служащий Азиатского департамента Министерства иностранных дел, в момент ареста ему было всего 19 лет.
[144] AAÉ. Correspondance politique. Russie. 1849. Vol. 204. Fol. 163–164 verso.
[145] См.: *Тарле Е. В.* Крымская война // Соч.: В 12 томах. М., 1959; Литературное наследство. Т. 31/32. М., 1937. С. 564.
[146] «Дело по просьбе Луи Бонапарта о разрешении ему прибыть в Россию. 24 апреля 1847 г. — 19 ноября 1848 г.» // ГАРФ. Ф. 109 (Секретный архив). Оп. 4 а. Д. 78. Д. 1–1 об.
[147] Там же. Л. 3–3 об.
[148] Там же. Л. 4.
[149] Там же. Л. 11–11 об.
[150] AAÉ. Correspondance politique. Russie. Vol. 206. Fol. 202 verso. *Кастельбажак — Тюрго, 15 декабря 1851 г.*
[151] Ibid. Fol. 231. *Кастельбажак — Тюрго, 28 января 1852 г.*
[152] Николай I имел в виду революционное движение, активизировавшееся с февраля 1848 года.
[153] AAÉ. Correspondance politique. Russie. Vol. 206. Fol. 292 verso. *Кастельбажак — Тюрго, 5 апреля 1852 г.*
[154] Первая империя во Франции, как известно, была основана Наполеоном I в 1804 году и просуществовала до 1814 года.
[155] Цит. по: *Мартенс Ф.* Собрание Трактатов и Конвенций, заключенных Россией с иностранными державами. Т. XV. Трактаты с Францией. 1822–1906. СПб., 1909. С. 263.
[156] Там же. С. 265.

[157] Там же. С. 266.

[158] См. депешу Кастельбажака от 16 декабря 1853 г. // AAÉ. Correspondance politique. Russie. Vol. 207. Fol. 295–296 verso. *Кастельбажак — Друэну де Люису, 16 декабря 1852 г.*

[159] Цит. по: *Мартенс Ф.* Указ. соч. С. 270.

[160] Принято считать, что в ходе Крымской войны общие потери французов составили 95 тыс. человек, а англичан — 22 тыс. Из 95 тыс. французских военных лишь 20 тыс. погибли в боях, остальные — 75 тыс. — умерли от инфекционных болезней (холеры, дизентерии, цинги и тифа), свирепствовавших в рядах союзнического Экспедиционного корпуса. Жертвой инфекционной болезни, в частности, стал военный министр Франции в 1851–1854 годах, а затем главнокомандующий Экспедиционным корпусом маршал Арман-Жак Леруа де Сент-Арно, умерший на борту военного корабля в самом начале Крымской кампании, 14 сентября 1854 года. См.: *Gouttman A.* La guerre de Crimée 1853–1856. Paris, 1995.

[161] AAÉ. Affaires diverses politiques. Russie. Vol. 3. (1854—1864). [s. p.].

[162] Ibid.

[163] Ibid.

[164] Ibid.

[165] Ibid.

[166] Ibid.

[167] Ibid.

[168] Историческое название дороги через Главный Кавказский хребет (Крестовый перевал) протяженностью более 200 км, соединяющей Владикавказ и Тбилиси. Проложена русскими войсками в конце XVIII века.

[169] Николай Иванович Евдокимов (1804—1873) — генерал-лейтенант, сын солдата; начал службу рядовым в Тенгинском пехотном полку, участник Кавказской войны с 1821 года. В 1824 году произведен в прапорщики. Отличился во многих боях против горцев. В 1848 году был произведен в генерал-майоры, в 1858-м — в генерал-лейтенанты. Командовал правым флангом Кавказской армии, осуществлявшей покорение Восточного Кавказа. Руководил осадой и взятием аула Ведено, резиденции Шамиля, затем участвовал в штурме крепости-аула Гуниб и пленении Шамиля, за что получил графский титул и орден Св. Георгия 3 ст. Впоследствии командовал войсками, усмирявшими Западный Кавказ, за что в 1863 году получил чин генерала от инфантерии и орден Св. Георгия 2 ст.

[170] По всей видимости, речь идет о генерал-лейтенанте бароне Ипполите Александровиче Вревском.

[171] AAÉ. Correspondance politique. Russie. 1858. Vol. 217. F. 230—231verso.

[172] AAÉ. Correspondance politique. Russie. 1858. Vol. 217. F. 231verso — 232 recto.

[173] Александр-Флориан-Жозеф Колонна, граф Валевский (1810—1868) — французский дипломат, побочный сын Наполеона I и графини Марии Валевской. В 1831 году сражался за независимость Польши. Затем вступил во французскую армию, одновременно занимался политической журналистикой. Начиная с 1840 года ему неоднократно доверялись различные дипломатические поручения. С 1849 года был посланником во Флоренции и Неаполе, послом в Испании и Англии. В 1855—1860 годах — министр иностранных дел Франции.

[174] Генерал Александр Евстафьевич Врангель (1804—1880) — участник Кавказской войны, один из ближайших сотрудников князя А. И. Барятинского. В 1857—1860 годах — начальник 21-й пехотной дивизии, командующий войсками и управляющий гражданской частью Прикаспийской области, командовал отрядом при штурме аула Гуниб, последнего убежища имама Шамиля.

[175] Донесение от 18 августа 1859 г. // AAÉ. Correspondance politique. Russie. 1858. Vol. 219. F. 206 recto verso.

[176] Имеется в виду главнокомандующий Кавказской армией генерал-адъютант князь Александр Иванович Барятинский (1815—1879). За пленение Шамиля и покорение Северного Кавказа в 1859 году произведен в генерал-фельдмаршалы.

[177] С 1922 года — город Буйнакск в восточной части Дагестана.

[178] При слиянии Аварского и Андийского Койсу берет начало река Сулак, впадающая в Каспийское море.

[179] Имеется в виду первый имам Чечни и Горного Дагестана Гази-Магомед (1794—1832), призвавший горцев в 1828 году к «газавату» (священной войне против неверных, то есть русских). Он погиб (заколот штыками) 17 октября 1832 года при штурме русскими войсками его родного аула Гимры, в Горном Дагестане.

[180] Французский посол, по всей видимости, имеет в виду имама Шамиля. В действительности преемником Гази-Магомеда и вторым имамом Чечни и Горного Дагестана в 1832 году стал Гамзат-бек (1789—1834), один из сподвижников Гази-Магомеда с 1829 года. Он был убит своими кровниками в 1834 году. Преемником Гамзат-бека и третьим по счету имамом стал Шамиль.

[181] Суфизм — мистическое течение в исламе, окончательно оформившееся в XII веке. Для него характерно сочетание метафизики с аскетической практикой, учение о постепенном приближе-

нии через мистическую любовь к познанию Бога (в интуитивных экстатических озарениях) и слиянию с ним.

[182] «Мюрид» буквально означает — «ищущий путь к спасению» через участие в священной войне с неверными. Мюрид обязан беспрекословно повиноваться своему духовному наставнику, жертвуя всем — и своим имуществом, и семьей, и самой жизнью.

[183] ААЁ. Correspondance politique. Russie. 1859. Vol. 219. F. 281–286.

[184] Ibid. F. 288–290.

[185] В данном случае французский посол ошибся, так как чеченский язык отличен от языков других горских народов Северного Кавказа.

[186] Имеется в виду император Наполеон III.

[187] Абд-эль-Кадер (Абд Аль-Кадир; 1808–1883) — вождь национально-освободительной вооруженной борьбы («священной войны») алжирских племен против французских завоевателей, продолжавшейся полтора десятилетия — с 1832 по 1847 год, создатель независимого государства (эмирата) на территории Западного Алжира. Отряды Абд-эль-Кадера неоднократно одерживали победы над французскими войсками. В результате подавления восстания в 1847 году взят в плен и отправлен во Францию, где содержался до 1852 года, когда был отпущен на свободу. Получив от правительства Наполеона III пожизненную пенсию, остаток жизни Абд-эль-Кадер провел на Ближнем Востоке, проживая по большей части в Дамаске.

[188] ААЁ. Correspondance politique. Russie. 1859. Vol. 219. F. 290–292.

[189] Ibid. F.400–401.

[190] *Ross Nicolas.* Saint-Alexandre sur-Seine. L'église russe de Paris et ses fidèles des origines à 1917. Les Éditions du CERF; Institut d'Études Slaves. Paris, 2005; *Ross Nicolas.* Saint-Alexandre Nevski. Centre spirituel de l'émigration russe. 1918–1939. Éd. des Syrtes. Paris, 2011.

[191] См.: *Беляева А. В.* Из истории Русской Православной Церкви во Франции // Россия и Франция XVIII–XX века. Вып. 5. М., 2003. С. 275–277.

[192] АВПРИ. Ф. Посольство в Париже. Оп. 524. 1861 г. Д. 493. Л. 34.

[193] Там же.

[194] В 1867 г. бакалавр богословия протоиерей Иосиф Васильев вернулся в Россию, где был назначен председателем Ученого комитета Св. Синода // BNF. NAF. № 16607. Fol. 282.

[195] *Яковлев Н. А.* Из истории возведения Свято-Александро-Невского собора в Париже в середине XIX века // Россия и Франция XVIII–XX века. Вып. 6. М., 2005. С. 101.

[196] АВПРИ. Ф. Посольство в Париже. Оп. 524. 1860 г. Д. 437. Л. 16.

[197] Там же. Л. 17, 22.

[198] Там же. Д. 493. 1861 г. Л. 13.
[199] Письмо графа Киселева от 16/28 мая 1860 г. // АВПРИ. Ф. Посольство в Париже. Оп. 524. 1860 г. Д. 437. Л. 12–13.
[200] Ответ И. М. Толстого от 1 июня 1860 г. // Там же. Л. 7–8.
[201] Там же. Л. 20—20об.
[202] Там же. Л. 19—19об.
[203] Там же. Л. 33—33об.
[204] Там же. Л. 34об.
[205] Там же. Л. 34.
[206] Там же. 1862 г. Д. 448. Л. 98—99об.
[207] Там же. Д. 539. Л. 20.
[208] Письмо графа П. Д. Киселева от 23 сентября/5 октября 1862 г. // Там же. Л. 20об. — 21.
[209] Ответ князя А. М. Горчакова // Там же. Л. 19.
[210] Там же. 1862 г. Д. 540. Л. 1–2.
[211] Там же. 1860 г. Д. 437. Л. 13.
[212] Там же. 1862 г. Д. 539. Л. 16.
[213] Там же. Л. 18.
[214] Там же. Л. 23.
[215] Там же. 1862–1863 гг. Д. 540. Л. 13.
[216] Там же. Л. 26—26об.
[217] Там же. Л. 3, 4, 22.
[218] Там же. 1862 г. Д. 539. Л. 10—10об.
[219] АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1862 г. Д. 114. Д. 110. Л. 423—423об.
[220] АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1862 г. Д. 114. Л. 151–153.
[221] Цит. по: Исторический вестник. 1882. № 3. С. 672.
[222] Письмо от 29 сентября 1856 г. // «Европа пережила неспокойные времена». Переписка императоров Александра II и Наполеона III. 1856–1867 гг. Публикация и перевод документов *Л. А. Пуховой* // Исторический архив. 2007. № 6. С. 156.
[223] АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1856 г. Д. 154. Л. 450.
[224] Полный текст инструкции см.: там же. Д 153. Л. 117—136об.
[225] Из дополнительной инструкции, полученной Киселевым. Ее полный текст см.: там же. Л. 187—198об.
[226] АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1862 г. Д. 110. Л. 48–49. *Киселев — Горчакову, 12 августа 1862 г.*
[227] Там же.
[228] См. его депешу с двумя приложениями («мемуарами») на имя Горчакова от 2 декабря 1856 г. // АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1856 г. Д. 151. Л. 305–324.
[229] В настоящее время там располагается резиденция посла России во Франции. Основное здание посольства находится по адресу бульвар Ланн, 40–50.

[230] АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1861 г. Д. 122. Л. 332.

[231] *Татищев С.* Император Александр. Его жизнь и царствование. М., 2006. С. 324.

[232] АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1862 г. Д. 110. Л. 423.

[233] Там же. Л. 424–426. *Киселев — Горчакову, 25 мая/6 июня 1862 г.*

[234] Письмо написано по-французски // Там же. Л. 430.

[235] Там же. Д. 111. Л. 105–106. *Киселев — Горчакову, 5/17 октября 1862 г.*

[236] АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1862 г. Д. 111. Л. 107–108.

[237] Там же. Л. 105–106. *Киселев — Горчакову, 5/17 октября 1862 г.*

[238] Цит. по: Исторический вестник. 1882. № 3. С. 681.

[239] Там же.

[240] *Morny, Duc de.* Extrait des Mémoires. Une Ambassade en Russie, 1856. Paris. 1892. P. 90–98.

[241] Барон де Талейран-Перигор был назначен послом Франции в России в конце 1864 года, но приступил к своим обязанностям только в 1865 году. Его дипломатическая миссия в Петербурге завершилась в 1869 году.

[242] Депеша приводится с некоторыми сокращениями // ААЁ. Correspondance politique. Russie. 1866. Vol. 236. Fol. 266–271 verso.

[243] Светлейший князь Николай Максимилианович Романовский, герцог Лейхтенбергский (1843—1891), племянник Александра II, сын его сестры, Марии Николаевны, в замужестве — герцогини Лейхтенбергской.

[244] Светлейшая княжна Мария Максимилиановна Романовская, герцогиня Лейхтенбергская, в замужестве — принцесса Баденская (1841—1914), внучка Николая I и правнучка Жозефины Богарне, первой супруги Наполеона I, старшая сестра Николая Лейхтенбергского, племянница Александра II.

[245] Мария Александровна (1853—1920), в замужестве — герцогиня Эдинбургская и герцогиня Саксен-Кобург-Готская, вторая дочь Александра II.

[246] Имеется в виду великий князь Александр Александрович (будущий Александр III), объявленный наследником после смерти в 1864 году от туберкулеза старшего брата, Николая Александровича.

[247] Газета «Санкт-Петербургские ведомости» выходила одновременно и на французском языке под названием «Journal de St.-Pétersbourg».

[248] ААЁ. Correspondance politique. Russie. 1866. Vol. 236. Fol. 280.

[249] Ibid. Fol. 291–298 verso.

[250] Ibid. Fol. 303 verso — 304 recto.

[251] Ibid. Vol. 237. Fol. 156–157 verso.

[252] Ibid. Fol. 175 verso.
[253] Ibid. Fol. 176 recto-verso.
[254] AAE. Correspondance politique. Russie. 1866. Vol. 237. Fol. 167–169.
[255] Ibid. 1867. Vol. 238. Fol. 271–272.
[256] *Carteret A.* Napoléon III. Actes et paroles. Paris, 2008. P. 200.
[257] *Каррер д'Анкосс Элен.* Александр II. Весна России. М., 2008. С. 205.
[258] AAÉ. Correspondance politique. Russie. 1867. Vol. 238. Fol. 358 recto-verso. *Талейран — Мустье, 23 мая 1867 г.*
[259] Ibid.
[260] Ibid. Vol. 239. Fol. 9. *Талейран — Мустье, 2 июня 1867 г.*
[261] Ibid. Fol. 9 recto-verso. *Талейран — Мустье, 2 августа 1867 г.*
[262] Петр Александрович Валуев (1815—1890) — министр внутренних дел России в 1861–1868 годах.
[263] AAÉ. Correspondance politique. Russie. 1867. Vol. 238. Fol. 207.
[264] Ibid. Vol. 239. Fol. 25. *Габриак — Мустье, 8 июня 1867 г.*
[265] Ibid. Fol. 27. Шифрованная телеграмма Габриака в Париж, 10 июня 1867 г.
[266] Цит. по: *Труайя Анри.* Александр II. М., 2003.
[267] AAÉ. Correspondance politique. Russie. 1867. Vol. 239. Fol. 34 verso — 35. *Талейран — Мустье, 2 июля 1867 г.*
[268] *Труайя Анри.* Указ соч. С. 174.
[269] AAÉ. Correspondance politique. Russie. 1867. Vol. 239. Fol. 85. *Талейран — Мустье, 22 июля 1867 г.*
[270] Ibid. Fol. 86.
[271] Ibid. Fol. 103 verso.
[272] *Charles-Roux F.* Alexandre II, Gortchakoff et Napoléon III. 2-ème éd. Paris, 1913. P. 439.
[273] АВПРИ. Ф. 133. Оп. 470. 1870 г. Д. 119. Л. 212. *Горчаков — Стакельбергу, 8 января 1870 г.*
[274] Адольф Кремьё (1796–1880) — адвокат и политический деятель Франции, министр юстиции в правительстве Национальной обороны с 4 сентября 1870 года до 17 февраля 1871 года.
[275] AAÉ. Correspondance politique. Russie. 1871. Vol. 245. Fol. 73.
[276] Ibid. Fol. 80–86.
[277] Россия. Полное географическое описание нашего Отечества. Настольная и дорожная книга для русских людей. Под ред. В. П. Семенова. СПб., 1901. Т. 6. Среднее и Нижнее Поволжье и Заволжье. С. 144.
[278] Статистический обзор Саратовской губернии за 1913 год. Саратов, 1914. С. 2.
[279] МВД России. Энциклопедия / Гл. ред. Н. В. Некрасов. М., 2002. С. 489. См. также: Министерство внутренних дел. Исторический очерк. 1802–1902. Репр. изд. М., 2002. С. 62.

[280] ГАСО. Ф. 61. Оп. 2а. Д. 198. Л. 4а — 5.
[281] Населенные пункты Балашовского уезда к 1901 году. Саратов, 1907. С. 50.
[282] ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6886.
[283] Там же. Д. 7378. Л. 433–436.
[284] Там же. Л. 434об. — 435.
[285] ГАСО. Ф. 61. Оп. 2а. Д. 198. Л. 4об.
[286] Там же. Ф. 1. Оп. 1. Д. 7378. Л. 492.
[287] Там же. Ф. 61. Оп. 2а. Д. 198. Л. 4а.
[288] Там же. Ф. 59. Оп. 2. Д. 2214. Л. 3.
[289] Там же. Ф. 61. Оп. 2а. Д. 198. Л. 5об.
[290] В начале XX века Кузнецкий уезд входил в состав Саратовской губернии. С установлением советской власти он был передан в состав Пензенской области.
[291] ГАСО. Ф. 61. Оп. 2а. Д. 198. Л. 5об.
[292] Там же. Ф. 59. Оп. 2. Д. 2179. Л. 1об. Для сравнения можно привести данные за другой, менее благополучный в материальном отношении, год. Так, в предвоенном 1913 году совокупный доход пристава Черкасова оценивался в 1407 рублей 50 копеек, то есть 117 рублей в месяц.
[293] См.: *Пядышев Дмитрий.* Цены и жалование в царской России в начале XX века // http://www.talers.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=108&showall=1.
[294] ГАСО. Ф. 59. Оп. 2. Д. 2214. Л. 1—19об.
[295] Там же. Д. 2216. Л. 2.
[296] Там же.
[297] Там же. Ф. 2. Оп. 1. Д. 11734. Л. 1.
[298] Le Monde, 14 novembre 1992.
[299] *Будник И., Иванов Ю.* Россия — Франция. Возвращение архивов // Международная жизнь, №8, 1993. С. 158–160. Соглашение предусматривало взаимное «выявление и возвращение архивных документов», оказавшихся на территории России и Франции. В соответствии с этим соглашением в Россию уже вернулись находившиеся во Франции архивные фонды русского происхождения, в частности архив генерала А. А. Игнатьева, российского военного атташе во Франции накануне и в годы Первой мировой войны, документы Русского экспедиционного корпуса во Франции и др.
[300] РГВА. Ф. 1. Оп. 22а. Д. 451.
[301] *Великий Князь Владимир Кириллович, Великая Княгиня Леонида Георгиевна.* Россия в нашем сердце. СПб., 1995. С.28.
[302] См. подробно: *Станислав Думин.* Романовы. Императорский Дом в изгнании. Семейная хроника. М., 1998.

[303] РГАНИ. Ф. 5. Оп. 62. Д. 61.

[304] Его фамилия по-русски имеет несколько написаний — Маклин, Маклейн и Маклэйн. Сам он писал — «Маклэйн», поэтому и мы будем придерживаться этого написания.

[305] См.: Очерки истории российской внешней разведки. Т. 3 1933–1941 годы. М., 1997. С. 40–49; Т. 5 1945–1965 годы. М., 2003. С. 77–88.

[306] Личное дело Д. Д. Маклэйна (М. П. Фрейзера) // Архив ИМЭМО РАН.

[307] Очерки истории российской внешней разведки. Т. 3. С. 31, 41.

[308] Из интервью Джорджа Блейка автору публикации.

[309] Первые сомнения в отношении Сталина у Маклэйна появились в августе 1939 года, когда был заключен советско-германский пакт о ненападении. Маклэйн был тяжело травмирован соглашением Сталина с Гитлером, которое он приравнивал к предательской мюнхенской политике Чемберлена и Даладье. По убеждению Маклэйна сближение Сталина с Гитлером «обусловило катастрофические и почти роковые последствия для Советского Союза и для всех народов Европы». — Из предсмертных записей Д. Маклэйна. // Мировая экономика и международные отношения. 1990. № 11. С. 107.

[310] Там же. Л. 7.

[311] *Maclean Donald.* British Foreign Policy since Suez. London, 1970.

[312] *Маклэйн Дональд.* Внешняя политика Англии после Суэца. Пер. с англ. М., 1972.

[313] Европейская ассоциация свободной торговли — торгово-экономическая организация, созданная в 1960 году по инициативе Великобритании в противовес ЕЭС. Помимо Англии в нее вошли Австрия, Дания, Норвегия, Португалия, Швейцария, Швеция и Исландия. Впоследствии Англия и Дания, вступившие в ЕЭС, вышли из ЕАСТ.

[314] Личное дело Д. Д. Маклэйна (М. П. Фрейзера) // Архив ИМЭМО РАН.

[315] Там же.

[316] В 1973 году Ж. Медведев эмигрирует в Великобританию.

[317] В декабре 1976 года Буковский был обменян на освобожденного Пиночетом из тюрьмы лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана и выслан в Англию, где и обосновался.

[318] Из интервью Джорджа Блейка автору публикации.

[319] Там же.

[320] Там же.

[321] Там же.

[322] Там же.

[323] Эти записи были переданы им своему другу Джорджу Блейку незадолго до смерти и впоследствии опубликованы. См.: Провидческий голос из времен застоя // Мировая экономика и международные отношения. 1990. № 11. С. 101–110.

[324] «Я не представляю, как бы он это перенес, — говорит Блейк, — хотя, наверное, перенес бы, так как был очень мужественным и к тому же философски мыслящим человеком. И все же я думаю, что по ходу событий, так как они развивались, он понял бы, что действительно эту систему нельзя было реформировать. По моему личному мнению, в том самом "клубе старых джентльменов", как называл Дональд брежневское Политбюро, это прекрасно понимали и поэтому ничего не меняли, ничего не трогали» // Из интервью Джорджа Блейка автору публикации.

Содержание

От автора 5

«Повергаю к стопам Вашего Императорского Величества удивление Европы». 9

«Спаси, Господи, Корсиканца из рук нечестивых французов» . . 13

«Французский след» в восстании Пугачева 22

«Поздравляю вас с воздушными колесницами, летающими вокруг ваших голов». 34

«Хлестаков» в роли дипкурьера 40

Русский агент в МИД Франции.
Шпионская история времен Французской революции 43

Возбудился принципами 53

Предсказанное убийство Павла I 58

Ушер Жолквер — неизвестный герой 1812 года 63

«Мои счастливые дни миновали...»
Французский посол о воцарении Николая I 78

Павлоны 14 декабря 1825 года 88

Штрихи к портрету «Карла Ивановича».
Николай I глазами французских дипломатов в Санкт-Петербурге 92

«Дипломатическая болезнь» маршала Мэзона 102

«Дело» подполковника Гедеонова, или Исповедь нераскаявшегося доносчика 110

Первый шеф российской внешней разведки 121

«Это движение умов... не представляет большой опасности».
«Дело Петрашевского» в освещении французских дипломатов 134

Была ли неизбежна Крымская война?
Николай I и Наполеон III 141

Кладбищенская история,
или Post scriptum к Крымской войне 152

Герцог де Монтебелло и имам Шамиль 160

Очаг русского православия в Париже 173

«С чувством глубочайшей признательности...».
Конец карьеры графа П.Д. Киселева 185

«Дело Каракозова» глазами барона Талейрана 204

Выстрелы в Булонском лесу 219

Становой пристав.
Индивидуальные штрихи к обобщенному портрету полицейского дореволюционной России 228

Великий князь «под колпаком» французской контрразведки.
По материалам архива «Сюрте Насьональ» 240

Стрелял ли в Сталина лейтенант Данилов?
По материалам архива «Сюрте Насьональ» 252

Сибирское эхо «дела Галанскова — Гинзбурга». 257

Вторая жизнь «Гомера».
Дональд Маклэйн в Советском Союзе. 264

Примечания 280

Черкасов П.
Ч-48 Шпионские и иные истории из архивов России и Франции / Петр Черкасов. — М. : Ломоносовъ. — 2015. — 304 с. — (История. География. Этнография).
ISBN 978-5-91678-277-6

Документальные новеллы Петра Черкасова — результат многолетних архивных изысканий. Читателю предстоит узнать много неожиданного. Екатерина II молится о спасении вождя корсиканских мятежников Паоли, Людовик XV тайно отправляет военных советников к Емельяну Пугачеву, чиновник Министерства иностранных дел революционной Франции исправно поставляет шифры и секретные документы своим русским кураторам, герцог де Монтебелло встречается с имамом Шамилем, «Сюрте Насьональ» организует слежку за великим князем Владимиром Кирилловичем... Здесь же портрет человека «поразительных контрастов» Николая I в депешах французских дипломатов, рассказ о первом шефе русской внешней разведки, зигзаги судьбы шляпника, ставшего в награду за спасение царя потомственным дворянином и кончившего белой горячкой, подробности покушения в Булонском лесу на русского и французского императоров и многое другое.

Петр Черкасов — доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН.

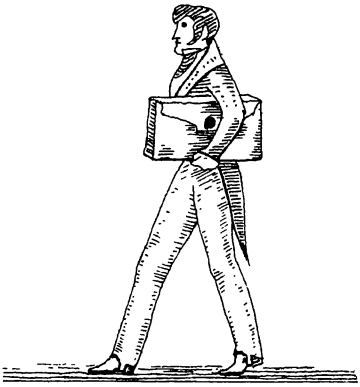
УДК 94(47).061-084
ББК 63.3(2)46-52

Книга изготовлена в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ, ст. 1, п. 2, пп. 3.
Возрастных ограничений нет

История. География. Этнография

Петр Черкасов

Шпионские и иные истории
из архивов России и Франции



Редактор В. Кукушкин
Верстка А. Петровой
Корректор Н. Пущина

Подписано в печать 21.06.2015.
Формат 60×90/16. Усл. печ. л. 19. Тираж 1200 экз. Заказ № 3177

ООО «Издательство «Ломоносовъ»
119034 Москва, Малый Левшинский пер., д. 3
Тел. (495) 637-49-20, 637-43-19
info@lomonosov-books.ru
www.lomonosov-books.ru

Отпечатано способом ролевой струйной печати
в АО «Первая Образцовая типография»
Филиал «Чеховский Печатный Двор»
142300, Московская область, г. Чехов,
ул. Полиграфистов, д.1
Сайт: www.chpd.ru, E-mail: sales@chpd.ru, 8(499)270-73-59

история/география/этнография

В СЕРИИ ВЫШЛИ:

1 Лев Минц. Котелок дядюшки Ляо

2 Виталий Бабенко. Земля — вид сверху

3 Ольга Семенова-Тян-Шанская. Жизнь «Ивана»

4 Владислав Петров. Три карты усатой княгини

5 Свен Хедин. В сердце Азии

6 Геннадий Коваленко. Русские и шведы от Рюрика до Ленина

7 Лев Минц. Придуманные люди с острова Минданао

8 Бенгт Янгфельдт. От варягов до Нобеля

9 Олег Ивик. История человеческих жертвоприношений

10 Анна Мурадова. Кельты анфас и в профиль

11 Даниэль Клугер. Тайна капитана Немо

12 Валерий Гуляев. Доколумбовы плавания в Америку

13 Светлана Плетнева. Половцы

14 Ким Малаховский. Пираты британской короны
Фрэнсис Дрейк и Уильям Дампир

15 Алексис Трубецкой. Крымская война

16 Валерий Гуляев. Загадки индейских цивилизаций

17 Олег Ивик. Женщины-воины: от амазонок до куноити

18 Виолен Вануайек. Великие загадки Древнего Египта

19 Яков Свет. За кормой сто тысяч ли

20 Лев Минц. Блистательный Химьяр и плиссировка юбок

21 Аксель Одельберг. Невыдуманные приключения
Свена Хедина

22 Гомбожаб Цыбиков. Буддист-паломник у святынь Тибета

23 Никита Кривцов. Сейшелы — осколки трех континентов

24 Олег Ивик. История сексуальных запретов и предписаний

25 Виктор Бердинских. Речи немых

26 Светлана Федорова. Русская Америка: от первых поселений
до продажи Аляски

27 Стаффан Скотт. Династия Бернадотов: короли, принцы и прочие...

28 Геннадий Левицкий. Самые богатые люди Древнего мира

29 Георгий Вернадский. Монголы и Русь

30 Наталья Пушкарева. Частная жизнь женщины в Древней Руси и Московии: невеста, жена, любовница

31 Виталий Белявский. Вавилон легендарный и Вавилон исторический

32 Олег Ивик. История и зоология мифических животных

33 Лев Карсавин. Монашество в Средние века

34 Владислав Петров. Древняя история смерти

35 Олег Ивик. Еда Древнего мира

36 Стефан Цвейг. Подвиг Магеллана

37 Вашингтон Ирвинг. Жизнь пророка Мухаммеда

38 Владимир Новиков. Русская литературная усадьба

39 Отечественная война 1812 года глазами современников

40 Наталья Пушкарева. Частная жизнь русской женщины XVIII века

41 Сергей Ольденбург. Конфуций. Будда Шакьямуни

42 Фаина Османова, Дмитрий Стахов. Истории простых вещей

43 Генрих Бёмер. История ордена иезуитов

44 Алексей Смирнов. Скифы

45 Андрей Снесарев. Невероятная Индия: религии, касты, обычаи

46 Генри Чарлз Ли. Возникновение и устройство инквизиции

47 Олег Ивик, Владимир Ключников. Хазары

48 Вячеслав Шпаковский. История рыцарского вооружения

49 Лев Ельницкий. Великие путешествия античного мира

50 Юрий Чернышов. Древний Рим: мечта о золотом веке

В СЕРИИ ВЫШЛИ:

51 Виктор Бердинских. Русская деревня: быт и нравы

52 Сергей Макеев. Дело о Синей Бороде

53 Борис Романов. Люди и нравы Древней Руси

54 Печенеги

55 Генрих Вильгельм Штоль. Древний Рим в биографиях

56 Алексей Смирнов. Несостоявшийся русский царь Карл Филипп, или Шведская интрига Смутного времени

57 Александр Куланов. Обнаженная Япония

58 Валерий Ярхо. Из варяг в Индию

59 Институты благородных девиц в мемуарах воспитанниц

60 Владислав Петров. Древняя история секса в мифах и легендах

61 Михаил Мочалов. Древняя Ассирия

62 Константин Кудряшов. Александр I и тайна Федора Козьмича

63 Виктор Калашников. Русская демонология

64 Рафаил Нудельман. Прогулки с Библией

65 Московия при Иване Грозном глазами иноземцев

66 Георгий Вернадский. Русское масонство в царствование Екатерины II

67 Олег Ивик, Владимир Ключников. Сюнну, предки гуннов, создатели первой степной империи

68 Константин Иванов. Трубадуры, труверы, миннезингеры

69 Галина Шебалдина. Заложники Петра I и Карла XII

70 Тамерлан — покоритель Азии

71 Василий Смирнов. Крымское ханство в XVIII веке

72 Яков Канторович. Процессы о колдовстве в Европе и Российской империи

73 Татьяна Георгиева. Русская повседневная культура

74 Александр Васильев. Византия и крестоносцы. Падение Византии

75 Фаина Османова, Дмитрий Стахов. Истории простой еды

76 Геннадий Левицкий. Великое княжество Литовское

77 Василий Веретенников. История Тайной канцелярии Петровского времени

78 Олег Ивик. История и география загробного мира

79 Константин Иванов. Средневековые замок, город, деревня и их обитатели

80 Алексей Бокщанин, Олег Непомнин. Лики Срединного царства

81 Петр Черкасов. Кардинал Ришелье

82 Василий Бартольд. Тюрки

83 Древние германцы

84 Ирина Опимах. Живописные истории

85 Владимир Печенкин. Советская водка

86 Георгий Вернадский. Киевская Русь

87 Михаил Артамонов. Киммерийцы и скифы

88 Дмитрий Колосов. Арии

89 Леонид Васильев. Культы, религии, традиции в Китае

90 Василий Болотов. Три первых века христианства

91 Витольд Новодворский. Иван Грозный и Стефан Баторий: схватка за Ливонию

92 Вадим Эрлихман. Английские короли

93 Валерий Ярхо. Иноземцы на русской службе

94 Олег Ивик, Владимир Ключников. Гунны

95 Геннадий Левицкий. Женщины Древнего Рима

96 Исаак Фильштинский. Арабы и Халифат

97 Алексей Шкваров. Великая Северная война

98 Илья Кораблев. Ганнибал

99 Дмитрий Боровков. Владимир Мономах, князь-мифотворец

все книги
издательства «Ломоносовъ»
в интернет-магазине
на сайте

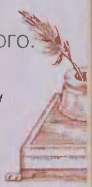
www.lomonosov-books.ru

Доставка по Москве — курьером, по России — почтой • Издательские цены • Скидки и акции для постоянных покупателей • Оперативная информация о новинках издательства

info@lomonosov-books.ru

Петр Черкасов

Шпионские и иные истории



Документальные новеллы Петра Черкасова — результат многолетних архивных изысканий. Читателю предстоит узнать много неожиданного. Екатерина II молится о спасении вождя корсиканских мятежников Паоли, Людовик XV тайно отправляет военных советников к Емельяну Пугачеву, чиновник Министерства иностранных дел революционной Франции исправно поставляет шифры и секретные документы своим русским кураторам, герцог де Монтебелло встречается с имамом Шамилем, «Сюрте Насьональ» организует слежку за великим князем Владимиром Кирилловичем... Здесь же портрет человека «поразительных контрастов» Николая I в депешах французских дипломатов, рассказ о первом шефе русской внешней разведки, зигзаги судьбы шляпника, ставшего в награду за спасение царя потомственным дворянином и кончившего белой горячкой, подробности покушения в Булонском лесу на русского и французского императоров и многое другое.

Петр Черкасов — доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН.

ISBN 978-5-91678-277-6